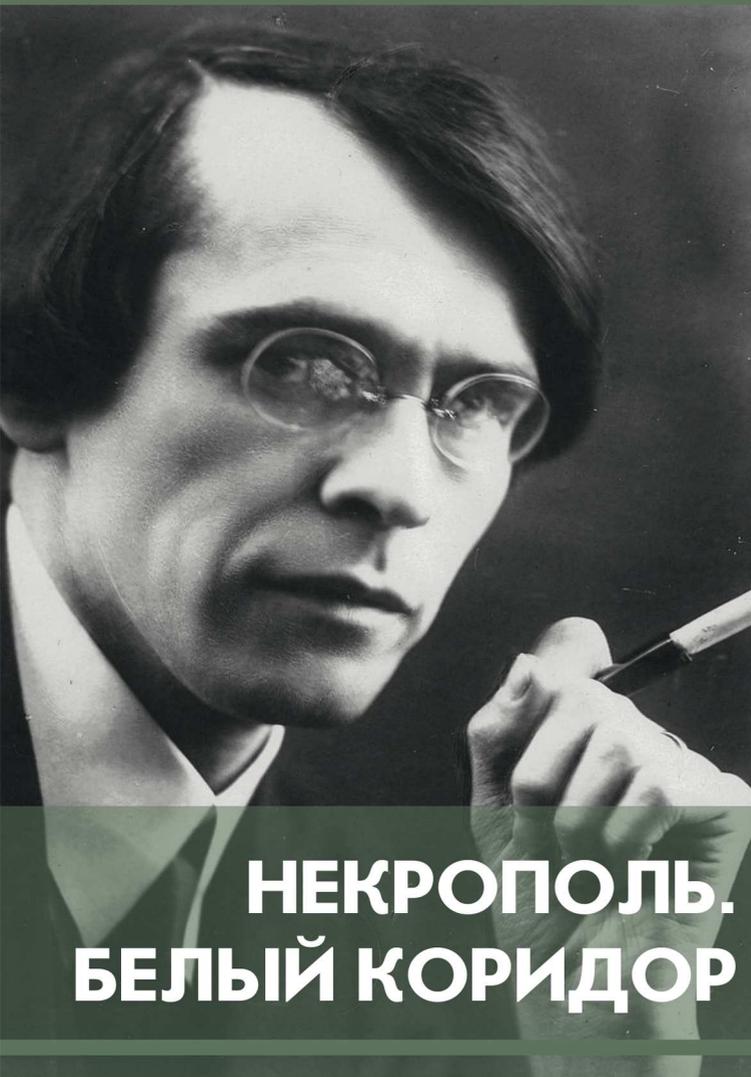


МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ВЛАДИСЛАВ ФЕЛИЦИАНОВИЧ ХОДАСЕВИЧ



**НЕКРОПОЛЬ.  
БЕЛЫЙ КОРИДОР**

DirectMEDIA

**В. Ф. Ходасевич**

**НЕКРОПОЛЬ  
БЕЛЫЙ КОРИДОР**



**Москва  
2017**

УДК 82-4  
ББК 84 (2Рос=Рус)  
Х69

**Ходасевич, В. Ф.**

Х69 Некрополь. Белый коридор / В. Ф. Ходасевич. –  
М. : Директ-Медиа, 2017. – 411 с.

ISBN 978-5-4475-5634-1

«Некрополь» и «Белый коридор», текстуально и хронологически являющийся продолжением «Некрополя», – сборники очерков-воспоминаний известного русского поэта, историка литературы Владислава Фелициановича Ходасевича (1886–1939 гг.). Большинство записей посвящено писателям – современникам автора и основано, по словам самого Ходасевича, «...только на том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах». Перед читателем предстает плеяда блистательных поэтов и писателей Серебряного века, таких как Александр Блок, Андрей Белый, Николай Гумилев, Валерий Брюсов... Читатель познакомится с жизнью литературной богемы 20-х годов прошлого столетия.

В сборнике «Некрополь» одна из глав («Муни») посвящена Ходасевичем близкому другу Самуилу Викторовичу Киссину – несостоявшемуся поэту, раздавленному прозой жизни.

УДК 82-4  
ББК 84 (2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4475-5634-1

© Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2017

# НЕКРОПОЛЬ

## *Предисловие*

Собранные в этой книге воспоминания о некоторых писателях недавнего прошлого основаны только на том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах. Сведения, которые мне случалось получать из вторых или третьих рук, мною отстранены. Два-три незначительных отступления от этого правила указаны в тексте.

## *Конец Ренаты*

В ночь на 23 февраля 1928 года, в Париже, в нищенском отеле нищенского квартала, открыв газ, покончила с собой писательница Нина Ивановна Петровская. Писательницей называли ее по этому поводу в газетных заметках. Но такое прозвание как-то не вполне к ней подходит. По правде сказать, ею написанное было незначительно и по количеству, и по качеству. То небольшое дарование, которое у нее было, она не умела, а главное – вовсе и не хотела «истратить» на литературу. Однако, в жизни литературной Москвы, между 1903–1909 гг., она сыграла видную роль. Ее личность повлияла на такие обстоятельства и события, которые с ее именем как будто вовсе не связаны. Однако, прежде, чем рассказать о ней, надо коснуться того, что зовется духом эпохи. История Нины Петровской без этого непонятна, а то и не занимательна.

\* \* \*

Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности,

вся его история. Это был ряд попыток, порой истинно героических, – найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства. Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел бы слить жизнь и творчество воедино. Мы знаем теперь, что гений такой не явился, формула не была открыта. Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недоовоплотилось: часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недоовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции.

Процент этой «утечки» в разных случаях был различен. Внутри каждой личности боролись за преобладание «человека» и «писателя». Иногда побеждал один, иногда другой. Победа чаще всего доставалась той стороне личности, которая была даровитее, сильнее, жизнеспособнее. Если талант литературный оказывался сильнее – «писатель» побеждал «человека». Если сильнее литературного таланта оказывался талант жить – литературное творчество отступало на задний план, подавлялось творчеством иного, жизненного порядка. На первый взгляд странно, но в сущности последовательно было то, что в ту пору и среди тех людей «дар писать» и «дар жить» расценивались почти одинаково.

Выпуская впервые «Будем как Солнце», Бальмонт писал, между прочим, в посвящении: «Модесту Дурнову, художнику, создавшему поэму из своей личности». Тогда это были совсем не пустые слова. В них очень запечатлен дух эпохи. Модест Дурнов, художник и стихотворец, в искусстве прошел бесследно. Несколько слабых стихотворений, несколько неважных обложек и иллюстраций – и кончено. Но о жизни его, о личности слагались легенды. Художник, создающей «поэму» не в искусстве своем, а в жизни, был законным явлением в ту пору. И Модест Дурнов был не одинок. Таких, как он, было много, – в том числе Нина Петровская. Литературный дар ее был не велик. Дар жить – неизмеримо больше.

Из жизни бедной и случайной  
Я сделал трепет без конца...

она с полным правом могла бы сказать это о себе. Из жизни своей она воистину сделала бесконечный трепет, из творчества – ничего. Искуснее и решительнее других создала она «поэму из своей жизни». Надо прибавить: и о ней самой создалась поэма. Но об этом речь впереди.

\* \* \*

Нина скрывала свои года. Думаю, что она родилась приблизительно в 1880 г. Мы познакомились в 1902. Я узнал ее уже начинающей беллетристой. Кажется, она была дочерью чиновника. Кончила гимназию, потом зубо врачебные курсы. Была невестой одного, вышла за другого. Юные годы ее сопровождалась драмой, о которой она вспоминать не любила. Вообще не любила вспоминать свою раннюю молодость, до начала «литературной эпохи» в ее жизни. Прошлое казалось ей бедным, жалким. Она нашла себя лишь после того, как очутилась среди символистов и декадентов, в кругу «Скорпиона» и «Грифа».

Да, здесь жили особой жизнью, не похожей на ее прошлую. Может быть, и вообще ни на что больше не похожей. Здесь пытались претворить искусство в действительность, а действительность в искусство. События жизненные, в связи с неясностью, шаткостью линий, которыми для этих людей очерчивалась реальность, никогда не переживались, как только и просто жизненные; они тотчас становились частью внутреннего мира и частью творчества. Обратно: написанное кем бы то ни было становилось реальным, жизненным событием для всех. Таким образом, и действительность, и литература создавались как бы общими, порою враждующими, но и во вражде соединенными силами всех, попавших в эту необычайную жизнь, в это «символическое измерение». То был, кажется, подлинный случай коллективного творчества.

Жили в неистовом напряжении, в вечном возбуждении, в обостренности, в лихорадке. Жили разом в нескольких планах.

В конце концов, были сложнее запутаны в общую сеть любвей и ненавистей, личных и литературных. Вскоре Нина Петровская сделалась одним из центральных узлов, одною из главных петель той сети.

Не мог бы я, как полагается мемуаристу, «очертить ее природный характер». Блок, приезжавший в 1904 г. знакомиться с московскими символистами, писал о ней своей матери: «Очень мила, довольно умная». Такие определения ничего не покрывают. Нину Петровскую я знал двадцать шесть лет, видел доброй и злой, податливой и упрямой, трусливой и смелой, послушной и своевольной, правдивой и лживой. Одно было неизменно: и в доброте, и в злобе, и в правде, и во лжи – всегда, во всем хотела она доходить до конца, до предела, до полноты, и от других требовала того же. «Все или ничего» могло быть ее девизом. Это ее и стубило. Но это в ней не само собой зародилось, а было привито эпохой.

О попытке слить воедино жизнь и творчество я говорил выше, как о правде символизма. Эта правда за ним и останется, хотя она не ему одному принадлежит. Это – вечная правда, символизмом только наиболее глубоко и ярко пережитая. Но из нее же возникло и великое заблуждение символизма, его смертный грех. Провозгласив культ личности, символизм не поставил перед нею никаких задач, кроме «саморазвития». Он требовал, чтобы это развитие совершалось; но как, во имя чего и в каком направлении – он не предугаживал, предугаживать не хотел да и не умел. От каждого, вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом), требовалось лишь непрерывное горение, движение – безразлично во имя чего. Все пути были открыты с одной лишь обязанностью – идти как можно быстрее и как можно дальше. Это был единственный, основной догмат. Можно было прославлять и Бога, и Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь полнота одержимости.

Отсюда: лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все «переживания» почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны. В свою очередь отсюда вытекало

безразличное отношение к их последовательности и целесообразности. «Личность» становилась копилкой переживаний, мешком, куда ссыпались накопленные без разбора эмоции, – «миги», по выражению Брюсова: «Берем мы миги, их губя».

Глубочайшая опустошенность оказывалась последним следствием этого эмоционального скопидомства. Скупые рыцари символизма умирали от духовного голода – на мешках накопленных «переживаний». Но это было именно последнее следствие. Ближайшим, давшим себя знать очень давно, почти сразу же, было нечто иное: непрестанное стремление перестраивать мысль, жизнь, отношения, самый даже обиход свой по императиву очередного «переживания» влекло символистов к непрестанному актерству перед самими собой – к разыгрыванию собственной жизни как бы на театре жгучих импровизаций. Знали, что играют, – но игра становилась жизнью. Расплаты были не театральные. «Истекаю клюквенным соком!» кричал блоковский паяц. Но клюквенный сок иногда оказывался настоящей кровью.

Декадентство, упадочничество – понятие относительное: упадок определяется отношением к первоначальной высоте. Поэтому в применении к искусству ранних символистов термин декадентство был бессмыслен: это искусство само по себе никаким упадком по отношению к прошлому не было. Но те грехи, которые выросли и развились внутри самого символизма – были по отношению к нему декадентством, упадком. Символизм, кажется, родился с этой отравой в крови. В разной степени она бродила во всех людях символизма. В известной степени (или в известную пору) каждый был декадентом. Нина Петровская (и не она одна) из символизма восприняла только его декадентство. Жизнь свою она сразу захотела сыграть – и в этом, по существу ложном, задании осталась правдивою, честною до конца. Она была истинной жертвою декадентства.

Любовь открывала для символиста или декадента прямой и кратчайший доступ к неиссякаемому кладезю эмоций. Достаточно было быть влюбленным – и человек становился обеспечен всеми предметами первой лирической необходимости: Страстью, Отчаянием, Ликованием, Безумием, Пороком, Грехом, Ненавистью и т. д. Поэтому все и всегда были влюблены: если не в самом деле, то хоть уверяли себя, будто влюблены; малейшую искорку чего-то похожего на любовь раздували изо всех сил. Недаром воспевались даже такие вещи, как «любовь к любви».

Подлинное чувство имеет степени от любви навсегда до мимолетного увлечения. Символистам самое понятие «увлечения» было противно. Из каждой любви они обязаны были извлекать максимум эмоциональных возможностей. Каждая должна была, по их нравственно-эстетическому кодексу, быть роковой, вечной. Они во всем искали превосходных степеней. Если не удавалось сделать любовь «вечной» – можно было разлюбить. Но каждое разлюбление и новое влюбление должны были сопровождаться глубочайшими потрясениями, внутренними трагедиями и даже перекраской всего мироощущения. В сущности для того все и делалось.

Любовь и все производные от нее эмоции должны были переживаться в предельной напряженности и полноте, без оттенков и случайных примесей, без ненавистных психологизмов. Символисты хотели питаться крепчайшими эссенциями чувств. Настоящее чувство лично, конкретно, неповторимо. Выдуманное или взвинченное лишено этих качеств. Оно превращается в собственную абстракцию, в идею о чувстве. Потому-то оно и писалось так часто с заглавных букв.

Нина Петровская не была хороша собой. Но в 1903 году она была молода, – это много. Была «довольно умна», как сказал Блок, была «чувствительна», как сказали бы о ней, живи она столетием раньше. Главное же – очень умела «попадать в тон». Она тотчас стала объектом любвей.

Первым влюбился в нее поэт, влюблявшийся просто во всех без изъятия. Он предложил ей любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак невозможно: тут действовало и польщенное самолюбие (поэт становился знаменитостью), и страх оказаться провинциалкой, и главное – уже воспринятое учение о «мигах». Пора было начать «переживать». Она уверила себя, что тоже влюблена. Первый роман сверкнул и погас, оставив в ее душе неприятный осадок – нечто вроде похмелья. Нина решила «очистить душу», в самом деле несколько уже оскверненную поэтовым «оргазмом». Она отрекалась от «Греха», облачилась в черное платье, каялась. В сущности, каяться следовало. Но это было более «переживанием покаяния», чем покаянием подлинным.

В 1904 году Андрей Белый был еще очень молод, золотокудр, голубоглаз и в высшей степени обаятелен. Газетная подворотня готчала над его стихами и прозой, поражавшими новизной, дерзостью, иногда – проблесками истинной гениальности. Другое дело – как и почему его гений впоследствии был загублен. Тогда этого несчастья еще не предвидели.

Им восхищались. В его присутствии все словно мгновенно менялось, смещалось или озарялось его светом. И он в самом деле был светел. Кажется, все, даже те, кто ему завидовал, были немножко в него влюблены. Даже Брюсов порой подпадал под его обаяние. Общее восхищение, разумеется, передалось и Нине Петровской. Вскоре перешло во влюбленность, потом в любовь.

О, если бы в те времена могли любить просто, во имя того, кого любишь, и во имя себя! Но надо было любить во имя какой-нибудь отвлеченности и на фоне ее. Нина обязана была в данном случае любить Андрея Белого во имя его мистического призвания, в которое верить заставляли себя и она, и он сам. И он должен был являться перед нею не иначе, как в блеске своего сияния – не говорю поддельного, но... символического. Малую правду, свою человеческую, просто человеческую любовь они рядили в одежды правды неизмеримо большей. На черном платье Нины Петровской явилась черная нить деревянных четок и большой черный крест. Такой крест носил и Андрей Белый...

О, если бы он просто разлюбил, просто изменил! Но он не разлюбил, а он «бежал от соблазна». Он бежал от Нины, чтобы ее слишком земная любовь не пятнала его чистых риз. Он бежал от нее, чтобы еще ослепительнее сиять перед другой, у которой имя и отчество и даже имя матери так складывались, что было символически очевидно: она – предвестница Жены, облеченной в Солнце. А к Нине ходили его друзья, шепелявые, колченогие мистики, укорять, обличать, оскорблять: «Сударыня вы нам чуть не осквернили пророка! Вы отбиваете рыцарей у Жены! Вы играете очень темную роль! Вас инспирирует Зверь, выходящий из бездны».

Так играли словами, коверкая смыслы, коверкая жизни. Впоследствии исковеркали жизнь и самой Жене облеченной в Солнце, и мужу ее, одному из драгоценнейших русских поэтов.

Тем временем Нина оказалась брошенной да еще оскорбленной. Слишком понятно, что как многие брошенные женщины, она захотела разом и отомстить Белому, и вернуть его. Но вся история, раз попав в «символическое измерение», продолжала и развиваться в нем же.

\* \* \*

Осенью 1904 г. я однажды случайно сказал Брюсову, что нахожу в Нине много хорошего.

– Вот как? – отрезал он: – что же, она хорошая хозяйка?

Он подчеркнуто не замечал ее. Но тотчас переменился, как наметился ее разрыв с Белым, потому что по своему положению не мог оставаться нейтральным.

Он был представителем демонизма. Ему полагалось перед Женой облеченной в Солнце «томиться и скрежетать». Следовательно, теперь Нина, ее соперница, из «хорошей хозяйки» превращалась в нечто значительное, облакалась демоническим ореолом. Он предложил ей союз – против Белого. Союз тотчас же был закреплен взаимной любовью. Опять же, все это очень понятно и жизненно: так часто бывает. Понятно, что Брюсов ее по своему полюбил, понятно, что и она невольно искала в нем

утешения, утоления затронутой гордости, а в союзе с ним – способа «отомстить» Белому.

Брюсов в ту пору занимался оккультизмом, спиритизмом, черною магией, не веруя, вероятно, во все это по существу, но веруя в самые занятия, как в жест, выражающий определенное душевное движение. Думаю, что и Нина относилась к этому точно так же. Вряд ли верила она, что ее магические опыты, под руководством Брюсова в самом деле вернут ей любовь Белого. Но она переживала это, как подлинный союз с дьяволом. Она хотела верить в свое ведовство. Она была истеричкой, и это, быть может, особенно привлекало Брюсова: из новейших научных источников (он всегда уважал науку) он ведь знал, что в «великий век ведовства» ведьмами почитались и сами себя почитали – истерички. Если ведьмы XVI столетия «в свете науки» оказались истеричками, то в XX веке Брюсову стоило попытаться превратить истеричку в ведьму.

Впрочем, не слишком доверяя магии, Нина пыталась прибегнуть и к другим средствам. Весной 1905 года, в малой аудитории Политехнического музея Белый читал лекцию. В антракте Нина Петровская подошла к нему и выстрелила из браунинга в упор. Револьвер дал осечку; его тут же выхватили из ее рук. Замечательно, что второго покушения она не совершила. Однажды она сказала мне (много позже):

– Бог с ним. Ведь, по правде сказать, я уже убила его тогда, в музее.

Этому «по правде сказать» я несколько не удивился: так перепутаны, так перемешаны были в сознаниях действительность и воображение.

То, что для Нины стало средоточием жизни, было для Брюсова очередной серией «мигов». Когда все вытекающие из данного положения эмоции были извлечены, его потянуло к перу. В романе «Огненный Ангел», с известной условностью, он изобразил всю историю, под именем графа Генриха представив

Андрея Белого, под именем Ренаты – Нину Петровскую, а под именем Рупрехта самого себя.<sup>1</sup>

В романе Брюсов разрубил все узлы отношений между действующими лицами. Он придумал развязку и подписал «конец» под историей Ренаты раньше, чем легшая в основу романа жизненная коллизия разрешилась в действительности. Со смертью Ренаты не умерла Нина Петровская, для которой, напротив, роман безнадежно затягивался. То, что для Нины еще было жизнью, для Брюсова стало использованным сюжетом. Ему тягостно было бесконечно переживать все одни и те же главы. Все больше он стал отдаляться от Нины. Стал заводить новые любовные истории, менее трагические. Стал все больше уделять времени литературным делам и всевозможным заседаниям, до которых был великий охотник. Отчасти его потянуло даже к домашнему очагу (он был женат).

Для Нины это был новый удар. В сущности, к тому времени (а шел уже, примерно, 1906 год) ее страдания о Белом притупились, утихли. Но она сжилась с ролью Ренаты. Теперь перед ней встала грозная опасность утратить и Брюсова. Она несколько раз пыталась прибегнуть к испытанному средству многих женщин; она пробовала удержать Брюсова, возбуждая его ревность. В ней самой эти мимолетные романы (с «прохожими», как она выражалась) вызывали отвращение и отчаяние. «Прохожих» она презирала и оскорбляла. Однако, все было напрасно. Брюсов охладевал. Иногда он пытался воспользоваться ее изменами, чтобы порвать с ней вовсе. Нина переходила от полосы к полосе, то любя Брюсова, то ненавидя его. Но во все полосы она предавалась отчаянию. По двое суток, без пищи и сна, пролеживала она на диване, накрыв голову черным платком, и плакала. Кажется, свидания с Брюсовым протекали в обстановке не более легкой. Иногда находили на нее приступы ярости. Она ломала мебель, била предметы, бросая их «подобно

---

<sup>1</sup>В 1934 г., в Москве, в издательстве «Academia», вышла книжка избранных стихов Брюсова. В приложении даны «Материалы к биографии», составленные его вдовой, которая подтверждает, что в основу «Отненного Ангела» был положен действительный «эпизод».

ядрам из баллисты», как сказано в «Огненном Ангеле» при описании подобной сцены.

Она тщетно прибегала к картам, потом к вину. Наконец, уже весной 1908 года, она испробовала морфий. Затем сделала морфинистом Брюсова, и это была ее настоящая, хоть не создаваемая месть. Осенью 1909 года она тяжело заболела от морфия, чуть не умерла. Когда несколько оправилась, решено было, что она уедет за границу: «в ссылку», по ее слову. Брюсов и я проводили ее на вокзал. Она уезжала навсегда. Знала, что Брюсова больше никогда не увидит. Уезжала еще полубольная, с сопровождавшим ее врачом. Это было 9 ноября 1911 года. В прежних московских страданиях она прожила семь лет. Уезжала на новые, которым суждено было продлиться еще шестнадцать.

Ее скитания за границей известны мне не подробно. Знаю, что из Италии она приезжала в Варшаву, потом в Париж. Здесь, кажется в 1913 году, однажды она выбросилась из окна гостиницы на бульвар Сен-Мишель. Сломала ногу, которая плохо срослась, и осталась хромой.

Война застала ее в Риме, где прожила она до осени 1922 года в ужасающей нищете, то в порывах отчаяния, то в припадках смирения, которое сменялось отчаянием еще более бурным. Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат, писала сценарий для одной кинематографической актрисы, опять голодала. Пила. Порой доходила до очень глубоких степеней падения. Перешла в католичество. «Мое новое и тайное имя, записанное где-то в нестираемых свитках San Pietro – Рената», – писала она мне.

Брюсова она возненавидела: «Я задыхалась от злого счастья, что теперь ему меня не достать, что теперь другие страдают. Почем я знала – какие другие, – Львову он уже в то время прикончил... Я же жила, мстя ему каждым движением, каждым помышлением».

Сюда, в Париж, она приехала весной 1927 года, после пятилетнего нищенского существования в Берлине. Приехала вполне нищей. Здесь нашлось у нее немало друзей. Помогали ей, как могли и, кажется, иногда больше, чем могли. Иногда

удавалось найти ей работу, но работать она уже не могла. В вечном хмелю, не теряя рассудка, она уже была точно по другую сторону жизни.

\* \* \*

В дневнике Блока, под 6 ноября 1911 года, странная запись: *Нина Ивановна Петровская «умирает»*. Известие это Блок получил из Москвы, но почему слово «умирает» он написал в кавычках?

Нина в те дни, действительно, умирала: это была та болезнь, перед отъездом из России, о которой я говорил выше. Но Блок слово «умирает» поставил в кавычки, потому что отнесся к известию с ироническим недоверием. Ему было известно, что еще с 1906 года Нина Петровская постоянно обещалась умереть, покончить с собой. Двадцать два года она жила в непрестанной мысли о смерти. Иногда шутила сама над собой:

Устюшкина мать  
Собиралась помирать.  
Помереть не померла  
Только время провела.

Сейчас я просматриваю ее письма. 26 февраля 1925: «Кажется, больше не могу». 7 апр.1925: «Вы, вероятно, думаете, что я умерла? Нет еще». 8 июня 1927: «Клянусь Вам, иного выхода не может быть». 12 сентября 1927: «Еще немного, и уж никаких мест, никакой работы мне не понадобится». 14 сентября 1927: «На этот раз я скоро должна скончаться».

Это – в письмах последней эпохи. Прежних у меня нет под рукою. Но всегда было то же – и в письмах, и в разговорах.

Что же удерживало ее? Мне кажется, я знаю причину.

Жизнь Нины была лирической импровизацией, в которой, лишь применяясь к таким же импровизациям других персонажей, она старалась создать нечто целостное – «поэму из своей личности». Конец личности, как и конец поэмы о ней, – смерть. В сущности поэма была закончена в 1906 году, в том самом, на котором сюжетно обрывается «Огненный Ангел». С тех пор, и в Москве, и в заграничных странствиях Нины длился мучитель-

ный, страшный, но ненужный, лишенный движения эпилог. Оборвать его Нина не боялась, но не могла. Чутье художника, творящего жизнь, как поэму, подсказывало ей, что конец должен быть связан еще с каким-то последним событием, с разрывом какой-то еще одной нити, прикреплявшей ее к жизни. Наконец, это событие совершилось.

С 1908 года, после смерти матери, на ее попечении осталась младшая сестра, Надя, существо недоразвитое умственно и физически (с нею случилось в детстве несчастье: ее обварили кипятком). Впрочем, идиоткой она не была, но отличалась какой-то предельной тихостью, безответностью. Была жалка нестерпимо и предана старшей сестре до полного самозабвения. Конечно, никакой собственной жизни у нее не было. В 1909 г., уезжая из России, Нина взяла ее с собой, и с той поры Надя делила с ней все бедствия заграничной жизни. Это было единственное и последнее существо, еще реально связанное с Ниной и связывавшее Нину с жизнью.

Всю осень 1927 года Надя хворала безропотно и неслышно, как жила. Так же тихо и умерла, 13 января 1928 года, от рака желудка. Нина ходила в покойницкую больницы, где Надя лежала. Английской булавкой колола маленький труп сестры, потом той же булавкой – себя в руку: хотела заразиться трупным ядом, умереть единою смертью. Рука, однако ж, сперва опухла, потом зажила.

Нина бывала у меня в это время. Однажды прожила у меня три дня. Говорила со мной на том странном языке девятисотых годов, который когда-то нас связывал, был у нас общим, но который с тех пор я почти уже разучился понимать.

Смертью Нади была дописана последняя фраза затянувшегося эпилога. Через месяц с небольшим, собственной смертью, Нина Петровская поставила точку.

*Версаль, 1928.*

## *Брюсов*

Когда я увидел его впервые, было ему года двадцать четыре, а мне одиннадцать. Я учился в гимназии с его младшим братом. Его вид поколебал мое представление о «декадентах». Вместо голого лохмача с лиловыми волосами и зеленым носом (таковы были, «декаденты» по фельетонам «Новостей Дня») увидел я скромного молодого человека с короткими усиками, с бобрником на голове, в пиджаке обычного покроя, в бумажном воротничке. Такие молодые люди торговали галантерейным товаром на Сретенке. Таким молодым человеком изображен Брюсов на фотографии, приложенной к I тому его сочинений в издании «Сирина».

Впоследствии, вспоминая молодого Брюсова, я почувствовал, что главная острота его тогдашних стихов заключается именно в сочетании декадентской экзотики с простодушнейшим московским мещанством. Смесь очень пряная, излом очень острый, диссонанс режущий, но потому-то ранние книги Брюсова (до *Tertia Vigilia* включительно) – суть все-таки лучшие его книги: наиболее острые. Все это тропические фантазии – на берегах Яузы, переоценка всех ценностей – в районе сретенской части. И до сих пор куда больше признанного Брюсова нравится мне этот «неизвестный, осмеянный, странный» автор *Chef d'uvre*. Мне нравится, что этот дерзкий молодой человек, готовый мимоходом обронить замечание:

*Родину я ненавижу,* – в то же время, оказывается, способен по-доброму на улице облезлого котенка и с бесконечной заботливостью выхаживать его в собственном кармане, сдавая государственные экзамены.

\* \* \*

Дед Брюсова, по имени Кузьма, родом из крепостных, хорошо расторговался в Москве. Был он владелец довольно крупной торговли. Товар был заморский: пробки. От него дело перешло к сыну Авиве, а затем к внукам, Авивовичам. Вывеска над помещением фирмы, в одном из переулков между Ильин-

кой и Варваркой, была еще цела осенью 1920 года. Почти окна в окна, наискосок от этой торговли, помещалась нотариальная контора П. А. Соколова. Там в начале девятисотых годов, по почину Брюсова, устраивались спиритические сеансы. Я был на одном из последних, в начале 1905 г. Было темно и скучно. Когда расходились, Валерий Яковлевич сказал:

– Спиритические силы со временем будут изучены и, может быть, даже найдут себе применение в технике, подобно пару и электричеству.

Впрочем, к этому времени его увлечение спиритизмом остыло, и он, кажется, прекратил сотрудничество в журнале «Ребус».

Уж не знаю, почему пробочное дело Кузьмы Брюсова перешло к одному Авиве. Почему Кузьме вздумалось в завещании обделить второго сына, Якова Кузьмича? Думаю, что Яков Кузьмич чем-нибудь провинился перед отцом. Был он вольнодумец, лошадиник, фантазер, побывал в Париже и даже писал стихи. Совершал к тому же усердные возлияния в честь Бахуса. Я видел его уже вполне пожилым человеком, с вихрастой седой головой, в поношенном сюртуке. Он был женат на Матрене Александровне Бакулиной, женщине очень доброй, чудаковатой, мастерице плести кружева и играть в преферанс. История сватовства и женитьбы Якова Кузьмича описана его сыном в повести «Обручение Даши». Сам Валерий Яковлевич порою подписывал свои статьи псевдонимом «В. Бакулин». В большинстве случаев это были полемические статьи, о которых говорили, что их главную часть составляют *argumenta baculma*.

Не завещав Якову Кузьмину торгового предприятия, Кузьма Брюсов обошел его и в той части завещания, которая касалась небольшого дома, стоявшего на Цветном бульваре, против цирка Соломонского. Дом этот перешел непосредственно к внукам завещателя, Валерию и Александру Яковлевичами. Там и жила вся семья Брюсовых вплоть до осени 1910 г. Там и скончался Яков Кузьмич, в январе 1908 г. Матрена Александровна пережила мужа почти на тринадцать лет.

Дом на Цветном бульваре был старый, нескладный, с мезонинами и пристройками, с полутемными комнатами и скрипучими деревянными лестницами. Было в нем зальце, средняя часть которого двумя арками отделялась от боковых. Полукруглые печи примыкали к аркам. В кафелях печей отражались лапчатые тени больших латаний и синева окон. Эти латании, печи и окна дают реальную расшифровку одного из ранних брюсовских стихотворений, в свое время провозглашенного верхом бессмыслицы:

Тень несозданных созданий  
Кольхается во сне,  
Словно лопасти латаний  
На эмалевой стене...  
Всходит месяц обнаженный  
При лазоревой луне – и т. д.<sup>2</sup>

В зале, сбоку, стоял рояль. По стенам – венские стулья. Висели две три почерневших картины в золотых рамках. Зала служила также столовой. Посредине ее, на раздвижном столе, покрытом клетчатой скатертью, появлялась миска; в комнате пахло щами. Яков Кузьмич выходил из своей полутемной спальни с заветным графинчиком коньяку. Дрожащей рукой держа рюмку над тарелкой, проливал коньяк во щи. Глубоко подцепляя капусту ложкой, мешал в тарелке. Бормотал виновато:  
– Не беда, все вместе будет.

---

<sup>2</sup>Подробный разбор этого стихотворения напечатан мною в 1914 г. в журнале «София». Брюсов после, того сказал мне при встрече:

– Вы очень интересно истолковали мои стихи. Теперь я и сам буду их объяснять так же. До сих пор я не понимал их.

Говоря это, он смеялся и смотрел мне в глаза смеющимися, плутовскими глазами: знал, что я не поверю ему, да и не хотел, чтоб я верил. Я тоже улыбнулся, и мы разошлись. В тот же вечер он сказал кому-то, повысив голос, чтобы я слышал:

– Вот мы сегодня с В. Ф. говорили об авгурах...

Ни о каких авгурах мы не говорили.

И выпивал, чокнувшись с зятем, Б. В. Калюжным, ныне тоже покойным.

Валерий Яковлевич не часто являлся на родительской половине. Была у него в том же доме своя квартира, где жил он с женою, Иоанной Матвеевной и со свояченицей, Брониславой Матвеевной Рунт, одно время состоявшей секретарем «Весов» и «Скорпиона». Обстановка квартиры приближалась к стилю «модерн». Небольшой кабинет Брюсова был заставлен книжными полками. Чрезвычайно внимательный к посетителям, Брюсов, сам не куривший в ту пору, держал на письменном столе спички. Впрочем, в предупреждение рассеянности гостей, металлическая спичечница была привязана на веревочке. На стенах в кабинете и в столовой висели картины Шестеркина, одного из первых русских декадентов, а также рисунки Фидуса, Брунеллески, Феофилактова и др. В живописи Валерий Яковлевич разбирался не важно, однако имел пристрастия. Всем прочим художникам Возрождения почему-то предпочитал он Чиму да Конельяно.

Некогда в этой квартире происходили знаменитые среды, на которых творились судьбы если не всероссийского, то, во всяком случае, московского модернизма. В ранней юности я знал о них понаслышке, но не смел и мечтать о проникновении в такое святилище. Лишь осенью 1904 г., новоиспеченным студентом, получил я от Брюсова письменное приглашение. Снимая пальто в передней, я услышал голос хозяина:

– Очень вероятно, что на каждый вопрос есть не один, а несколько истинных ответов, может быть – восемь. Утверждая одну истину, мы опрометчиво игнорируем еще целых семь.

Мысль эта очень взволновала одного из гостей, красивого, голубоглазого студента с пушистыми светлыми волосами. Когда я входил в кабинет, студент летучей, танцующею походкой носился по комнате и говорил, охваченный радостным возбуждением, переходя с густого баса к тончайшему альту, то почти приседая, то подымаясь на цыпочки.<sup>3</sup> Это был Андрей Белый.

---

<sup>3</sup>С годами эти черты в нем усиливались и под конец приняли несколько карикатурный оттенок. Тут, по-видимому, проявилось его сходство с отцом. Ср. воспоминания проф. Н. И. Стороженко.

Я увидел его впервые в тот вечер. Другой гость, тоже студент, плотный, румяный брюнет, сидел в кресле, положив ногу на ногу. Он оказался С. М. Соловьевым. Больше гостей не было: «среды» клонились уже к упадку.

В столовой, за чаем, Белый читал (точнее будет сказать — пел) свои стихи, впоследствии в измененной редакции вошедшие в «Пепел»: «За мною грохочущий город», «Арестанты», « Попрошайка». Было что-то необыкновенно обаятельное в его тогдашней манере чтения и во всем его облике. После Белого С. М. Соловьев прочитал полученное от Блока стихотворение «Жду я смерти близ денницы». Брюсов строго осудил последнюю строчку. Потом он сам прочитал два новых стихотворения: «Адам и Ева» и «Орфей и Эвридика». Потом С. М. Соловьев прочитал свои стихи. Брюсов тщательно разбирал то, что ему читали. Разбор его был чисто формальный. Смысла стихов он отнюдь не касался и даже как бы подчеркивал, что смотрит на них, как на ученические упражнения, не более. Это учительское отношение к таким самостоятельным поэтам, какими уже в ту пору были Белый и Блок, меня удивило и покорило. Однако, сколько я мог заметить, оно сохранилось у Брюсова навсегда.

Беседа за чаем продолжалась. Разбирать стихи самого Брюсова, как я заметил, было не принято. Они должны были приниматься как заповеди. Наконец, произошло то, чего я опасался: Брюсов предложил и мне прочитать «мое». Я в ужасе отказался.

\* \* \*

В девятисотых годах Брюсов был лидером модернистов. Как поэта, многие ставили его ниже Бальмонта, Сологуба, Блока. Но Бальмонт, Сологуб, Блок были гораздо менее литераторами, чем Брюсов. К тому же, никого из них не заботил так остро вопрос о занимаемом месте в литературе. Брюсову же хотелось создать «движение» и стать во главе его. Поэтому создание «фаланги» и предводительство ею, тяжесть борьбы с противниками, организационная и тактическая работа — все это ложилось

преимущественно на Брюсова. Он основал «Скорпион» и «Весы» и самодержавно в них правил; он вел полемику, заключал союзы, объявлял войны, соединял и разъединял, мирил и ссорил. Управляя многими явными и тайными нитями, чувствовал он себя капитаном некоего литературного корабля и дело свое делал с великой бдительностью. К властвованию, кроме природной склонности, толкало его и сознание ответственности за судьбу судна. Иногда экипаж начинал бунтовать. Брюсов смирял его властным окриком, – но иной раз принужден был идти на уступки «конституционного» характера. Затем, путем интриг внутри своего «парламента», умел его развалить и парализовать. От этого его самодержавие только укреплялось.

Чувство равенства было Брюсову совершенно чуждо. Возможно, впрочем, что тут влияла и мещанская среда, из которой вышел Брюсов. Мещанин не в пример легче гнет спину, чем, например, аристократ или рабочий. За то и желание при случае унижить другого обуревает счастливого мещанина сильнее, чем рабочего или аристократа. «Всяк сверчок знай свой шесток», «чин чина почитай»: эти идеи заносились Брюсовым в литературные отношения прямо с Цветного бульвара. Брюсов умел или командовать, или подчиняться. Проявить независимость – означало раз навсегда приобрести врага в лице Брюсова. Молодой поэт, не пошедший к Брюсову за оценкой и одобрением, мог быть уверен, что Брюсов никогда ему этого не простит. Пример – Марина Цветаева. Стоило возникнуть дружескому издательству или журналу, в котором главное руководство принадлежало не Брюсову, – тотчас издавался декрет о воспрещении сотрудникам «Скорпиона» участвовать в этом издательстве или журнале. Так последовательно воспрещалось участие в «Гриффе», потом в «Искусстве», в «Перевале».

Власть нуждается в декорациях. Она же родит прислужничество. Брюсов старался окружить себя раболепством – и, увы, находил подходящих людей. Его появления всегда были оставлены театрально. В ответ на приглашение он не отвечал ни да, ни нет, предоставляя ждать и надеяться. В назначенный час его не бывало. Затем начинали появляться лица свиты.

Я хорошо помню, как однажды, в 1905 г., в одном «литературном» доме хозяева и гости часа полтора шепотом гадали: придет или нет?

Каждого новоприбывшего спрашивали:

– Вы не знаете, будет Валерий Яковлевич?

– Я видел его вчера. Он сказал, что будет.

– А мне он сегодня утром сказал, что занят.

– А мне он сегодня в четыре сказал, что будет.

– Я его видел в пять. Он не будет.

И каждый старался показать, что ему намерения Брюсова известнее, чем другим, потому что он стоит ближе к Брюсову.

Наконец, Брюсов являлся. Никто с ним первый не заговаривал: ему отвечали, если он сам обращался.

Его уходы были так же таинственны: он исчезал внезапно. Известен случай, когда перед уходом от Андрея Белого он внезапно погасил лампу, оставив присутствующих во мраке. Когда вновь зажгли свет, Брюсова в квартире не было. На другой день Андрей Белый получил стихи: «Бальдеру Локи»:

Но последний царь вселенной,  
Сумрак, сумрак – за меня!

\* \* \*

У него была примечательная манера подавать руку. Она производила странное действие. Брюсов протягивал человеку руку. Тот протягивал свою. В ту секунду, когда руки должны были соприкоснуться, Брюсов стремительно отдергивал свою назад, собирал пальцы в кулак и кулак прижимал к правому плечу, а сам, чуть-чуть скаля зубы, впивался глазами в повисшую в воздухе руку знакомого. Затем рука Брюсова так же стремительно опускалась и хватала протянутую руку. Пожатие совершалось, но происшедшая заминка, сама по себе мгновенная, вызывала длительное чувство неловкости. Человеку все казалось, что он как-то не вовремя сунулся со своей рукой. Я заметил, что этим странным приемом Брюсов пользовался только на первых порах знакомства и особенно часто применял

его, знакомясь с начинающими стихотворцами, с заезжими провинциалами, с новичками в литературе и в литературных кругах.

Вообще, в нем как-то сочеталась изысканная вежливость (впрочем, формальная) с любовью к одергиванию, обуздыванию, запугиванию. Те, кому это не нравилось, отходили в сторону. Другие охотно составляли послушную свиту, которой Брюсов не гнушался пользоваться для укрепления влияния, власти и обаяния. Доходили до анекдотического раболепства. Однажды, приблизительно в 1909 году, я сидел в кафе на Тверском бульваре с А. И. Тиняковым, писавшим посредственные стихи под псевдонимом «Одинокий». Собеседник мой, слегка пьяный, произнес длинную речь, в конце которой воскликнул буквально так:

– Мне, Владислав Фелицианович, на Господа Бога – тьфу! (Тут он отнюдь не символически плюнул в зеленый квадрат цветного окна). – Был бы только Валерий Яковлевич, ему же слава, честь и поклонение!

Гумилев мне рассказывал, как тот же Тиняков, сидя с ним в Петербурге на «поплавке» и глядя на Неву, вскричал в порыве священного ясновидения:

– Смотрите, смотрите! Валерий Яковлевич шествует с того берега по водам!

\* \* \*

Он не любил людей, потому что прежде всего не уважал их. Это во всяком случае было так в его зрелые годы. В юности, кажется, он любил Коневского. Не плохо он относился к З. Н. Гишпиус. Больше назвать некого. Его неоднократно подчеркнутая любовь к Бальмонту вряд ли может быть названа любовью. В лучшем случае это было удивление Сальери перед Моцартом. Он любил называть Бальмонта братом. М. Волошин однажды сказал, что традиция этих братских чувств восходит к глубокой древности: к самому Каину. В юности, может быть, он любил еще Александра Добролюбова, но впоследствии, когда тот ушел в христианство и народничество, Брюсов перестал его выносить. Добролюбов вел бродяжническую жизнь. Иногда

приходил в Москву и по несколько дней жил у Брюсовых: с Надеждой Яковлевной, сестрой Брюсова, его связывали некоторые религиозные мысли. Он вегетарианствовал, ходил с посохом и называл всех братьями и сестрами.

Однажды я застал Брюсова в литературно-художественном кружке. Было часа два ночи. Брюсов играл в *Chemin de fer*. Я удивлялся.

– Ничего не поделаешь, – сказал Брюсов: – я теперь человек бездомный: у нас Добролюбов.

Он не возвращался домой, пока Добролюбов не «уходил».

Борис Садовской, человек умный и хороший, за суховатой сдержанностью прятавший очень доброе сердце, возмущался любовной лирикой Брюсова, называя ее постельной поэзией. Тут он был не прав. В эротике Брюсова есть глубокий трагизм, но не онтологический, как хотелось думать самому автору, – а психологический: не любя и не чтя людей, он ни разу не полюбил ни одной из тех, с кем случалось ему «припадать на ложе». Женщины брюсовских стихов похожи одна на другую, как две капли воды: это потому, что он ни одной не любил, не отличил, не узнал. Возможно, что он действительно чтит любовь. Но любовниц своих он не замечал.

Мы, как священнослужители,  
Творим обряд –

слова страшные, потому что если «обряд», то решительно безразлично, с кем. «Жрица любви» – излюбленное слово Брюсова. Но ведь лицо у жрицы закрыто, человеческого лица у нее и нет. Одну жрицу можно заменить другой «обряд» останется тот же. И не находя, не умея найти человека во всех этих «жрицах», Брюсов кричит, охваченный ужасом:

Я, дрожа, сжимаю труп!

И любовь у него всегда превращается в пытку:

Где же мы? На страстном ложе  
Иль на смертном колесе?

Он любил литературу, только ее. Самого себя – тоже только во имя ее. Воистину, он свято исполнил заветы, данные самому себе в годы юношества: «не люби, не сочувствуй, сам лишь себя обожай беспредельно» и – «поклоняйся искусству, только ему, безраздельно, бесцельно». Это бесцельное искусство было его идолом, в жертву которому он принес нескольких живых людей, и надо это признать, – самого себя. Литература ему представлялась безжалостным божеством, вечно требующим крови. Она для него олицетворялась в учебнике истории литературы. Такому научному кирпичу он способен был поклоняться, как священному камню, олицетворению Митры. В декабре 1903 года, в тот самый день, когда ему исполнилось тридцать лет, он сказал мне буквально так:

– Я хочу жить, чтобы в истории всеобщей литературы обо мне было две строчки. И они будут.

Однажды покойная поэтесса Надежда Львова сказала ему о каких-то его стихах, что они ей не нравятся. Брюсов оскалился своей, столь памятной многим, ласково-злой улыбкой и отвечал:

– А вот их будут учить наизусть в гимназиях, а таких девочек, как вы, будут наказывать, если плохо выучат.

«Нерукотворного» памятника в человеческих сердцах он не хотел. «В века», назло им, хотел врезаться: двумя строчками в истории литературы (черным по белому), плачем ребят, наказанных за незнание Брюсова, и – бронзовым истуканом на родимом Цветном бульваре.

Его роман с Ниной Петровской был мучителен для обоих, но стороною, в особенности страдающей, была Нина. Закончив «Огненного Ангела», он посвятил книгу Нине и в посвящении назвал ее «много любившей и от любви погибшей». Сам он, однако же, погибать не хотел. Исчерпав сюжет и в житейском, и в литературном смысле, он хотел отстраниться, вернуться к домашнему уюту, к пухлым, румяным, заботливою рукой приготовленным пирогам с морковью, до которых был великий

охотник. Желание порвать навсегда он выказывал с нарочитым бездушием.

С Ниной связывала меня большая дружба. Московские болтуны были уверены, что не только дружба. Над их уверенностью мы немало смеялись и, по правде сказать, иногда нарочно ее укрепляли – из чистого озорства. Я знал и видел страдания Нины и дважды по этому поводу говорил с Брюсовым. Во время второй беседы я сказал ему столь оскорбительное слово, что об этом он, кажется, не рассказал даже Нине. Мы перестали здороваться. Впрочем, через полгода Нина сгладила нашу ссору. Мы притворились, что ее не было.

Осенью 1911 г., после тяжелой болезни, Нина решила уехать из Москвы навсегда. Наступил день отъезда – 9 ноября. Я отправился на Александровский вокзал. Нина сидела уже в купе, рядом с Брюсовым. На полу стояла откупоренная бутылка коньяку (это был, можно сказать, «национальный» напиток московского символизма). Пили прямо из горлышка, плача и обнимаясь. Хлебнул и я, прослезившись. Это было похоже на проводы новобранцев. Нина и Брюсов знали, что расстаются навеки. Бутылку допили. Поезд тронулся. Мы с Брюсовым вышли из вокзала, сели в сани и молча доехали вместе до Страстного монастыря.

Это было часов в пять. В тот день мать Брюсова справляла свои именины. Года за полтора до этого знаменитый дом на Цветном бульваре был продан, и Валерий Яковлевич снял более комфортабельную квартиру на Первой Мещанской, 32 (он в ней и скончался). Мать же, Матрена Александровна, с некоторыми другими членами семьи, переехала на Пречистенку, к церкви Успенья на Могильцах. Вечером, после проводов Нины, – отправился я поздравлять.

Я пришел часов в 10. Все были в сборе. Именинница играла в преферанс с Валерием Яковлевичем, с его женой и с Евгенией Яковлевной.

Домашний, уютный, добродушнейший Валерий Яковлевич, только что, между вокзалом и именинами, постригшийся, слегка

пахнувший вежеталем, озаренный мягким блеском свечей, — сказал мне, с улыбкой заглядывая в глаза:

— Вот, при каких различных обстоятельствах мы нынче встречаемся!

Я молчал. Тогда Брюсов, стремительно развернув карты веером и как бы говоря: «А, вы не понимаете шуток?» — резко спросил:

— А вы бы что стали делать на моем месте, Владислав Фелицианович?

Вопрос как будто бы относился к картам, но он имел и индикаторное значение. Я заглянул в карты Брюсова и сказал:

— По моему, надо вам играть простые бубны.

И помолчав, прибавил:

— И благодарить Бога, если это вам сойдет с рук.

— Ну, а я сыграю семь трэф.

И сыграл.

\* \* \*

Я на своем веку много играл в карты, много видал игроков, и случайных, и профессиональных. Думаю, что за картами люди познаются очень хорошо; во всяком случае, не хуже, чем по почерку. Дело вовсе не в денежной стороне. Самая манера вести игру, даже сдавать, брать карты со стола, весь стиль игры — все это искушенному взгляду говорит очень многое о партнере. Должен лишь указать, что понятия «хороший партнер» и «хороший человек» вовсе не совпадают полностью: напротив того, кое в чем друг другу противоречат, и некоторые черты хорошего человека невыносимы за картами; с другой стороны, наблюдая отличнейшего партнера, иной раз думаешь, что в жизни от него надобно держаться подальше.

В азартные игры Брюсов играл очень — как бы сказать? — не то, чтобы робко, но тупо, бедно, — обнаруживая отсутствие фантазии, неумение угадывать, нечувствительность к тому иррациональному элементу, которым игрок в азартные игры должен научиться управлять, чтобы повелевать ему, как маг умеет повелевать духам. Перед духами игры Брюсов пасовал. Ее мистика

была ему недоступна, как всякая мистика. В его игре не было вдохновения. Он всегда проигрывал и сердился, – не за проигрыш денег, а именно за то, что ходил, как в лесу, там, где другие что-то умели видеть. Счастливым игрокам он завидовал той же завистью, с какой некогда позавидовал поклонникам Прекрасной Дамы:

Они Ее видят! Они Ее слышат!

А он не слышал, не видел.

Зато в игры «коммерческие», в преферанс, в винт он играл превосходно, – смело, находчиво, оригинально. В стихии расчета он умел быть вдохновенным. Процесс вычисления доставлял ему удовольствие. В шестнадцатом году он мне признавался, что иногда «ради развлечения» решает алгебраические и тригонометрические задачи по старому гимназическому задачнику. Он любил таблицу логарифмов. Он произнес целое «похвальное слово» той главе в учебнике алгебры, где говорится о перестановках и сочетаниях.

В поэзии он любил те же «перестановки и сочетания». С замечательным упорством и трудолюбием он работал годами над книгой, которая не была – да и вряд ли могла быть закончена: он хотел дать ряд стихотворных подделок, стилизаций, содержащих образчики «поэзии всех времен и народов!» В книге должно было быть несколько тысяч стихотворений. Он хотел несколько тысяч раз задушить себя на алтаре возлюбленной Литературы – во имя «исчерпания всех возможностей», из благоговения перед перестановками и сочетаниями.

Написав для книги «Все напевы» (построенной по тому же плану) цикл стихотворений о разных способах самоубийства, он старательно расспрашивал знакомых, не известны ли им еще какие-нибудь способы, «упущенные» в его каталоге.

По системе того же «исчерпания возможностей» написал он ужасную книгу: «Опыты» – собрание бездушных образчиков всех метров и строф. Не замечая своей ритмической нищеты, он гордился внешним, метрическим богатством.

Как он радовался, когда «открыл», что в русской литературе нет стихотворения, написанного чистым пэоном первым! И как простодушно огорчился, когда я сказал, что у меня есть такое стихотворение и было напечатано, только не вошло в мои сборники.

– Почему ж не вошло? – спросил он.

– Плохо, – отвечал я.

– Но ведь это был бы единственный пример в истории русской литературы!

В другой раз не мне было суждено огорчить его. К общеупотребительным рифмам смерть-жердь-твердь он нашел четвертую – умилосердь – и тотчас написал на эти рифмы сонет. Я поздравил его, но пришедший С. В. Шервинский сказал, что «умилосердь» уже есть у Вячеслава Иванова. Брюсов сразу погас и осунулся.

\* \* \*

Быть может, все в жизни лишь средство  
Для ярко-певучих стихов...

Это двустипшие Брюсова цитировалось много раз. Расскажу об одном случае, связанном не прямо с этими строчками, но с мыслью, в них выраженной.

В начале 1912 года Брюсов познакомил меня с начинающей поэтессой Надеждой Григорьевной Львовой, за которой он стал ухаживать вскоре после отъезда Нины Петровской. Если не ошибаюсь, его самого познакомила с Львовой одна стареющая дама, в начале девятисотых годов фигурировавшая в его стихах. Она старательно подогревала новое увлечение Брюсова.

Надя Львова была не хороша, но и не вовсе дурна собой. Родители ее жили в Серпухове; она училась в Москве на курсах. Стихи ее были очень зелены, очень под влиянием Брюсова. Вряд ли у нее было большое поэтическое дарование. Но сама она была умница, простая, душевная, довольно застенчивая девушка. Она сильно сутулилась и страдала маленьким недостатком речи: в начале слов не выговаривала букву «к»: говорила, «ак» вместо «как», «оторый», «инжал».

Мы с ней сдружились. Она всячески старалась сблизить меня с Брюсовым, не раз приводила его ко мне, с ним приезжала ко мне на дачу.

Разница в годах между ней и Брюсовым была велика. Он конфузливо молодился, искал общества молодых поэтов. Сам написал книжку стихов почти в духе Игоря Северянина и посвятил ее Наде. Выпустить эту книгу под своим именем он не решился, и она явилась под двусмысленным титулом: «Стихи Нелли. Со вступительным сонетом Валерия Брюсова». Брюсов рассчитывал, что слова «Стихи Нелли» непосвященными будут поняты, как «Стихи, сочиненные Нелли». Так и случилось: и публика, и многие писатели поддались обману. В действительности подразумевалось, что слово «Нелли» стоит не в родительном, а в дательном падеже: стихи к Нелли, посвященные Нелли. Этим именем Брюсов звал Надю без посторонних.

С ней отчасти повторилась история Нины Петровской: она никак не могла примириться с развоением Брюсова – между ней и домашним очагом. С лета 1913 г. она стала очень грустна. Брюсов систематически приучал ее к мысли о смерти, о самоубийстве. Однажды она показала мне револьвер – подарок Брюсова. Это был тот самый браунинг, из которого восемь лет тому назад Нина стреляла в Андрея Белого. В конце ноября, кажется – 23 числа, вечером, Львова позвонила по телефону к Брюсову, прося тотчас приехать. Он сказал, что не может, занят. Тогда она позвонила к поэту Вадиму Шершеневичу: «Очень тоскливо, пойдёмте в кинематограф». Шершеневич не мог пойти – у него были гости. Часов в 11 она звонила ко мне – меня не было дома. Поздним вечером она застрелилась. Об этом мне сообщили под утро.

Через час ко мне позвонил Шершеневич и сказал, что жена Брюсова просит похлопотать, чтобы в газетах не писали лишнего. Брюсов мало меня заботил, но мне не хотелось, чтобы репортеры копались в истории Нади. Я согласился поехать в «Русские Ведомости» и в «Русское Слово».

Надю хоронили на бедном Миусском кладбище, в холодный, метельный день. Народу собралось много. У открытой мо-

гилы, рука об руку, стояли родители Нади, приехавшие из Серпухова, старые, маленькие, коренастые, он – в поношенной шинели с зелеными кантами, она – в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке. Никто с ними не был знаком. Когда могилу засыпали, они как были, под руку, стали обходить собравшихся. С напускною бодростью, что-то шепча трясущимися губами, пожимали руки, благодарили. За что? Частица соучастия в брюсовском преступлении лежала на многих из нас, все видевших и ничего не сделавших, чтобы спасти Надю. Несчастные старики этого не знали. Когда они приблизились ко мне, я отошел в сторону, не смея взглянуть им в глаза, не имея права утешать их.

Сам Брюсов на другой день после Надиной смерти бежал в Петербург, а оттуда – в Ригу, в какой-то санаторий. Через несколько времени он вернулся в Москву, уже залечив душевную рану и написав новые стихи, многие из которых посвящались новой, уже санаторной «встрече»... На ближайшей среде «Свободной Эстетики», в столовой Литературно-художественного кружка, за ужином, на котором присутствовала «вся Москва» – писатели с женами, молодые поэты, художники, меценаты и меценатки – он предложил прослушать его новые стихи. Все затаили дыхание – и не напрасно: первое же стихотворение оказалось декларацией. Не помню подробностей, помню только, что это была вариация на тему

Мертвый, в гробе мирно спи,  
Жизнью пользуйся живущий, –

а каждая строфа начиналась словами: «Умершим – мир!» Прослушав строфы две, я встал из-за стола и пошел к дверям. Брюсов приостановил чтение. На меня зашпикали: все понимали, о чем идет речь, и требовали, чтобы я не мешал удовольствию.

За дверью я пожалел о своей поездке в «Русское Слово» и «Русские Ведомости».

Он страстную, неестественную любовью любил заседать, в особенности председательствовать. Заседая – священнодействовал. Резолюция, поправка, голосование, устав, пункт, параграф – эти слова не жили его слух. Открывать заседание, закрывать заседание, предоставлять слово, лишать слова «дискреционную власть председателя», звонить в колокольчик, интимно склоняться к секретарю, прося «занести в протокол» – все это было для него наслаждение, «театр для себя», предвкушение грядущих двух строк в истории литературы. В эпоху 1907–1914 г. он заседал по три раза в день, где надо и где не надо. Заседаниям жертвовал совестью, друзьями, женщинами. В конце девятых или в начале девяностых годов, он, декадент, прославленный эпатированием буржуа, любящий только то, что «порочно» и «странно», вздумал, в качестве домовладельца, баллотироваться в гласные городской думы, – московской городской думы тех времен! В качестве председателя дирекции Литературно-Художественного Кружка часами совещался с буфетчиком на тему о завтрашнем дежурном блюде.

Осенью 1914 г. он вздумал справить двадцатилетие литературной деятельности. И. И. Трояновский и г-жа Неменова-Лунц, музыкантша, составили организационную комиссию. За ужином после очередного заседания «Свободной Эстетики» прибор Брюсова был украшен цветами. Организаторы юбилея по очереди заклинали разных людей сказать речь. Никто не сказал ни слова – время было неподходящее. Брюсов уехал в Варшаву, военным корреспондентом «Русских Ведомостей». Мысли о юбилее он не оставил.

Он был антисемит. Когда одна из его сестер выходила замуж за С. В. Киссина, еврея, он не только наотрез отказался присутствовать на свадьбе, но и не поздравил молодых, а впоследствии ни разу не переступил их порога. Это было в 1909 году.

К 1914-му отношения несколько сгладились. Мобилизованный Самуил Викторович очутился чиновником санитарного

ведомства в той самой Варшаве, где Брюсов жил в качестве военного корреспондента. Они иногда видались.

После неудачи московского юбилея Брюсов решил отпраздновать его хоть в Варшаве. Какие-то польские писатели согласились его чествовать. Впоследствии он рассказал мне:

– Поляки – антисемиты куда более последовательные, чем я. Когда они хотели меня чествовать, я пригласил было Самуила Викторовича, но они вычеркнули его из списка, говоря, что с евреем за стол не сядут. Пришлось отказаться от удовольствия видеть Самуила Викторовича на моем юбилее, хоть я даже указывал, что все-таки он мой родственник и поэт.

Отказаться от удовольствия справить юбилей он не мог.

Этот злосчастный юбилей он справил-таки в Москве, в декабре 1924 года. Торжество происходило в Большом театре. По городу были расклеены афиши, приглашающие всех желающих. Более крупными буквами, чем имя самого Брюсова, на них значилось: «С участием Максима Горького». Хотя организаторы и, конечно, сам Брюсов отлично знали, что Горький в Мариенбаде и в Россию не собирается.

\* \* \*

Как и почему он сделался коммунистом?

Некогда он разделял идеи самого вульгарного черносотенства. Во время русско-японской войны поговаривал о масонских заговорах и японских деньгах.

В 1905 г. он всячески поносил социалистов, проявляя при этом анекдотическое невежество. Однажды сказал:

– Я знаю, что такое марксизм: грабь что можно и – общность мужей и жен.

Ему дали прочесть эрфуртскую программу. Прочитав, он коротко сказал:

– Вздор.

Я пишу воспоминания, а не критическую статью. Поэтому укажу только вкратце, что такие «левые» стихотворения, как знаменитый «Кинжал», по существу не содержат никакой левизны. «Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза» – это Программа

литературная, эстетическая, а не политическая. Карамзин в «Письмах русского путешественника» рассказывает об аристократе, который примкнул к якобинцам. На недоуменные вопросы, к нему обращенные, он отвечал:

– Que faire? J aime les t-t-oubles. (Аристократ был заика.).

Эти слова можно бы поставить эпиграфом ко всем радикальным стихам Брюсова из эпохи 1905 года. Знаменитый «Каменщик» также не выражал взглядов автора. Это – стилизация, такая же подделка, такое же поэтическое упражнение, как напечатанная тут же детская песенка про палочку-выручалочку, как песня сборщиков («Пожертвуйте, благодетели, на новый колокол») и другие подобные стихи. «Каменщик» точно так же не выражал взглядов самого Брюсова, как написанная в порядке «исчерпания тем и возможностей» «Австралийская песня»:

Кенгуру бежали быстро –  
Я еще быстреей.  
Кенгуру был очень жирен,  
И я его съел.

Самое происхождение «Каменщика» – чисто литературное. Это – не более и не менее, как исправленная редакция стихотворения, написанного еще до рождения Брюсова. Под тем же заглавием оно напечатано в «Лютне», старинном заграничном сборнике запрещенных русских стихов. Кто его автор – я не знаю.

Пока фельетонисты писали статьи об обращении «эстета» Брюсова к «общественности», – Брюсов на чердаке своего дома учился стрелять из револьвера, «на случай, если забастовщики придут грабить». В редакции «Скорпиона» происходили беседы, о которых Сергей Кречетов сложил не слишком блестящие, но меткие стишки:

Собирались они по вторникам,  
Мудро глаголя.

Затевали погромы с дворником  
Из Метрополя.<sup>4</sup>

Так трогательно по вторникам,  
В согласии вкусов,

Сочетался со старшим дворником  
Валерий Брюсов.

В ту же пору его младший брат написал ему латинские стихи с обращением:

*Falsas Valerius, duplex lingua!*

В 1913 г. он был приглашен редактировать литературный отдел «Русской Мысли» – и однажды сказал:

– В качестве одного из редакторов «Русской Мысли», я в политических вопросах во всем согласен с Петром Бернгардовичем (Струве).

Впоследствии, накануне февральской революции, в Тифлисе, на банкете, которым армяне чествовали Брюсова, как редактора сборника «Поэзия Армении», – он встал и к великому смущению присутствующих провозгласил тост «за здоровье Государя Императора, Державного Вождя нашей армии». Об этом рассказывал мне устроитель банкета, П. Н. Макинциан, впоследствии составитель знаменитой «Красной Книги ВЧК». (В 1937 г. он был расстрелян).

\* \* \*

Демократию Брюсов презирал. История культуры, которой он поклонялся, была для него историей «творцов», полубогов, стоящих вне толпы, ее презирающих, ею ненавидимых. Всякая демократическая власть казалась ему либо утопией, либо охлократией, господством черни.

---

<sup>4</sup>Изд-во «Скорпион» помещалось в здании Метрополя.

Всякий абсолютизм казался ему силою созидательной, охраняющей и творящей культуру. Поэт, следовательно, всегда на стороне существующей власти, какова бы она ни была, — лишь была бы отделена от народа. Ему, как «гребцу триремы», было

все равно,  
Цезаря влечь иль пирата.

Все поэты были придворными: при Августе, Мecenате, при Людовиках, при Фридрихе, Екатерине, Николае I и т. д. Это была одна из его любимых мыслей.

Поэтому он был монархистом при Николае II. Поэтому, пока надеялся, что Временное Правительство «обуздает низы» и покажет себя «твердою властью», он стремился заседать в каких-то комиссиях и, стараясь поддержать принципы оборончества, написал и издал летом 1917 года небольшую брошюру в розовой обложке, под заглавием: «Как кончить войну?» и с эшиграфом: «*Si vis pacem para bellum*». Идеей брошюры была «война до победного конца».

После, «октября» он впал в отчаяние. Одна дама, всегда начинавшая свою речь словами: «Валерий Яковлевич говорит, что», — в начале ноября встретила со мной у поэта К. А. Липскерова. Когда хозяин вышел из комнаты распорядиться о чае, дама опасливо посмотрела ему вслед и, наклонясь ко мне, прошептала:

— Валерий Яковлевич говорит, что теперь нами будут править жиды.

В ту зиму я сам не встречался с Брюсовым, но мне рассказывали, что он — в подавленном состоянии и оплакивает неминуемую гибель культуры. Только летом 1918 года, после разгона учредительного собрания и начала террора, он приободрился и заявил себя коммунистом.

Но это было вполне последовательно, ибо он увидал пред собою «сильную власть», один из видов абсолютизма, — и поклонился ей: она представилась ему достаточною защитой от

демоса, низов, черни. Ему ничего не стоило объявить себя и марксистом, — ибо, не все ли равно во имя чего — была бы власть.

В коммунизме он поклонился новому самодержавию, которое с его точки зрения было, пожалуй, и лучше старого, так как Кремль все-таки оказался лично для него доступнее, чем Царское Село. Ведь у старого самодержавия не было никакой официально-покровительствуемой эстетической политики, — новое же в этом смысле хотело быть активным. Брюсову представлялось возможным прямое влияние на литературные дела; он мечтал, что большевики откроют ему долгожданную возможность «направлять» литературу твердыми, административными мерами. Если бы это удалось, он мог бы командовать писателями, без интриг, без вынужденных союзов с ними, — единым окриком. А сколько заседаний, уставов, постановлений! А какая надежда на то, что в истории литературы будет сказано: «в таком-то году повернул русскую литературу на столько-то градусов». Тут личные интересы совпадали с идеями.

\* \* \*

Мечта не осуществилась. Поскольку подчинение литературы оказалось возможным, — коммунисты предпочли сохранить диктатуру за собой, а не передать ее Брюсову, который, в сущности, остался для них чужим и которому они, несмотря ни на что, не верили. Ему предоставили несколько более или менее видных, постов — не особенно ответственных. Он служил с волевой исправностью, которая всегда была свойственна его работе, за что бы он ни брался. Он изо всех сил «заседал» и «заведывал».

От писательской среды он отмежевался еще резче, чем она от него. Когда в Москве образовался союз писателей, Брюсов занял по отношению к нему позицию, гораздо более резкую и непримиримую, чем занимали настоящие большевики. Помню, между прочим, такую историю. При уничтожении Литературно-художественного кружка была реквизирована его библиотека и, как водится, расхищалась. Книги находились в ведении

Московского Совета, и Союз писателей попросил, чтобы они были переданы ему. Каменев тогдашний председатель Совета, согласился. Как только Брюсов узнал об этом, он тотчас заявил протест и стал требовать, чтобы библиотека была отдана Лито, совершенно мертвому учреждению, которым он заведывал. Я состоял членом правлений Союза, и мне поручили попытаться уговорить Брюсова, чтобы он отказался от своих притязаний. Я тут же взял телефонную трубку и позвонил к Брюсову. Выслушав меня, он ответил:

– Я вас не понимаю, Владислав Фелицианович. Вы обращаетесь к должностному лицу, стараясь его склонить к нарушению интересов вверенного ему учреждения.

Услышав про «должностное лицо» и «вверенное учреждение», я уже не стал продолжать разговора. Библиотеку перевезли в Лито.

К несчастью, ревность к службе, заходила у Брюсова и еще много дальше. В марте 1920 г. я заболел от недоедания и от жизни в нетопленном подвале. Пролежав месяца два в постели и прохворав все лето, в конце ноября я решил переехать в Петербург, где мне обещали сухую комнату. В Петербурге я снова пролежал с месяц, а так как есть мне и там было нечего, то я принялся хлопотать о переводе моего московского писательского пайка в Петербург. Для этого мне пришлось потратить месяца три невероятных усилий, при чем я все время наткнулся на какое-то невидимое, но явственно ощущаемое препятствие. Только спустя два года я узнал от Горького, что препятствием была некая бумага, лежавшая в петербургском академическом центре. В этой бумаге Брюсов конфиденциально сообщал, что я – человек неблагонадежный. Примечательно, что даже «по долгу службы» это не входило в его обязанности.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Покойный критик Ю. И. Айхенвальд, высланный из России в 1922 г., писал мне впоследствии: «О Брюсове... И сам я меньше всего склонен его идеализировать. Он сделал мне немало дурного и, когда сопричислился к сильным мира сего, некрасиво, т. е. экономически мстил мне за отрицательный отзыв о нем в одной из моих давнишних статей. Самая высылка моя – я это знаю наверное, из источника безукоризненного – произошла при его содействии». (Письмо от 5 августа 1926 г.).

Несмотря на все усердие, большевики не ценили его. При случае, попрекали былой принадлежностью к «буржуазной» литературе. Его стихи, написанные в полном соответствии с видами начальства, все-таки были не нужны, потому что не годились для прямой агитации. Дело в том, что, пишучи на заказные темы и очередные лозунги, в области формы Брюсов оставался свободным. Я думаю, что тщательное формальное исследование коммунистических стихов Брюсова показало бы в них напряженную внутреннюю работу, клонящуюся к попытке сломать старую гармонию, «обрести звуки новые». К этой цели Брюсов шел через сознательную какофонию. Был ли он прав, удалось ли бы ему чего-нибудь достигнуть, – вопрос другой. Но именно наличие этой работы сделало его стихи переутонченными до одеревянения, трудно усвояемыми, недоступными для примитивного понимания. Как агитационный материал они не годятся – и потому Брюсов-поэт оказался по существу не нужным. Оставался Брюсов-служака, которого и гоняли с «поста» на «пост», порой доходя до вольного или невольного издевательства. Так, например, в 1921 г. Брюсов совмещал какое-то высокое назначение по Наркомпросу – с не менее важной должностью в Гуконе, то есть... в Главном Управлений по Коннозаводству.<sup>6</sup> Что ж? Он честно трудился и там и даже, идя в ногу с нэпом, выступал в печати, ведя кампанию за восстановление тотализатора.

Брюсов, конечно, видел свое полное одиночество. Одно лицо, близкое к нему, рассказывало мне в начале 1922 года, что он очень одинок, очень мрачен и угнетен.

Еще с 1908, кажется, года он был морфинистом. Старался от этого отделаться, – но не мог. Летом 1911 г. д-ру Г. А. Койранскому удалось на время отвлечь его от морфия, но в конце

---

<sup>6</sup>Как ни странно, некоторая логика в этом была: самые первые строки Брюсова, появившиеся в печати, – две статьи о лошадях в одном из специальных журналов: не то «Рысак и Скакун», не то «Коннозаводство и Спорт». Отец Брюсова, как я указывал, был лошадиник-любитель. Когда-то я видел детские письма Брюсова к матери, сплошь наполненные беговыми делами и впечатлениями.

концов из этого ничего не вышло. Морфий сделался ему необходим. Помню, в 1917 г., во время одного разговора я заметил, что Брюсов постепенно впадает в какое-то оцепенение, почти засыпает. Наконец он встал, ненадолго вышел в соседнюю комнату – и вернулся помолодевшим.

В конце 1919 г. мне случилось сменить его на одной из служб. Заглянув в пустой ящик его стола, я нашел там иглу от шприца и обрывок газеты с кровавыми пятнами. Последние годы он часто хворал, – по-видимому, на почве интоксикации.

Одиноким, измученным, обрел он, однако, и неожиданную радость. Под конец дней взял на воспитание маленького племянника жены и ухаживал за ним с нежностью, как некогда за котенком. Возвращался домой, нагруженный сластями и игрушками. Расстелив ковер, играл с мальчиком на полу.

Прочитав известие о смерти Брюсова, я думал, что он покончил с собой. Быть может, в конце концов так и было бы, если бы смерть сама не предупредила его.

*Сорренто, 1924.*

## *Андрей Белый*

В 1922 году, в Берлине, даря мне новое издание «Петербург», Андрей Белый на нем написал: «С чувством конкретной любви и связи сквозь всю жизнь».

Не всю жизнь, но девятнадцать лет судьба нас сталкивала на разных путях: идейных, литературных, житейских. Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал. Я уже не принадлежал к тому поколению, к которому принадлежал он, но я стал его поколение еще молодым и деятельным. Многие люди и обстоятельства, сыгравшие заметную роль в жизни Белого, оказались таковы же и по отношению ко мне.

По некоторым причинам я не могу сейчас рассказать о Белом все, что о нем знаю и думаю. Но и сокращенным рассказом хотел бы я не послужить любопытству сегодняшнего дня, а сохранить несколько истинных черт для истории литературы, которая уже занимается, а со временем еще пристальнее займется эпохой символизма вообще и Андреем Белым в частности. Это желание понуждает меня быть сугубо правдивым. Я долгом своим (не легким) считаю исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может <быть> низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвышающему обману» хочется противопоставить нас возвышающую правду: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания.

\* \* \*

Меня еще и на свете не было, когда в Москве, на Пречистенском бульваре, с гувернанткой и песиком, стал являться необыкновенно хорошенький мальчик – Боря Бугаев, сын профессора

математики, известного Европе учеными трудами, московским студентам – феноменальной рассеянностью и анекдотическими чудачествами, а первоклассникам–гимназистам – учебником арифметики, по которому я и сам учился впоследствии. Золотые кудри падали мальчику на плечи, а глаза у него были синие. Золотой палочкой по золотой дорожке катил он золотой обруч. Так вечность, «дитя играющее», катит золотой круг солнца. С образом солнца связан младенческий образ Белого.

Профессор Бугаев в ту пору говаривал: «Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня». За этими шутливыми словами скрывалась нешуточная семейная драма. Профессор был не только чудаком, но и сущий урод лицом. Однажды в концерте, (уже в начале девятисотых годов) Н. Я. Брюсова, сестра поэта, толкнув локтем Андрея Белого, спросила его: «Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто эта обезьяна?» – «Это мой папа» – отвечал Андрей Белый с тою любезнейшей, широчайшей улыбкой совершенного удовольствия, чуть не счастья, которою он любил отвечать на неприятные вопросы.

Его мать была очень хороша собой. На каком-то чествовании Тургенева возле знаменитого писателя сочли нужным посадить первых московских красавиц: то были Екатерина Павлова Леткова, впоследствии Султанова, сотрудница «Русского Богатства», в которую долгие годы был безнадежно влюблен Боборыкин, и Александра Дмитриевна Бугаева. Они сидят рядом и на известной картине К. Е. Маковского «Боярская свадьба», где с Александры Дмитриевны писана сама молодая, а с Екатерины Павловны – одна из дружек. Отца Белого я никогда не видел, а мать застал уже пожилою, несколько полною женщиной со следами несомненной красоты и с повадками записной кокетки. Однажды, захав с одною родственницей к портнихе, встретил я Александру Дмитриевну. Приподымая широкою тафтяную юбку концами пальчиков, она вертелась перед зеркалом, приговаривая: «А право же, я ведь еще хоть куда!» В 1912 г. я имел случай наблюдать, что сердце ее еще не чуждо волнений.

Физическому несходству супругов отвечало расхождение внутреннее. Ни умом, ни уровнем интересов друг другу они не подходили. Ситуация была самая обыкновенная: безобразный, неряшливый, погруженный в абстракции муж и красивая, кокетливая жена, обуреваемая самыми «земными» желаниями. Отсюда столь же обыкновенный в таких случаях разлад, изо дня в день проявлявшийся в бурных ссорах по всякому поводу. Боря при них присутствовал.

Белый не раз откровенно говорил об автобиографичности «Котика Летаева». Однако, вчитываясь в позднюю прозу Белого, мы без труда открываем, что и в «Петербурге», и в «Котике Летаеве», и в «Преступлении Николая Летаева», и в «Крещеном китайце», и в «Московском чудаке», и в «Москве под ударом» завязкой служит один и тот же семейный конфликт. Все это – варианты драмы, некогда разыгранной в семействе Бугаевых. Не только конфигурация действующих лиц, но и самые образы отца, матери и сына повторяются до мельчайших подробностей. Изображение наименее схожее с действительностью в «Петербурге». Зато в последующих романах оно доходит почти до фотографической точности. Чем зрелее становился Белый, тем упорнее он возвращался к этим воспоминаниям детства, тем более значения они приобретали в его глазах. Начиная с «Петербурга», все политические, философские и бытовые задания беловских романов отступают на задний план перед заданиями автобиографическими и, в сущности, служат лишь поводом для того, чтобы воскресить в памяти и переосознать впечатления, поразившие в младенчестве.<sup>7</sup> Не только нервы, но и самое воображение Андрея Белого были раз навсегда поражены и – смею сказать – потрясены происходившими в доме Бугаевых «житейскими грозами», как он выражается. Эти грозы оказали глубочайшее влияние на характер Андрея Белого и на всю его жизнь.

---

<sup>7</sup>Тождеству действующих лиц и их ситуаций в романах Андрея Белого была мною посвящена статья «Аблеуховы – Летаевы – Коробкины». См. «Современные Записки», 1927, кн. 31-я.

В семейных бурях он очутился листиком или песчинкой: меж папой, уродом и громовержцем, окутанным облаком черной копоти от швыряемой об пол керосиновой лампы, – и мамочкой, легкомысленной и прелестной, навлекающей на себя гнев и гибель, как грешные жители Содома и Гоморры. Первичное чувство в нем было таково: папу он боялся и втайне ненавидел до очень сильных степеней ненависти: не даром потенциальные или действительные преступления против отца (вплоть до покушения на отцеубийство) составляют фабульную основу всех перечисленных романов. Мамочку он жалел и ею восторгался почти до чувственного восторга. Но чувства эти, сохраняя всю остроту, с годами осложнялись чувствами вовсе противоположными. Ненависть к отцу, смешиваясь с почтением к его уму, с благоговейным изумлением перед космическими пространствами и математическими абстракциями, которые варут раскрывались через отца, оборачивалась любовью. Влюбленность в мамочку уживалась с нелестным представлением об ее уме и с инстинктивным отвращением к ее отчетливой, прямой плотскости.

Каждое явление, попадая в семью Бугаевых, подвергалось противоположным оценкам со стороны отца и со стороны матери. Что принималось и одобрялось отцом, то отвергалось и осуждалось матерью – и наоборот. «Раздираемый», по собственному выражению, между родителями, Белый по всякому поводу переживал относительную правоту и неправоту каждого из них. Всякое явление оказывалось двусмысленно, раскрывалось двусторонне, двузначуще. Сперва это ставило в тупик и пугало. С годами вошло в привычку и стало модусом отношения к людям, к событиям, к идеям. Он полюбил совместимость несовместимого, трагизм и сложность внутренних противоречий, правду в неправде, может быть – добро в зле и зло в добре. Сперва он привык таить от отца любовь к матери (и ко всему «материнскому»), а от матери любовь к отцу (и ко всему «отцовскому») – и научился понимать, что в таком притворстве нет внутренней лжи. Потом ту же двойственность отношения стал он переносить на других людей – и это создало ему славу дву-

лично человека. Буду вполне откровенен: нередко он и бывал двуличен, и извлекал из двуличия ту выгоду, которую оно иногда может дать. Но в основе, в самой природе его двуличия не было ни хитрости, ни оппортунизма. И то, и другое он искренно ненавидел. Но в людях, которых любил, он искал и, разумеется, находил основания их не любить. В тех, кого не любил или презирал, он не боялся почуять доброе и порою бывал обезоружен до нежности. Собираясь действовать примирительно вдруг вскипал и раздражался бешеными филиппиками; собираясь громить и обличать – внезапно оказывался согласен с противником. Случалось ему спохватываться, когда уже было поздно, когда дорогой ему человек становился врагом, а презираемый лез с объятиями. Порой он лгал близким и открывал душу первому встречному. Но и во лжи нередко высказывал он только то, что казалось ему «изнанкою правды», а в откровенностях помалкивал «о последнем».

В сущности, своему «раздиранию» между родителями он был обязан и будущим строем своих воззрений. Отец хотел сделать его своим учеником и преемником – мать боролась с этим намерением музыкой и поэзией: не потому, что любила музыку и поэзию, а потому, что уж очень ненавидела математику. Чем дальше, тем Белому становилось яснее, что все «позитивное», близкое отцу, близко и ему, но что искусство и философия требуют примирения с точными знаниями – «иначе и жить нельзя». К мистике, а затем к символизму он пришел трудным путем примирения позитивистических тенденций девятнадцатого века с философией Владимира Соловьева. Недаром, прежде чем поступить на филологический факультет, он окончил математический. Всего лучше об этом рассказано им самим. Я только хотел указать на ранние биографические истоки его позднейших воззрений и всей его литературной судьбы.

\* \* \*

Я познакомился с ним в эпоху его романа с Ниной Петровской, точнее – в ту самую пору, когда совершался между ними разрыв.

Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать. Однако в этой области с особенною наглядностью проявлялась и его двойственность, о которой я только что говорил. Тактика у него всегда была одна и та же: он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключаящем всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратно: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед «падением» ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, – но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили.

Нина Петровская пострадала за то, что стала его возлюбленной. Он с нею порвал в самой унижительной форме. Она сблизилась с Брюсовым, чтобы отомстить Белому – и в тайной надежде его вернуть, возбудив его ревность.

В начале 1906 года, когда начиналось «Золотое Руно», однажды у меня были гости. Нина и Брюсов пришли задолго до всех. Брюсов попросил разрешения удалиться в мою спальню, чтобы закончить начатые стихи. Через несколько времени он вышел оттуда и попросил вина. Нина отнесла ему бутылку коньяку. Через час или больше, когда гости уже собрались, я заглянул в спальню и застал Нину с Брюсовым сидящими на полу и плачущими, бутылку допитой, а стихи конченными. Нина шепнула, чтобы за ужином я попросил Брюсова прочесть новые стихи. Ничего не подозревая (я тогда имел очень смутное понятие о том, что происходит между Ниной, Белым и Брюсовым), я так и сделал. Брюсов сказал, обращаясь к Белому:

– Борис Николаевич, я прочту подражание вам.

И прочел. У Белого было стихотворение «Предание», в котором иносказательно и эвфемистически изображалась история разрыва с Ниной. Этому «Преданию» Брюсов и подражал в

своих стихах, сохранив форму и стиль Белого, но придав истории новое окончание и представив роль Белого в самом жалком виде. Белый слушал, смотря в тарелку. Когда Брюсов кончил читать, все были смущены и молчали. Наконец, глядя Белому прямо в лицо и скрестив по обычаю руки, Брюсов спросил своим самым гортанным и клекочущим голосом:

– Похоже на вас, Борис Николаевич?

Вопрос был двусмысленный: он относился разом и к стилю брюсовского стихотворения, и к поведению Белого. В крайнем смущении, притворяясь, что имеет в виду только поэтическую сторону вопроса и не догадывается о подоплеке, Белый ответил с широчайшей своей улыбкой:

– Ужасно похоже, Валерий Яковлевич! И начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов резко прервал его:

– Тем хуже для вас!

Зная о моей дружбе с Ниной, Белый считал, что чтение было сознательно мною подстроено в соучастии с Брюсовым. Мы с Белым встречались, но он меня сторонился. Я уже знал, в чем дело, но не оправдывался: отчасти потому, что не знал, как начать разговор, отчасти из самолюбия. Только спустя два года без малого мы объяснились – при обстоятельствах столь же странных, как все было странно в нашей тогдашней жизни.

\* \* \*

В 1904 г. Белый познакомился с молодым поэтом, которому суждено было стать одним из драгоценнейших русских поэтов. Их личные и литературные судьбы оказались связаны навсегда. В своих воспоминаниях Белый изобразил историю этой связи в двух версиях, взаимно исключающих друг друга и одинаково неправдивых. Будущему биографу обоих поэтов придется затратить немало труда на восстановление истины.

Поэт приехал в Москву с молодой женой, уже знакомой некоторым московским мистикам, друзьям Белого, и уже окруженной их восторженным поклонением, в котором придавленный эротизм бурлил под соблазнительным и отчасти лицемерным покровом мистического служения Прекрасной

Даме. Белый тотчас поддался общему настроению, и жена нового друга стала предметом его пристального внимания. Этому вниманию мистики покровительствовали и раздували его. Потом не нужно было и раздувать – оно превратилось в любовь, которая, в сущности, и дала толчок к разрыву с Ниной Петровской. Я не берусь в точности изложить историю этой любви, протекавшей то в Москве, то в Петербурге, то в деревне, до крайности усложненную сложными характерами действующих лиц, своеобразным строем символистского быта, и наконец, многообразными событиями литературной, философской и даже общественной жизни, на фоне которых она протекала, с которыми порой тесно переплеталась и на которые, в свою очередь, влияла. Скажу суммарно: история этой любви сыграла важную роль в литературных отношениях той эпохи, в судьбе многих лиц, непосредственно в ней даже не замешанных и в конечном счете – во всей истории символизма. Многое в ней еще и теперь не ясно. Белый рассказывал мне ее неоднократно, но в его рассказах было вдоволь противоречий, недомолвок, вариантов, нервического воображения. Подчеркиваю, что его устные рассказы значительно рознились от печатной версии, изложенной в его воспоминаниях.

По соображении всех данных, история романа представляется мне в таком виде. По-видимому, братские чувства, первоначально предложенные Белым, были приняты дамою благосклонно. Когда же Белый, по обыкновению, от братских чувств перешел к чувствам иного оттенка, задача его весьма затруднилась. Быть может, она оказалась бы вовсе неразрешимой, если бы не его ослепительное обаяние, которому, кажется, нельзя было не поддаться. Но в тот самый момент, когда его любовные домогательства были близки к тому, чтобы увенчаться успехом, неизбывная двойственность Белого, как всегда, прорвалась наружу. Он имел безумие уверить себя самого, что его неверно и «дурно» поняли, – и то же самое объявил даме, которая, вероятно, немало выстрадала пред тем, как ответить ему согласием. Следствие беловского отступления не трудно себе представить. Гнев и презрение овладели той, кого он любил. И

она отплатила ему стократ обиднее и большее, чем Нина Петровская, которой она была во столько же раз выносливее и тверже. Что же Белый? Можно сказать с уверенностью, что с этого-то момента он и полюбил по настоящему, всем существом и, по моему глубокому убеждению, — навсегда. Потом еще были в его жизни и любви, и быстрые увлечения, но та любовь сохранилась сквозь все и поверх всего. Только ту женщину, одну ее, любил он в самом деле. С годами, как водится, боль припухала, но долго она была жгучей. Белый страдал неслыханно, переходя от униженного смирения к бешенству и гордыне, — кричал, что отвергнуть его любовь есть кощунство. Порою страдание подымало его на очень большие высоты духа — порою падал он до того, что, терзаясь ревностью, литературно мстил своему сопернику, действительному или воображаемому. Он провел несколько месяцев за границей — и вернулся с неутоленным страданием и «Кубком метелей» — слабейшею из его симфоний, потому что она была писана в надрыве.

\* \* \*

В августе 1907 года из-за личных горестей поехал я в Петербург на несколько дней — и застрял надолго: не было сил вернуться в Москву. С литераторами я виделся мало и жил трудно. Ночами слонялся по ресторанам, игорным домам и просто по улицам, а днем спал. Вдруг приехала Нина Петровская, гонимая из Москвы неладами с Брюсовым и минутной, угарной любовью к одному молодому петербургскому беллетристу, которого «стилизированные» рассказы тогда были в моде. Брюсов за ней приезжал, пытался вернуть в Москву — она не сразу поехала. Изредка вместе коротали мы вечера — признаться, неврастенические. Она жила в той самой Английской гостинице, где впоследствии покончил с собой Есенин.

28 сентября того года Блок писал своей матери из Петербурга: «Мама, я долго не пишу и мало пишу от большого количества забот — крупных и мелких. Крупные касаются Любы<sup>8</sup>,

---

<sup>8</sup>Любовь Дмитриевна, жена Блока. — В. Х.

Натали Николаевны<sup>9</sup> и Бори. Боря придет ко мне скоро. Он мне все ближе и ужасно несчастен». Наконец Белый приехал, чтобы вновь быть отвергнутым. Встретились мы случайно. Однажды, после литературного сборища, на котором Бунин читал по рукописи новый рассказ заболевшего Куприна (это был «Изумруд»), я вышел на Невский. Возле Публичной Библиотеки пристала ко мне уличная женщина. Чтобы убить время, я предложил угостить ее ужином. Мы зашли в ресторанчик. На вопрос, как ее зовут, она ответила странно:

– Меня все зовут *бедная Нина*. Так зовите и вы.

Разговор не клеился. Бедная Нина, щупленькая брюнетка с коротким носиком, устало делала глазки и говорила, что ужас как любит мужчин, а я подумывал, как будет скучно от нее отдеваться. Вдруг вошел Белый, возбужденный и не совсем трезвый. Он подсел к нам, и за бутылкою коньяку мы забыли о нашей собеседнице. Разговорились о Москве. Белый, размяченный вином, признался мне в своих подозрениях о моей «провокации» в тот вечер, когда Брюсов читал у меня стихи. Мы объяснились, и прежний лед между нами был сломан. Ресторан между тем закрывали, и Белый меня повез в одно «совсем петербургское место», как он выразился. Мы приехали куда-то в конец Измайловского проспекта. То был низкосортный клуб. Необыкновенно почтенный мужчина с седыми баками, которого все звали полковником, нас встретил. Белый меня рекомендовал, и, заплатив по трешнице, которая составляла верхнейшую рекомендацию, мы вошли в залу. Приказчики и мелкие чиновники в пиджачках отплясывали кадрили с девицами, одетыми (или раздетыми) цыганками и наядами. Потом присуждались премии за лучшие костюмы – вышел небольшой скандал, кого-то обидели, кто-то ругался. Мы спросили вина и просидели в «совсем петербургском месте» до рыжего петербургского рассвета. Расставаясь, условились пообедать в «Вене» с Ниной Петровской.

---

<sup>9</sup>Артистка Н. Н. Волохова, которой посвящена «Снежная Маска». – В. Х.

Обед вышел мрачный и молчаливый. Я сказал:

– Нина, в вашей тарелке, кажется, больше слез, чем супа.

Она подняла голову и ответила:

– Меня надо звать *бедная Нина*.

Мы с Белым переглянулись – о женщине с Невского Нина ничего не знала. В те времена такие совпадения для нас много значили.

Так и кончился тот обед – в тяжелом молчании. Через несколько дней, зайдя к Белому (он жил на Васильевском острове, почти у самого Николаевского моста), увидел я круглую шляпную картонку. В ней лежали атласное красное домино и черная маска. Я понял, что в этом наряде Белый являлся в «совсем петербургском месте». Потом домино и маска явились в его стихах, а еще позже стали одним из центральных образов «Петербурга».

Несколько дней спустя после нашего обеда Нина уехала в Москву, а в самом конце октября (если мне память не изменяет) тронулись и мы с Белым. На станциях он пил водку, а в Москве прожил дня два – и кинулся опять в Петербург. Не мог жить ни с *нею*, ни без *нее*.

\* \* \*

Четыре года, протекшие после того, мне помнятся благодарно: годами, смею сказать, нашей дружбы. Белый тогда был в кипении: сердечном и творческом. Тогда дописывался им «Пепел», писались «Урна», «Серебряный Голубь», важнейшие статьи «Символизма». На это же время падают и самые резкие из его полемических статей, о тоне которых он потом жалел часто, о содержании – никогда. Тогда же он учинял и самые фантастические из публичных своих скандалов, – однажды на сцене Литературно-художественного кружка пришлось опустить занавес, чтобы слова Белого не долетали до публики. Зато в наших встречах он оборачивался другой стороной. Приходил большею частью по утрам, и мы иногда проводили вместе весь день, то у меня, то гуляя: в сквере у Храма Христа Спасителя, в Ново-Девичьем монастыре; однажды ездили в Петровско-Разумовское, в грот, связанный с убийством студента Иванова.

Белый умел быть и прост, и уютен: *gemutlich* – по любимому его слову. Разговоры его переходили в блистательные импровизации и всегда были как-то необыкновенно окрыляющие. Любил он и просто рассказывать: о семье Соловьевых, о пророческих зорях 1900 года, о профессорской Москве, которую с бешенством и комизмом изображал в лицах. Случалось – читал только что написанное и охотно выслушивал критические возражения, причем был в общем упрям. Лишь раз удалось мне уговорить его: выбросить первые полторы страницы «Серебряного Голубя». То был слепок с Гоголя, написанный, очевидно, лишь для того, чтобы разогнать перо.

Разговоры специально стихотворческие велись часто. Нас мучил вопрос: чем, кроме инструментовки, обусловлено разноразвучание одного и того же размера? Летом 1908 г., когда я жил под Москвой, он позвонил мне по телефону, крича со смехом:

– Если свободны, скорей приезжайте в город. Я сам приехал сегодня утром. Я сделал открытие! Ей-Богу, настоящее открытие, вроде Архимеда!

Я, конечно, поехал. Был душный вечер. Белый встретил меня загорелый и торжествующий, в русской рубашке с открытым воротом. На столе лежала гигантская куча бумаги, разграфленной вертикальными столбиками. В столбиках были точки, причудливо связанные прямыми линиями. Белый хлопал по куче тяжелой своей ладонью:

– Вот вам четырехстопный ямб. Весь тут, как на ладони. Стихи одного метра разнятся ритмом. Ритм с метром не совпадает и определяется пропуском метрических ударений. «Мой дядя самых честных правил» – четыре ударения, а «И кланялся непринужденно» – два: ритмы разные, а метр все тот же, четырехстопный ямб.

Теперь все это стало азбукой. В тот день это было открытием, действительно простым и внезапным, как архимедово. Закону несовпадения метра и ритма должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого. Это открытие в дальнейшей разработке имеет несовершенства, о которых впоследствии было много писано. Тогда, на первых порах, разобраться в них

было труднее. Однако у меня с Белым тотчас начались препирательства по конкретному поводу. Как раз в то время он готовил к печати «Пепел» и «Урну» – и вдруг принялся коренным образом перерабатывать многие стихотворения, подгоняя их ритм к недавно открытым формулам. Разумеется, их ритмический узор, взятый в отвлечении, стал весьма замечателен. Но в целом стихи сплошь и рядом оказывались испорчены. Сколько ни спорил я с Белым – ничего не помогало. Стихи вошли в его сборники в новых редакциях, которые мне было больно слышать. Тогда-то и начал я настаивать на необходимости изучения ритмического содержания не иначе, как в связи с содержанием смысловым. Об этом шли у нас пререкания то с глазу на глаз, то в кружке ритмистов, который составил при издательстве «Мусагет». Вне-смысловая ритмика мне казалась ложным и вредным делом. Кончилось тем, что я перестал ходить на собрания.

Белый в ту пору был в большой моде. Дамы и барышни его осаждали. Он с удовольствием кружил головы, но заставлял штудировать Канта – особ, которым совсем не того хотелось.

– Она мне цветочек, а я ей: сударыня, если вы так интересуетесь символизмом, то посидите-ка сперва над «Критикой чистого разума»!

Или:

– Ах, что за прелесть эта милейшая мадмуазель Штаневич! Я от нее в восторге!

– Борис Николаевич, да ведь она Станевич, а не Штаневич!

– Да ну, в самом деле? А я ее все зову Штаневич. Как вы думаете, она не обиделась?

Неделю спустя опять: – Ах, мадмуазель Штаневич!

– Борис Николаевич! Станевич!

– Боже мой! Неужели? Какое несчастье!

А у самого глаза веселье и лживые.

Иногда у него на двери появлялась записка: «Б. Н. Бугаев занят и просит не беспокоить».

– Это я от девиц, – объяснял он, но не всегда на сей счет был правдив. Мне жаловался: «Надоел Пастернак». Полагаю, что Пастернаку – «Надоел Ходасевич».

Однажды, – чуть ли не в ярости: – Нет, вы подумайте, вчера ночью, в метель, возвращаюсь домой, а Мариэтта Шагинян сидит у подъезда на тумбе, как дворник. Надоело мне это! – А сам в то же время писал ей длиннейшие философические письма, из благодарности за которые бедная Мариэтта, конечно, готова была хоть замерзнуть.

В 1911 г. я поселился в деревне, и мы стали реже видеться. Потом Белый женился, уехал в Африку, ненадолго вернулся в Москву и уехал опять: в Швейцарию, к Рудольфу Штейнеру. Перед самой войной пришло от него письмо, бодрое, успокоенное, с рассказом о мускулах, которые он себе набил, работая резчиком по дереву при постройке Гетеанума. Я думал, что наконец он счастлив.

\* \* \*

В тот вечер, когда в Москве, получилось по телефону известие об убийстве Распутина, Гершензон повел меня к Н. А. Бердяеву. Там обсуждались события. Там, после долгой разлуки, я впервые увидел Белого. Он был без жены, которую оставил в Дорнахе. С первого взгляда я понял, что ни о каком его успокоении нечего говорить. Физически огрубелый, с мозолистыми руками, он был в состоянии крайнего возбуждения. Говорил мало, но глаза, ставшие из синих бледно-голубыми, то бегали, то останавливались в каком-то ужасе. Облысевшее темя с пучками полуседых волос казалось мне медным шаром, который заряжен миллионами вольт электричества. Потом он приходил ко мне рассказывать о каких-то шпионах, провокаторах, темных личностях, преследовавших его и в Дорнахе, и во время переезда в Россию. За ним подглядывали, его выслеживали, его хотели сгубить в прямом смысле и еще в каких-то смыслах иных.

Эта тема, в сущности граничащая с манией преследования, была ему всегда близка. По моему глубокому убеждению,

возникла она еще в детстве, когда казалось ему, что какие-то темные силы хотят его погубить, толкая на преступление против отца. Чудовища, которые были и подстрекателями, и Эриниями потенциального отцеубийства, Белый на самом деле носил в себе, но инстинкт самосохранения заставил его отыскивать их вовне, чтобы на них сваливать вину за свои самые темные помыслы, вожделения, импульсы. Все автобиографические романы, о которых говорено выше, начиная с «Петербурга» и кончая «Москвой под ударом», полны этими отвратительными уродами, отчасти вымышленными, отчасти фантастически пересозданными из действительности. Борьба с ними, то есть с носимым в душе зародышем предательства и отцеубийства, сделалась на всю жизнь основной, главной, центральной темой всех романов Белого, за исключением «Серебряного Голубя». Ни с революцией, ни с войной эта тема по существу не связана и ни в каком историческом обрамлении не нуждается. В «Котике Летаеве», в «Преступлении Николая Летаева» и в «Крещеном китайце» Белый без него и обошелся. С событиями 1905 и 1914 гг. связаны только «Петербург», «Московский чудак» и «Москва под ударом». Но для всякого, кто читал последние два романа, совершенно очевидно, что в них эта связь грубейшим образом притянута за волосы. «Московского чудака» и «Москву под ударом» Белый писал в середине двадцатых годов, в советской России. И в тексте, и в предисловии он изо всех сил подчеркивал, будто главный герой обоих романов, математик Коробкин, олицетворяет «свободную по существу науку», против которой ведет страшную интригу капиталистический мир, избравший своим орудием Митю, коробкинского сына. В действительности до всей этой абсолютно неправдоподобной «концепции» Белому не было никакого дела. Его истинной целью было – дать очередной вариант своей излюбленной темы о Преступлении против отца. Темные силы, толкающие Митю на преступление, наряжены в маски капиталистических демонов единственно потому, что этого требовал «социальный заказ». Замечательно, что «Московский чудака» и «Москва под ударом» должны были, по заявлению Белого, составить лишь начало

обширного цикла романов, который, однако, не был закончен, так же как цикл, посвященный истории Николая Летаева. Почему? Потому что в обоих случаях Белый охладевал к своему замыслу тотчас после того, как была написана единственно важная для него часть – о преступлении сына против отца.

Только в «Петербург», самом раннем из романов этой «эдиповской» серии, тема революции 1905 года действительно занимала Белого. Однако, по его собственным словам, первая мысль связать личную тему с политической возникла и в «Петербурге» потому, что в политических событиях той эпохи прозвучал знакомый Белому с детства мотив подстрекательства, провокации. По своей неизменной склонности к чертежам он изображал структуру «Петербурга» в виде двух равных окружностей, из которых одна изображала личную, другая политическую тему; вследствие очень незначительного, гораздо менее радиуса, расстояния между центрами, большая часть площади у этих окружностей оказывалась общей; она-то и представляла собою тему провокации, объединяющей обе стороны замысла и занимающей в нем центральное место.

«Петербург» был задуман как раз в те годы, когда провокационная деятельность департамента полиции была вскрыта и стала предметом общего негодования и отвращения. У Белого к этим чувствам примешивался и даже над ними доминировал ужас порядка вполне мистического. Полиция подстрекала преступника, сама же за ним следила и сама же его карала, то есть действовала совершенно так, как темные силы, на которые Белый сваливал свои отцеубийственные помыслы. Единство метода наводило его мысль, точнее сказать – его чувство на единство источника. Политическая провокация получала в его глазах черты демонические в самом прямом смысле слова. За спиной полиции, от директора департамента до простого дворника, ему чудились инспираторы потустороннего происхождения. Обывательский страх перед городовым, внушенный ему еще в детстве, постепенно приобретал чудовищные размеры и очертания. Полиция всех родов, всех оттенков, всех стран повергала его в маниакальный ужас, в припадках которого он

доходил до страшных, а иногда жалких выходов. Ненастной весенней ночью, в пустынном немецком городке Сааров, мы возвращались от Горького к себе в гостиницу. Я освещал дорогу карманным фонариком. Единственный сааровский ночной сторож, старый инвалид, замученный мраком, дождем и скукой, брел по дороге шагах в десяти от нас, — должно быть, привлеченный огнем, как ночная бабочка. Вдруг Белый его увидел:

— Кто это?

— Ночной сторож.

— Ага, значит — полиция? За нами следят?

— Да нет же, Борис Николаевич, ему просто скучно ходить одному.

Белый ускорил шаги — сторож отстал. На нашу беду в гостинице, куда примчались мы чуть не рысью, пришлось долго звонить. Тем временем подошел сторож. Он стоял поодаль в своем резиновом плаще с острым куколем. Наконец, он сделал несколько шагов к нам и спросил, в чем дело. Вместо ответа Белый изо всех сил принялся дубасить в дверь своею дубинкой. Нам отперли. Белый стоял посреди передней, еле дыша и обливаясь потом.

\* \* \*

Военный коммунизм пережил он, как и все мы, в лишениях и болезнях. Ютился в квартире знакомых, топя печурку своими рукописями, голодая и стоя в очередях. Чтобы прокормить себя с матерью, уже больною и старою, мерил Москву из конца в конец, читал лекции в Пролеткульте и в разных еще местах, целыми днями просиживал в Румянцовском музее, где замерзали чернила, исполняя бессмысленный заказ Театрального отдела (что-то о театрах в эпоху Французской революции), исписывая вороха бумаги, которые наконец где-то и потерял. В то же время он вел занятия в Антропософском обществе, писал «Записки чудака», книгу по философии культуры, книгу о Льве Толстом и другое.

С конца 1920 г. я жил в Петербурге. Весной 1921 г. переселился туда и он, там писателям было вольготнее. Ему дали

комнату в гостинице на улице Гоголя, почти против бывшего ресторана «Вена», где, почти четырнадцать лет тому назад мы обедали с Ниной Петровской. Он сторонился от поэтического Петербурга, подолгу гостя в Царском Селе, у Иванова-Разумника. Возобновились наши свидания и прогулки – теперь уж по петербургским набережным. В белые ночи, в неизъяснимо прекрасном Петербурге тех дней, ходили мы на тихое поклонение Медному Всаднику. Однажды я водил Белого к тому дому, где умер Пушкин.

Как-то раз вбежал он ко мне веселый и светлый, каким я давно уже его не видал. Принес поэму «Первое свидание» – лучшее из всего, что написано им в стихах. Я был первым слушателем поэмы – да простится мне это горделивое воспоминание. Да простится мне и другое: в те самые дни написал он и первую свою статью обо мне – для пятого выпуска «Записок Мечтателей». То был последний выпуск, проредактированный еще Блоком, но вышедший уже после смерти Блока.

Он давно мечтал выехать за границу. Говорил, что хочется отдохнуть, но были у него и другие причины, о которых он мне тогда не сообщал и о которых я только догадывался. Большевики не выпускали его. Он нервничал до того, что пришлось обратиться к врачу. Он подумывал о побеге – из этого тоже ничего не вышло да и не могло выйти: он сам всему Петербургу разболтал «по секрету», что собрался бежать. Его стали спрашивать: скоро ли вы бежите? Из этого он, разумеется, заключил, что чрезвычайка за ним следит, и, разумеется, – доходил до приступов дикого страха. Наконец, после смерти Блока и расстрела Гумилева, большевики смутились и дали ему заграничный паспорт.

\* \* \*

Еще в начале 1919 года он получил уведомление о том, что отныне порываются личные узы меж ним и некоторыми доргами ему обитателями Дорнаха.

Этого удара он ожидал, но ему хотелось все-таки объяснить-ся, кое-что выяснить в отношениях. Потому-то и рвался загра-ницу.

Вторая цель поездки, тоже связанная с Дорнахом, была важ-нее. Надо иметь в виду, что значение и вес антропософского движения Белый чудовищно преувеличивал. Ему казалось, что от антропософов вообще и от Рудольфа Штейнера в особен-ности что-то в мире зависит. Вот он и ехал сказать братьям-антропософам и их руководителю, «на плече, которого некогда возлежал», о тяжких духовных родах, переживаемых Россией, о страданиях многомиллионного народа. Открыть им глаза на Россию почитал он своею миссией, а себя – послом от России к антропософии (так он выражался). Самая эта миссия, повто-ряю, может показаться делом несостоящим. Но Белый смотрел иначе, а нам важна психология Белого.

Что же случилось? По личному поводу с ним не только не захотели объясняться, но и выказали к нему презрение в форме публичной, вызывающей и оскорбительной нестерпимо. Что касается «посольства», дело обернулось еще хуже. Оказалось, что ни д-р Штейнер, ни его окружение просто не намерены за-ниматься такими преходящими и мелкими вещами, как Россия. Может быть, у Штейнера были и другие причины: он мог ожи-дать (и оказался бы в этом прав), что Белый отнюдь не ставит знака равенства между Россией и большевиками; меж тем дело как раз шло к рапалльскому договору... Как бы то ни было, миссию Белого Дорнах решил игнорировать, и сам Штейнер явно уклонялся от свидания (чему, опять же, могли быть не только политические причины). Наконец, в каком-то собрании, в Берлине, Белый увидел Штейнера. Подлетел – и услышал подчеркнуто-обывательский вопрос, заданный отечески-снисходительным тоном:

– Na, wie geht's?<sup>10</sup>

Белый понял, что говорить не о чем, и ответил с презри-тельным бешенством:

---

<sup>10</sup> Ну, как дела? (нем.).

– Schwierigkeiten mit dem Wohnungsamt!<sup>11</sup>

Может быть, с того дня он и запил.

Он жил в Цоссене, под Берлином, недалеко от кладбища, в доме какого-то гробовщика.<sup>12</sup> Мы встретились летом 1922 г., когда я приехал из России. Теперь он был совсем уже сед. Глаза еще более выцвели – стали почти что белыми.

С осени он переехал в город – и весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики. Ее видели, ей радовались, над ней насмехались слишком многие. Скажу о ней покороче. Выражалась она главным образом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских Dielen. Не в том дело, что танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчею фокстротов вносил он свои «вариации» – искаженный отсвет неизменного своеобразия, которое он проявлял во всем, за что бы ни брался. Танец в его исполнении превращался в чудовищную мимодраму, порой даже и непристойную. Он приглашал незнакомых дам. Те, которые были посмелее, шли, чтобы позабавиться и позабавить своих спутников. Другие отказывались – в Берлине это почти оскорбление. Третьим запрещали мужа, отцы. То был не просто танец пьяного человека: то было, конечно, символическое поправление лучшего в самом себе, кощунство над собой, дьявольская гримаса себе самому – чтобы через себя показать ее Дорнаху. Дорнах не выходил у него из головы. По всякому поводу он мыслино возвращался к Штейнеру. Однажды, едучи со мной в Untergrund'e и нечаянно поступая вполне по-прутковски: русские, окружающим непонятные слова шепча на ухо, а немецкие выкрикивая на весь вагон, он сказал мне:

– Хочется вот поехать в Дорнах, да крикнуть д-ру Штейнеру, как уличные мальчишки кричат: Herr Doktor, Sie sind ein alter Affe!<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Трудности с жилищным управлением! (нем.).

<sup>12</sup> О его жизни в Цоссене см. замечательные воспоминания Марины Цветаевой в «Современных Записках», 1934, кн. 55-я. В той же книге мною опубликованы три письма его.

<sup>13</sup> Господин доктор, вы – старая обезьяна! (нем.).

Он словно старался падать все ниже. Как знать, может быть и надеялся: услышат, окликнут... Но Дорнах не снисходил со своих высот, а Белый жил, как на угольях. Свои страдания он «выкрикивал в форточку» – то в виде плохих стихов с редкими проблесками гениальности, то в виде бесчисленных исповедей. Он исповедывался, выворачивая душу, кому попало, порой полужнакомым и вовсе незнакомым людям: соседям по табльдоту, ночным гулякам, смазливый пансионским горничным, иностранным журналистам. Полулюбился в некую Mariechen, болезненную, запуганную девушку, дочь содержателя маленькой пивной; она смущалась чуть не до слез, когда Herr Professor ломая ей пальцы своими лапищами, отплясывал с нею неистовые танцы, а между танцами, осушая кружку за кружкой, рассказывал ей, то рыча, то шипя, то визжа, все одну и ту же запутанную историю, в которой она ничего не понимала. Замечательно, что и все эти люди, тоже ничего не понимавшие, заслушивались его, чуя, что пьяненький Herr Professor – не простой человек. Возвращаясь домой, раздевался он до гола и опять плясал, выплясывая свое несчастье. Это длилось месяцами. Хотелось иногда пожалеть, что у него такое неиссякаемое физическое здоровье: уж лучше бы заболел, свалился.

Его охраняли, за ним ухаживали: одни из любопытства, другие – с истинною любовью. Из таких людей, опекавших его самоотверженно и любовно, хочу я назвать двоих: С. Г. Каплуна (Сумского), его тогдашнего издателя, и поэтессу Веру Лурье. К несчастью, он был упрямее и сильнее всех своих опекунов, вместе взятых.

Мы виделись почти каждый день, иногда с утра до глубокой ночи. Осенью появилась в Берлине Нина Петровская, сама полубезумная, нищая, старая, исхудалая, хромая. 8 ноября, как раз накануне того дня, когда исполнилось одиннадцать лет со дня ее отъезда из России, они у меня встретились, вместе ушли и вместе провели вечер. Оба жаловались потом. Даже безумства никакого не вышло. С ними случилось самое горькое из всего, что могло случиться: им было просто скучно друг с другом. То

было последнее на земле свидание Ренаты с Огненным Ангелом. Больше они не встречались.

С середины ноября я поселился в двух часах езды от Берлина. Белый приезжал на три, на четыре дня, иногда на целую неделю. Каким-то чудом работал – чудесна была его работоспособность. Случалось ему писать чуть не печатный лист в один день. Он привозил с собою рукописи, днем писал, вечерами читал нам написанное. То были воспоминания о Блоке, далеко перераставшие первоначальную тему и становившиеся воспоминаниями о символистской эпохе вообще. Мы вместе придумывали для них заглавие. Наконец, остановились на том, которое предложила Н. Н. Берберова: «Начало века».

Иногда его прорывало – он пил, после чего начинались сумбурные исповеди. Я ими почти не пользуюсь в данной статье, потому что в такие минуты Белый смешивал правду с воображением. Слушать его в этих случаях было так утомительно, что нередко я уже и не понимал, что он говорит, и лишь делал вид, будто слушаю. Впрочем, и он, по-видимому, не замечал собеседника. В сущности, это были монологи. Надо еще заметить, что, окончив рассказ, он иногда тотчас забывал об этом и принимался все рассказывать сызнова. Однажды ночью он пять раз повторил мне, одну историю. После пятого повторения (каждое – минут по сорок) я ушел в свою комнату и упал в обморок. Пока меня приводили в чувство, Белый ломился в дверь: «Пустите же, я вам хочу рассказать...»

Впрочем, из всей совокупности его тогдашних истерик я понял одно: новая боль, теперешняя, пробудила старую, и старая оказалась больнее новой. Тогда-то мне и пришло в голову то, что впоследствии, по соображению многих обстоятельств, перешло в уверенность: все, что в сердечной жизни Белого происходило после 1906 года, было только его попыткой залечить ту, петербургскую рану.

К весне он стал все-таки уставать, С горькой улыбкой говорил: «Надо жениться, а то кто меня пьяного в постель уложит?» Из Москвы приезжала антропософка К. Н. Васильева, звала с собою в Россию, к антропософской работе. Белый, прикрыв

дверь от нее, шипел: «Хочет меня на себе женить». – Да ведь вы сами хотите жениться? – «Не на ней! – яростно хрипел он, – к черту! Тетка антропософская!»

Он еще не поехал, словно чашу свою хотел испить до конца. К осени 1923 года, кажется, он ее испил – и в самую последнюю минуту, за которой, может быть, началось бы уже сумасшествие, решил ехать. Прежде всего, разумеется, за уходом, чтобы было кому его пьяного «в постель уложить». Вторых – потому, что понял: в эмиграции у него нет и не будет аудитории, а в России она еще есть. Ехал к антропософам, к тогдашней молодежи, которая его так любовно провожала два года тому назад, когда он уезжал за границу. Тогда, после одной лекции, ему кричали из публики: «Помните, что мы здесь вас любим!».

\* \* \*

Нельзя отрицать, что перед отъездом он находился в состоянии неполной вменяемости. Однако, как часто бывает в подобных случаях, сквозь полубезумие пробивалась хитрость. Боясь, что близость с эмигрантами и полуэмигрантами (многие тогда находились на таком положении) может быть поставлена ему в вину, он стал рвать заграничные связи. Прогнал одну девушку, которой был многим обязан. Возводил совершенно бессмысленные поклепы на своего издателя. Вообще – искал ссор и умел их добиться. К несчастью, последняя произошла со мной. Расскажу о ней кратко, минуя некоторые любопытные, но слишком сложные подробности.

В связи с получением визы, ему приходилось неоднократно посещать берлинские советские учреждения, где он до такой степени ругал своих заграничных друзей, что даже коммунистам стало противно его слушать. Один из них, некто Г., сказал об этом М. О. Гершензону, который как раз в это время тоже возвращался в Россию после лечения и тоже выхлопывал себе визу. Гершензон, очень любивший Белого, был до крайности угнетен сообщением Г., которому, кстати сказать, нельзя было не верить, ибо он слово в слово повторял фразы, которые и нам

приходилось слышать от Белого. Гершензон уехал значительно раньше Белого, но перед своим отъездом не вытерпел – рассказал мне все. Зная душевное состояние Бориса Николаевича, я решил стерпеть и смолчать, но в конце концов этого испытания не выдержал.

В ту пору русские писатели вообще разъезжались из Берлина. Одни собирались в Париж, другие (в том числе я) – в Италию. Недели за полторы до отъезда Белого решено было устроить общий прощальный ужин. За этим ужином одна дама, хорошо знавшая Белого, неожиданно сказала: «Борис Николаевич, когда приедете в Москву, не ругайте нас слишком». В ответ на это Белый произнес целую речь, в которой заявил буквально, что будет в Москве нашим другом и заступником и готов за нас «пойти на распятие». Думаю, что в ту минуту он сам отчасти этому верил, но все-таки я не выдержал и ответил ему, что посылать его на распятие мы не в праве и такого «мандата» ему дать не можем. Белый вскипел и заявил, что отныне прекращает со мной все отношения, потому что, оказывается, « всю жизнь » я своим скепсисом отравлял его лучшие мгновения, пресекал благороднейшие поступки. Все это были, конечно, пустые слова. В действительности он вышел из себя потому, что угадал мои настоящие мысли. Понял, что я знаю, что «распинайся» за нас он не будет. Напротив...

По существу он был неправ – даже слишком. Но и я виноват не меньше: я вздумал требовать от него ответственности за слова и поступки, когда он находился уже по ту сторону ответственности. Воистину, мой поступок был вызван очень большой любовью к нему: я не хотел обидеть его снисхождением. Но лучше мне было понять, что нужно только любить его – несмотря на все я поверх всего. Это я понял, когда уже было поздно.

О том, как он жил в советской России, мне известно не много. Он все-таки женился на К. Н. Васильевой, некоторое время вел антропософскую работу. Летом 1923 г., в Крыму, гостя у Максимилиана Волошина, помирился с Брюсовым. В советских

изданиях его почти не печатали. Много времени он отдавал писанию автобиографии.

История этой работы своеобразна. Еще перед поездкой за границу он прочел в Петербурге лекцию – свои воспоминания о Блоке. Затем он эти воспоминания переделывал дважды, каждый раз значительно расширяя. Вторая из этих переделок, напечатанная в берлинском журнале «Эпопея», навела его на мысль превратить воспоминания о Блоке в воспоминания обо всей эпохе символизма. В Берлине он успел написать только первый том, рукопись которого осталась за границей и не была издана. В России Белый принялся за четвертую редакцию своего труда. Он начал с более ранней эпохи, с рассказа о детских и юношеских годах. Этот том вышел под заглавием «На рубеже двух столетий». За ним, под заглавием «Начало века», последовал первый том мемуаров литературных. Тут произошел в Белом психологический сдвиг, для него характерный. Еще в Берлине он жаловался на то, что работа, выраставшая из воспоминаний о Блоке, выходит слишком апологетической: Блок в ней прикрашен, «вычищен, как самовар». В Москве Белый решился исправить этот недостаток. Но в самое это время были опубликованы неприятные для него письма Блока – и он сорвался: апологию Блока стал превращать в издевательство над его памятью.

Он успел, однако же, написать еще один том, «Между двух революций», появившийся только в конце 1937 г., то есть почти через три года после его смерти. В этой книге, окончательно очернив Блока, он еще безжалостнее расправился чуть не со всеми прочими спутниками своей жизни. Возможно, что он отчасти исходил из того положения, что если Блок оказался представлен в таком дурном виде, то остальные подавно стоят того же. Но, зная хорошо Белого, я уверен, что тут действовала еще одна своеобразная причина.

Прикосновенность к религии, к мистике, к антропософии – все это, разумеется, ставилось ему в вину теми людьми, среди которых он теперь жил и от которых во всех смыслах зависел. В автобиографии все это надо было отчасти затушевать, отчасти

представить в ином смысле. Уже в предыдущем томе Белый явно нащупывал такие идейные извороты, которые дали бы ему возможность представить весь свой духовный путь, как поиски революционного мирозерцания. Теперь, говоря об эпохе, лежавшей «между двух революций», он не только перед большевиками, – но и перед самим собой (это и есть самое для него характерное) стал разыгрывать давнего, упорного, сознательно не только бунтовщика, но даже марксиста или почти марксиста, рьяного борца с «гидрой капитализма». Между тем, объективные и общеизвестные факты его личной и писательской биографии такой концепции не соответствовали. Любой большевик мог поставить ему на вид, что деятельным революционером он не был и что в этом-то и заключается его смертный грех перед пролетариатом. И вот, совершенно так, как в автобиографических романах он свою сокровенную вину перед отцом перекладывал на таинственных демонических подстрекателей, так и теперь всю свою жизнь он принялся изображать, как непрерывную борьбу с окружающими, которые будто бы сворачивали его с революционного пути. Чем ближе был ему человек, тем необходимее было представить его тайным врагом, изменником, провокатором, наймитом и агентом капитализма. Он пощадил лишь нескольких, ныне живущих в советской России. Будь они за границей – и им бы несдобровать. И совершенно так же, как он демонизировал и окарикатуривал всех, кто окружал героя в его романах, теперь он окарикатурил и представил в совершенно дьявольском виде бывших своих друзей. Его замечательный дар сказался и тут: все вышли похожи на себя, но еще более – на персонажей «Петербурга» или «Москвы под ударом». Не сомневаюсь, что он работал с увлечением истинного художника – и сам какой-то одной стороной души верил в то, что выходит из-под пера. Однако, если бы большевики обладали большею художественной чуткостью, они могли бы ему сказать, что как его квазиисторические романы в действительности суть фантастические, ибо в них нереальные персонажи действуют в нереальной обстановке, так же фантастична и его автобиография. Больше того: они могли бы

ему сказать, что он окончательно разоблачил самого себя, как неисправимого мистика, ибо он не только сочинил, исказил, вывернул наизнанку факты вместе с персонажами, но и вообще всю свою жизнь представил не как реальную борьбу с наймитами капитализма, а как потустороннюю борьбу с демонами. Автобиография Белого есть такая же «серия небывших событий», как его автобиографические романы.<sup>14</sup>

Я совсем не хочу сказать, что он внутренне был чужд революции. Но, подобно Блоку и Есенину, он ее понимал не так, как большевики, и принимал ее – не в большевизме. Это, впрочем, особая, сложная и не мемуарная тема.

Умер он, как известно, 8 января 1934 г., от последствий солнечного удара. Потому-то он и просил перед смертью, чтобы ему прочли его давнишние стихи:

Золотому блеску верил,  
А умер от солнечных стрел.  
Думой века измерил,  
А жизнь прожить не сумел.

Слушая в последний раз эти пророческие стихи, он, вероятно, так и не вспомнил, что некогда они были посвящены Нине Петровской.

*Париж. 1934–1938.*

---

<sup>14</sup>О воспоминаниях Белого см. также мои статьи в газ. «Возрождение» от 28 июня и 5 июля 1934 г. и от 27 мая 1938 г.

## Муни

### 1.

#### Я все таки был

Самуил Викторович Киссин, о котором я хочу рассказать, в сущности, ничего не сделал в литературе. Но рассказать о нем надо и стоит, потому что, будучи очень «сам по себе», он всем своим обликом выражал нечто глубоко характерное для того времени, в котором протекала его недолгая жизнь. Его знала вся литературная Москва конца девятисотых и начала девятисотых годов. Не играя заметной роли в ее жизни, он скорее был одним из тех, которые составляли «фон» тогдашних событий. Однако ж, по личным свойствам он не был «человеком толпы», отнюдь нет. Он слишком своеобразен и сложен, чтобы ему быть «типом». Он был *симптомом*, а не *тип*.

Мы познакомились в конце 1905 г. Самуил Викторович жил тогда в Москве, «бедным студентом», на те двадцать пять рублей в месяц, которые присылали ему родные из Рыбинска. Писал стихи и печатал их в крошечном журнальчике «Зори», под псевдонимом Муни. Так и звала его вся Москва до конца его жизни (хотя под конец он стал подписываться: С. Киссин). Так буду и я называть его здесь.

Мы сперва крепко не понравились друг другу, но с осени 1906 года как-то внезапно «открыли» друг друга и вскоре сдружились. После этого девять лет, до кончины Муни, мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесною.

Внешняя история Муниной жизни очень несложна. Он родился в октябре 1885 года, в Рыбинске, в еврейской семье небольшого достатка. Окончив Рыбинскую гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета. Летом 1909 года женился на Лидии Яковлевне Брюсовой, сестре поэта. В первые же дни войны был мобилизован, произведен в зауряд-военные чиновники и скончался в Минске, 28 марта 1916 года. След, им оставленный в жизни, как и в литературе, не

глубок. Но – незадолго до смерти, с той иронией, которая редко покидала его, он сказал мне:

– Заметь, что я все таки был.

## 2.

### Предвестия упраздняются

Мы переживали те годы, которые шли за 1905-м: годы душевной усталости и повального эстетизма. В литературе по пятам модернистской школы, внезапно получившей всеобщее признание как раз за то, что в ней было несущественно или плохо, потянулись бесчисленные низкопробные подражатели. В обществе тщедушные барышни босиком воскрешали эллинизм. Буржуа, вдруг ощутивший волю к «дерзаниям», накинулся на «вопросы пола». Где-то пониже плодились санинцы и огарки. На улицах строились декадентские дома. И незаметно надо всем этим скопилось электричество. Гроза ударила в 1914 году.

Мы с Муни жили в трудном и сложном мире, который мне сейчас уже нелегко описать таким, каким он воспринимался тогда. В горячем, предгрозовом воздухе тех лет было трудно дышать, нам все представлялось двусмысленным и двузначным, очертания предметов казались шаткими. Действительность, распыляясь в сознании, становилась сквозной. Мы жили в реальном мире – и в то же время, в каком-то особом, туманном и сложном его отражении, где все было «то, да не то». Каждая вещь, каждый шаг, каждый жест как бы отражался условно, проектировался в иной плоскости, на близком, но неосязаемом экране. Явления становились видениями. Каждое событие, сверх своего явного смысла, еще обретало второй, который надобно было расшифровать. Он нелегко нам давался, но мы знали, что именно он и есть настоящий.

Таким образом, жили мы в двух мирах. Но, не умея раскрыть законы, по которым совершаются события во втором, представлявшемся нам более реальным, нежели просто реальным, – мы только томилась в темных и смутных предчувствиях. Все совершающееся мы ощущали, как предвестия. Чего?

Как и многим тогда, нам казалось, что вскоре должны «наступить события». Но, в отличие от многих других, наши предчувствия были, окрашены очень мрачно. Мы сами не представляли себе вразумительно, что именно произойдет. Мы старались об этом не говорить с посторонними. Но то, что проскальзывало, было неприятно. Нас не любили за «скептицизм» и «карканье». В одном стихотворном письме 1909 года Муни писал мне ясно:

Стихами Россию не спасти,  
Россия их спасет едва ли.

Мы были только неопытные мальчишки, лет двадцати, двадцати с небольшим, нечаянно зачерпнувшие ту самую каплю запредельной стихии, о которой писал поэт. Но и другие, более опытные и ответственные люди блуждали в таких же потемках. Маленькие ученики плохих магов (а иногда и попросту шарлатанов), мы умели вызывать мелких и непослушных духов, которыми не умели управлять. И это нас расшатывало. В «лесу символов» мы терялись, на «качелях соответствий» нас укачивало. «Символический быт», который мы создали, т. е. символизм, ставший для нас не только методом, но и просто (хоть это вовсе не просто!) образом жизни, – играл с нами неприятные шутки. Вот некоторые из них, ради образчика.

Мы с Муни сидели в ресторане «Прага», зал которого разделялся широкой аркой. По бокам арки висели занавеси. У одной из них, спиной к нам, держась правой рукой за притолоку, а левую заложив за пояс, стоял половой в своей белой рубахе и в белых штанах. Немного спустя, из-за арки появился другой, такого же роста, и стал лицом к нам и к первому половому, случайно в точности повторив его позу, но в обратном порядке: левой рукой держась за притолоку, а правую заложив за пояс и т. д. Казалось, это стоит один человек – перед зеркалом. Муни сказал, усмехнувшись:

– А вот и отражение пришло.

Мы стали следить. Стоящий спиной к нам опустил правую руку. В тот же миг другой опустил свою левую. Первый сделал еще какое-то движение – второй опять с точностью отразил его. Потом еще и еще. Это становилось жутко. Муни смотрел, молчал и постукивал ногой. Внезапно второй стремительно повернулся и исчез за выступами арки. Должно быть, его позвали. Муни вскочил, побледнев, как мел. Потом успокоился и сказал:

– Если бы ушел наш, а отражение осталось, я бы не вынес. Пошунай, что с сердцем делается.

В другой раз мы шли по Тверской. Муни говорил, что у него бывают минуты совершенно точного предвидения. Но оно касается только мелких событий.

– Да, что там! Видишь, вон та коляска. У нее сейчас сломается задняя ось.

Нас обгоняла старенькая коляска на паре плохих лошадей. В ней сидел седой старичок с такою же дамой.

– Ну, что же? – сказал я. – Что-то не ломается.

Коляска проехала еще сажен десять, ее уже заслоняли другие экипажи. Вдруг она разом остановилась против магазина Елисеева посреди мостовой. Мы подбежали. Задняя ось была переломлена посередине. Старички вылезли. Они отделались испугом. Муни хотел подойти попросить прощения. Я насилу отговорил его.

В тот же день, поздно вечером, мы шли по Неглинному проезду. С нами был В. Ф. Ахрамович, тот самый, который потом сделался рьяным коммунистом. Тогда он был рьяным католиком. Я рассказал ему этот случай. Ахрамович шутя спросил Муни:

– А заказать вам нельзя что-нибудь в этом роде?

– Попробуйте.

– Ну, так нельзя ли нам встретить Антика? (В. М. Антик был издателем желтых книжек «Универсальной Библиотеки». Все трое мы в ней работали).

– Что ж, пожалуйста, – сказал Муни. Мы приближались к углу Петровских линий. Оттуда, пересекая нам дорогу, выезжал

извозчик. Поравнявшись с нами, седок снял шляпу и поклонился. Это был Антик.

Муни сказал Ахрамовичу с укором:

– Эх, вы! Не могли пожелать Мессию.

Эта жизнь была утомительна. Муни говорил, что все это переходит уже просто в гадость, в неврастению, в душевный насморк. И время от времени он объявлял:

– Предвестия упрядняются.

Он надевал синие очки, «чтобы не видеть лишнего», и носил в кармане столовую ложку и большую бутылку брома с развивающимся рецептом...

### 3.

#### Из неоконченного (d'inacheve)

Муни не был ленив. Но он не умел работать. Человек замечательных способностей, интуиции порой необычайной, он обладал к тому же огромным количеством познаний. Но сосредоточиться, ограничить себя не мог. Всякая работа вскоре отпугивала его: открывались неодолимые сложности и трудности. О чем бы дело ни шло, – перед Муни возникал образ какого-то недостижимого совершенства, – и у него опускались руки. Оказывалось, чего ни коснись – за все надобно было браться чуть не с пеленок, а теперь время уже упущено.

Писал он стихи, рассказы, драматические вещи. В сущности, ничто ни разу не было доведено до конца: либо он просто бросал, либо не дорабатывал в смысле качества. Все, что он писал, было хуже, чем он мог написать. Разумеется, он всегда был полон проектов, замыслов, планов. Шутя над собой, говорил, что у него, как у Козьмы Пруткива, главнейшие произведения хранятся в кожаном портфеле с надписью: «Из неоконченного (d'inacheve)».

В литературных оценках он был суров безгранично и почти открыто презирал все, что не было вполне гениально. При таких взглядах он имел несчастье быть до конца правдивым, – во всем, что касалось литературы. Будучи в душе мягок и добр, он старался скрывать свои мнения вовсе, но уж ежели приходи-

лось, – он их высказывал без прикрас. В литературном мире он был неприятен и неудобен. На авторских чтениях в кругу друзей, когда хочется выслушивать одни комплименты, хотя бы предательские, он иногда умудрялся испортить весь вечер, начавшийся так приятно. Его старались не приглашать, потому что боялись и не любили: все, от маленьких литературных мальчишек до мужей прославленных и увенчанных. Кажется, кроме меня, только Б. К. Зайцев да покойный С. С. Голоушев (Сергей Глаголь) умели к нему подойти с любовью. А он в ней очень нуждался.

Чем лучше он относился к человеку, тем к нему был безжалостней. Ко мне – в первую очередь. Я шел к нему с каждыми новыми стихами. Прослушав, он говорил:

– Дай-ка, я погляжу глазами. Голосом – смазываешь, прикрашиваешь.

В лучшем случае, прочитав, он говорил, что «это не так уж плохо». Но гораздо чаще делал утомленное и скучающее лицо и стонал:

– Боже, какая дрянь!

Или:

– Что я тебе сделал дурного? За что ты мне это такое читаешь?

И начинал разбор, подробный, долгий, уничтожающий. Если я слишком упорствовал, отстаивая свое творение, Муни, наконец, говорил:

– Хорошо, будь по-твоему. Напечатай и подпиши: Николай Поярков.

(Поярков был глубоко бездарный поэт, впрочем, несчастный и жалкий. Теперь его уже нет на свете.)

Должен признаться, что я относился к его писаниям приблизительно так же. И так же каждый из нас относился к себе самому. Из года в год мы заедали самих себя и друг друга изо всех сил. Истинно, никто бы не мог сказать, что мы кадили друг другу. «Едкие осуждения» мы по совести предпочитали «упойтельным похвалам». Только с началом войны, когда Муни уехал, я стал понемногу освобождаться из-под его тирании. Я знал, что как ни полезна мне Мунина строгость, все же, в конце

концов, она меня и задушит. Иногда, наезжая с войны, Муни замечал это и откровенно сердился, словно ревнуя к чему-то или к кому-то. Под конец его последнего пребывания в Москве, как раз накануне его отъезда, я должен был читать стихи на каком то вечере в Политехническом музее. Муни сказал, что придет меня слушать, но за час до начала позвонил по телефону:

– Нет, прости, не приду.

– Почему?

– Так, не сочувствую. Не нужно все это. Будь здоров.

И повесил трубку. Это был наш последний разговор. На другой день, не зайдя ко мне, он уехал, а еще через два дня его не стало.

#### 4.

#### Тень от дыма

В иные годы мы были почти неразлучны. Все свободное время (его было достаточно) проводили вместе, редко у Муни, чаще у меня, а всего чаще просто на улицах или в ресторанах. Нескончаемые беседы на нескончаемые темы привели к особому языку, состоявшему из цитат, намеков, постепенно сложившихся терминов. Друг друга мы понимали с полунамека, другие не понимали нас вовсе – и обижались. Но мы порой как бы утрачивали способность говорить на общепринятом языке. Надо признать, что, вероятно, в обществе мы были отчасти невыносимы.

Обычно вечер наш начинался в кафе на Тверском бульваре, а кончался поблизости, на углу Малой Бронной, в Международном ресторане. В большой, безобразной зале, среди мелкошерстной публики, под звуки надрывисто-залихватского оркестра, в сени пыльных лавров, сперва за графином водки, потом за четвертинкой Мартеля, мы просиживали до закрытия. Тогда выходили на улицу и в любую погоду (что были нам дождь и снег?) скитались по городу, забредая в Петровский парк и в Замоскворечье, не в силах расстаться, точно влюбленные, по несколько раз провожая друг друга до дому, часами простаи-

вая под каким-нибудь фонарем, – и вновь начиная ту же прогулку. Был договор такой:

Куда бы ты ни поспешал,  
Хоть на любовное свиданье,  
Какое – б в сердце ни питал  
Ты сокровенное мечтанье, –

конец вечера или хоть конец ночи должен быть проведен вместе. Назначались свидания в три, в четыре, в пять часов ночи. В ясную погоду, весной и летом, происходили свидания «у звезд»: мы встречались на Тверском бульваре, когда светало и только из-за Страстного монастыря восходила утренняя звезда.

Все, что лежало за пределами этой *нашей* жизни, с ее символическим обиходом, воспринималось Муни, как докучная смена однообразных и грубых снов. Поскольку действительность была сном, она становилась бременем. Жизнь была для него «легким бременем»: так он хотел назвать книгу стихов, которой никогда не суждено было появиться. В 1917 году она была подготовлена к печати его семьей и немногими близкими, в годы революции дважды побывала в типографии, однажды была вполне набрана, – и все-таки ее нет.

Все, за что брался Муни, в конце концов, не удавалось и причиняло боль, – потому, вероятно, что и брался-то он с тайным страхом и отвращением. Все «просто реальное» было ему нестерпимо. Каждое жизненное событие тяготило его и непременно, каким то «другим концом» ударяло по нему. В конце концов, все явления жизни превращались для него в то, что он звал «неприятностями». Он жил в непрерывной цепи этих неприятностей. Чтобы их избежать, надо было как можно меньше соприкасаться с действительностью. Бывало, о чем ни расскажешь ему, что ни предложишь, – он отвечал, морщась: «Ну, к чему это?» Он говорил, что ему противно и страшно «лить воду на мельницу действительности». Но всем, живущим без этого страха и отвращения, он завидовал. Однажды, осенней ночью, мы проходили мимо запертой Иверской часовни. На ступеньках

сидели, стояли, лежали хромые, больные, нищие, расслабленные, кликуши. Муни сказал:

– Знают, чего хотят. А ко мне, не к стихам, а ко мне самому, каков я есть, надо бы поставить эпитафию:

Другие дым, я тень от дыма,  
Я всем завидую, кто дым.

Самая смерть его в шуме войны прошла незамеченной. Еще и теперь иногда меня спрашивают: «А где сейчас Муни? Вы о нем ничего не знаете?»

## 5.

### Семипудовая купчиха

Муни состоял из широкого костяка, обтянутого кожей. Но он мешковато одевался, тяжело ступал, впалые щеки прикрывал большой бородой. У него были непомерно длинные руки, и он ими загребал, как горилла или борец.

– Видишь ли, – говорил он, – меня в сущности нет, как ты знаешь. Но нельзя, чтобы это знали другие, а то сам понимаешь, какие пойдут неприятности.

И кончал по обыкновению цитатой:

– Моя мечта, это воплотиться, но чтобы уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху.

В одном из его рассказов главный герой, Большаков, человек незадачной жизни, мучимый разными страстями и неприятностями, решает «довоплотиться» в спокойного и благополучного Перееславцева. Сперва это ему удается, но потом он начинает бунтовать, и, наконец, Перееславцев убивает его.

После одной тяжелой любовной истории, в начале 1908 года, Муни сам вздумал довоплотиться в особого человека, Александра Александровича Беклемишева (рассказ о Большакове был написан позже, именно на основании опыта с Беклемишевым). Месяца три Муни не был похож на себя, иначе

ходил, говорил, одевался, изменил голос и самые мысли. Существование Беклемишева скрывалось, но про себя Муни знал, что, наоборот – больше нет Муни, а есть Беклемишев, принужденный лишь носить имя Муни «по причинам полицейского, паспортного порядка».

Александр Беклемишев был человек, отказавшийся от всего, что было связано с памятью о Муни, и в этом отказе обретающий возможность жить дальше. Чтобы уплотнить реальность своего существования, Беклемишев писал стихи и рассказы; под строгой тайной посылал их в журналы. Но редакторы, только что печатавшие Муни, неведомому Беклемишеву возвращали рукописи, не читая. Только Ю. И. Айхенвальд, редактировавший тогда литературный отдел «Русской Мысли», взял несколько стихотворений незнакомого автора.

Двойное существование, конечно, не облегчало жизнь Муни, а усложняло ее в геометрической прогрессии. Создалось множество каких-то совсем уж невероятных положений. Наши «смыслы» становились уже не двойными, а четверными, восьмерными и т. д. Мы не могли никого видеть и ничего делать. Отсюда возникали бездействие и безденежье. Случалось, что за день, за два, а однажды и за три дня мы вдвоем выпивали бутылку молока и съели один калач. В довершение всего, Муни бунтовал против Беклемишева («лез из кожи», как мы назвали), и дело могло кончиться так, как впоследствии кончилось у Большакова с Переяславцевым. И вот однажды я оборвал все это – довольно грубо. Уехав на дачу, я написал и напечатал в одной газете стихи за подписью – Елисавета Макшеева. (Такая девица в восемнадцатом столетии существовала, жила в Тамбове; она замечательна только тем, что однажды участвовала в представлении какой-то Державинской пьесы). Стихи посвящались Александру Беклемишеву и содержали довольно прозрачное и насмешливое разоблачение Беклемишевской тайны. Впоследствии они вошли в мою книгу «Счастливейший Домик» под заглавием «Поэту». Прочтя их в газете, Муни не тотчас угадал автора. Я его застал в Москве, на бульварной скамейке, подавленным и растерянным. Между нами произошло объяснение. Как бы то ни было, разоблаченному и ставшему шуткою Беклемишеву оставалось одно исчезнуть. Тем дело тогда и кончилось. Муни

вернулся «в себя», хоть не сразу. К несчастью, «беклемишевская история» и попытки «воплотиться в семишудовую купчиху» повлекли за собой другие, более житейские события, о которых сейчас рассказывать не время. Однако мы жили в такой внутренней близости, и в ошибках Муни было столько участия моего, что я не могу не винить и себя в этой смерти.

## 6.

### Обуреваемый негр

Муни написал две маленькие «трагедии» довольно дикого содержания. Одна называлась «Обуреваемый негр». Ее герой, негр в крахмальной рубашке и в подтяжках, только показывается в разных местах Петербурга: на Зимней Канавке, в модной мастерской, в окне ресторана, где компания адвокатов и дам отплясывает кэк-уок. Появляясь, негр бьет в барабан и каждый раз произносит приблизительно одно и то же: «Так больше продолжаться не может. Трам-там-там. Я обуреваем». И еще: «Этого ни-че-го не бу-дет».

В последнем действии на сцене, изображен поперечный разрез трамвая, который, жужжа и качаясь, как бы уходит от публики. В глубине, за стеклом виден вагоновожатый. Поздний вечер. Пассажиры дремлют, покачиваясь. Вдруг раздается треск, вагон останавливается. За сценою замешательство. Затем выходит театральный механик и заявляет:

– Случилось несчастье. По ходу действия негр попадает под трамвай. Но в нашем театре все декораций устроены так добросовестно и реально, что герой раздавлен на самом деле. Представление отменяется. Недовольные могут получить деньги обратно.

В этой «трагедии» Муни предсказал собственную судьбу. Когда «события», которых он ждал, стали осуществляться, он сам погиб под их «слишком реальными» декорациями. Последнею и тягчайшей «неприятностью» реального мира оказалась война. Муни был мобилизован в самый день ее объявления. Накануне его явки в казарму я был у него. Когда я уходил, он вышел со мной из подъезда и сказал:

– Кончено. Я с войны не вернусь. Или убьют, или сам не вынесу.

Оказалось, что, как еврей, он не был произведен в прапорщики, но неожиданно назначен чиновником санитарного ведомства. Его отправили в сторону, противоположную фронту: в Хабаровск. Оттуда перебросили в Варшаву, а когда она была занята немцами – в Минск. Но лазаретная жизнь для него оказалась не легче, чем была бы окопная. Приезжая иногда в отпуск, он старался не особенно жаловаться. Но его письма «оттуда» были полны отчаяния. «Реальность» нашла на него самую страшную форму. Все попытки, высвободить его, добиться хотя бы перевода в Москву, оказались тщетны. Начальство отвечало: «Ведь он в тылу. Чего же еще?» – и по-своему было право.

Под конец и приезды его стали тяжелы. В последний раз, уезжая из Москвы 25-го марта 1916 года, он еще с дороги прислал открытку с просьбой известить об исходе одного дела, касавшегося меня. Но не только он не дождался ответа, а и открытка пришла, когда его уже не было в живых. По приезду в Минск, на рассвете 28 марта, Муни покончил с собой. Сохранился набросок песенки, сочиненной им, вероятно, в вагоне. Она называется «Самострельная».

Однажды, осенью 1911 года, в дурную полосу жизни, я зашел к своему брату. Дома никого не было. Доставая коробочку с перьями, я выдвинул ящик письменного стола и первое, что мне попало на глаза, был револьвер. Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил к Муни по телефону:

– Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу.

Муни приехал.

В одном из писем с войны он писал мне: «Я слишком часто чувствую себя так, как – помнишь? – ты в пустой квартире у Михаила».

Тот случай, конечно, он вспомнил и, умирая: «наше» не забывалось. Муни находился у сослуживца. Сослуживца вызвали по какому-то делу. Оставшись один, Муни взял из чужого письменного стола револьвер и выстрелил себе в правый висок. Через сорок минут он умер.

*Robinson, сентябрь 1926.*

## *Гумилев и Блок*

Блок умер 7-го, Гумилев – 27-го августа 1921 года. Но для меня они оба умерли 3 августа. Почему – я расскажу ниже.

Пожалуй, трудно себе представить двух людей, более различных между собою, чем были они. Кажется, только возрастом были они не столь далеки друг от друга: Блок был всего лет на шесть старше.

Принадлежа к одной литературной эпохе, они были людьми разных поэтических поколений. Блок, порой бунтовавший против символизма, был одним из чистейших символистов. Гумилев, до конца жизни не выпешший из-под влияния Брюсова, воображал себя глубоким, последовательным врагом символизма. Блок был мистик, поклонник Прекрасной Дамы, – и писал кощунственные стихи не только о ней. Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видал людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия. Для Блока его поэзия была первейшим, реальным духовным подвигом, неотделимым от жизни. Для Гумилева она была формой литературной деятельности. Блок был поэтом всегда, в каждую минуту своей жизни. Гумилев – лишь тогда, когда он писал стихи. Все это (и многое другое) завершалось тем, что они терпеть не могли друг друга – и этого не скрывали. Однако, в памяти моей они часто являются вместе. Последний год их жизни, в сущности, единственный год моего с ними знакомства, кончился почти одновременной смертью обоих. И в самой кончине их, и в том потрясении, которое она вызвала в Петербурге, было что-то связующее.

Мы с Гумилевым в один год родились, в один год начали печататься, но не встречались долго: я мало бывал в Петербурге, а он в Москве, кажется, и совсем не бывал. Мы познакомились осенью 1918 г., в Петербурге, на заседании коллегии «Всемирной Литературы». Важность, с которою Гумилев «заседал», тотчас мне напомнила Брюсова.

Он меня пригласил к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной учтивости было

нечто столь неестественное, что сперва я подумал – не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы фамильярностью. В опустелом, голодном, пропахшем воблою Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, среди нетопленного и неубранного кабинета, сидели мы и беседовали с непомерною важностью. Памятуя, что я москвич, Гумилев счел нужным предложить мне чаю, но сделал это таким неуверенным голосом (сахару, вероятно, не было), что я отказался и тем, кажется, вывел его из затруднения. Меж тем обстановка его кабинета все более привлекала мое внимание. Письменный стол, трехстворчатый книжный шкаф, высокие зеркала в простенках, кресла и прочее – все мне было знакомо до чрезвычайности. Наконец, я спросил осторожно, давно ли он живет в этой квартире.

– В сущности, Это не моя квартира, – отвечал Гумилев, – это квартира М. – Тут я все понял: мы с Гумилевым сидели в бывшем моем кабинете! Лет за десять до того эта мебель отчасти принадлежала мне. Она имела свою историю. Адмирал Федор Федорович Матюшкин, лицейский товарищ Пушкина, снял ее с какого-то корабля и ею обставил дом у себя в имении, возле Бологое, на берегу озера. Имение называлось «Заимка». По местным преданиям Пушкин, конечно, не раз бывал в «Заимке»; показывали даже кресло, обитое зеленым сафьяном, любимое кресло Пушкина. Как водится, это была лишь легенда: Пушкин в тех местах не бывал вовсе, да и Матюшкин купил это имение только лет через тридцать после смерти Пушкина. После кончины Матюшкина «Заимка» переходила из рук в руки, стала называться «Лидиным», но обстановка старого дома сохранилась. Даже особые приспособления в буфете для подвешивания посуды на случай качки не были заменены обыкновенными полками. В 1905 г. я сделался случайным полуобладателем этой мебели и вывез ее в Москву. Затем ей суждено было перекочевать в Петербург, а когда революция окончательно сдвинула с мест всех и все, я застал среди нее Гумилева. Ее настоящая собственница была в Крыму.

Посидев, сколько следовало для столь натянутого визита, я встал. Когда Гумилев меня провожал в передней, из боковой двери выскочил тощенький, бледный мальчик, такой же длиннолицый, как Гумилев, в запачканной косоворотке и в валенках. На голове у него была уланская каска, он размахивал игрушечной сабелькой и что-то кричал. Гумилев тотчас отослал его — тоном короля, отсылающего дофина к его гувернерам. Чувствовалось, однако, что в сырой и промозглой квартире нет никого, кроме Гумилева и его сына.

Два года спустя переехал я в Петербург. Мы стали видеться чаще. В Гумилеве было много хорошего. Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил формально, но в этой области был и зорек, и тонок. В механику стиха он проникал, как мало кто. Думаю, что он это делал глубже и зорче, нежели даже Брюсов. Поэзию он обожал, в суждениях старался быть беспристрастным.

За всем тем его разговор, как и его стихи, редко был для меня «питателен». Он был удивительно молод душой, а может быть и умом. Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной, наконец — в напускной важности, которая так меня удивила при первой встрече и которая вдруг сползала, куда-то улетучивалась, пока он не спохватывался и не натягивал ее на себя сызнова. Изображать взрослого ему нравилось, как всем детям. Он любил играть в «мэтра», в литературное начальство своих «гумилят», то есть маленьких поэтов и поэтесс, его окружавших. Поэтическая детвора его очень любила. Иногда, после лекций о поэтике, он играл с нею в жмурки — в самом буквальном, а не в переносном смысле слова. Я раза два это видел. Гумилев был тогда похож на славного пятиклассника, который разыгрался с приготовишками. Было забавно видеть, как через полчаса после этого он, играя в большого, степенно беседовал с А. Ф. Кони — и Кони весьма уступал ему в важности обращения.

На святках 1920 года в Институте Истории Искусств устроили бал. Помню: в огромных промерзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург – налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснятся к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит: «Ничего не произошло. Революция? Не слышал».

\* \* \*

В ту зиму Блок избегал людей. Конечно, он не был и на балу. Он запомнился мне на другом вечере. «Дом Литераторов», одно из последних прибежищ наших, задумал устраивать ежегодные всероссийские чествования памяти Пушкина в день его смерти. (Впоследствии они были перенесены на день рождения Пушкина; из них же возникли и зарубежные «Дни русской культуры»). Первый вечер состоялся 11 февраля 1921 года. Предстояли речи А. Ф. Кони, Н. А. Котляревского, Блока и моя. Кузмин должен был читать стихи. Я был болен, не успел подготовить речь к сроку и отказался выступить, но пошел на вечер. На эстраде сидели представители «Дома Литераторов» – Н. М. Волковьский, Б. И. Харитон, В. Я. Ирецкий. За столом президиума, в центре Котляревский (председатель), по правую руку от него – Ахматова, Щеголев и я, по левую – Кони, Кузмин и на конце стола Блок, который все время сидел, низко опустив голову.

Речам предшествовали краткие заявления разных организаций о том, в какой форме предполагают они в будущем отмечать пушкинские дни. В числе делегатов явился и

официальный представитель правительства, некий Кристи, по должности – заведующий так называемым академическим центром. Писателям и ученым постоянно приходилось иметь с ним дело. Он был человек пожилой, мягкий, благожелательный. Под не сочувственными взглядами битком набитого зала он приметно конфузился. Когда ему предоставили слово, он встал, покраснел и, будучи неречист от природы, тотчас же сбился: не рассчитал отрицательных частиц и произнес буквально следующее:

– Русское общество *не* должно предполагать, будто во всем, что касается увековечения памяти Пушкина, оно *не* встретит препятствий со стороны рабоче-крестьянской власти.

По залу пробежал смех. Кто-то громко сказал: «И не предполагаем». Блок поднял лицо и взглянул на Кристи с кривой усмешкой.

Свое вдохновенное слово о Пушкине он читал последним. На нем был черный пиджак поверх белого свитера с высоким воротником. Весь жилистый и сухой, обветренным красноватым лицом он похож был на рыбака. Говорил глуховатым голосом, отрубая слова, засунув руки в карманы. Иногда поворачивал голову в сторону Кристи и отчеканивал: «Чиновники суть наша чернь, чернь вчерашнего и сегодняшнего дня... Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение...» Бедный Кристи приметно страдал, ерзая на своем стуле. Мне передавали, что перед уходом, надевая пальто в передней, он сказал громко:

– Не ожидал я от Блока такой бестактности.

Однако, в той обстановке и в устах Блока речь прозвучала не бестактностью, а глубоким трагизмом, отчасти, может быть, покаянием. Автор «Двенадцати» завещал русскому обществу и русской литературе хранить последнее пушкинское наследие – свободу, хотя бы «тайную». И пока он говорил, чувствовалось, как постепенно рушится стена между ним и залом. В овациях,

которыми его провожали, была та просветленная радость, которая всегда сопутствует примирению с любимым человеком.

Во время блоковской речи появился Гумилев. Под руку с тою же дамою, что была с ним на балу, он торжественно шел через весь зал по проходу. Однако, на этот раз в его опоздании на пушкинский вечер, и в его фраке, (быть может, рядом со свитером Блока), и в вырезном платье его спутницы было что-то неприятное. На эстраде было для него приготовлено место. Он уже занес ногу на скрипучую ступеньку, но Котляревский резко махнул на него рукой, он сел где-то в публике и через несколько минут вышел.

Вечер был повторен три раза. Я, наконец, написал свою речь («Колеблемый треножник») и читал ее. «За кулисами», в ожидании своей очереди, мы с Блоком беседовали. В сущности, только в те вечера мы с ними говорили более или менее наедине. В последний раз (это было в здании Университета), так вышло, что в какой-то пустынной комнате, за холодным клеенчатым столом, просидели мы часа полтора. Начали с Пушкина, перешли к раннему символизму. О той эпохе, о тогдашних мистических увлечениях, об Андрее Белом и С. М. Соловьеве Блок говорил с любовной усмешкой. Так вспоминают детство. Блок признавался, что многих тогдашних стихов своих он больше не понимает: «Забыл, что тогда значили многие слова. А ведь казались сакраментальными. А теперь читаю эти стихи, как чужие, и не всегда понимаю, что, собственно, хотел сказать автор».

В тот вечер, 26 февраля, он был печальнее, чем когда-либо. Говорил много о себе, как будто с самим собою, смотря вглубь себя, очень сдержанно, порою – полунамеками, смутно, спутано, но за его словами ощущалась суровая, терпковая правдивость. Казалось, он видит мир и себя самого в трагической обнаженности и простоте. Правдивость и простота навсегда и остались во мне связаны с воспоминанием о Блоке.

Гумилев слишком хорошо разбирался в поэтическом мастерстве, чтобы не ценить Блока вовсе. Но это не мешало ему не любить Блока лично. Не знаю, каковы были их отношения прежде того, но, приехав в Петербург, я застал обоюдную вражду. Не думаю, чтобы ее причины были мелочные, хотя Гумилев, очень считавшийся с тем, кто какое место занимает в поэтической иерархии, мог завидовать Блоку. Вероятно, что дело тут было в более серьезных расхождениях. Враждебны были миро-созерцания, резко противоположны литературные задачи. Главное в поэзии Блока, ее «сокрытый двигатель» и ее душевно-духовный смысл, должны были быть Гумилеву чужды. Для Гумилева в Блоке с особою ясностью должны были проступать враждебные и не совсем понятные ему стороны символизма. Не даром манифесты акмеистов были направлены прежде всего против Блока и Белого. Блока же в Гумилеве должна была задевать «пустоватость», «ненужность», «внешность». Впрочем, с поэзией Гумилева, если бы дело все только в ней заключалось, Блок, вероятно, примирился бы, мог бы, во всяком случае, отнестись к ней с большей терпимостью. Но были тут два осложняющих обстоятельства. На ученика Гумилева – обрушивалась накоплавшаяся годами вражда к учителю – Брюсову, вражда тем более острая, что она возникла на развалинах бывшей любви. Акмеизм и все то, что позднее называли «гумилевщиной» казались Блоку разложением «брюсовщины». Во-вторых – Гумилев был не одинок. С каждым годом увеличивалось его влияние на литературную молодежь, и это влияние Блок считал духовно и поэтически пагубным.

В начале 1921 года вражда пробилась наружу. Чтобы попутно коснуться еще некоторых происшествий, я начну несколько издаലെка. Еще года за четыре до войны, в Петербурге возникло поэтическое сообщество, получившее название «Цех Поэтов». В нем участвовали Блок, Сергей Городецкий, Георгий Чулков, Юрий Верховский, Николай Клюев, Гумилев и даже Алексей Толстой, в ту пору еще писавший стихи. Из молодежи – О. Мандельштам, Георгий Нарбут и Анна Ахматова, тогдашняя

жена Гумилева. Первоначально объединение было в литературном смысле беспартийно. Потом завладели им акмеисты, а несочувствующие акмеизму, в том числе Блок, постепенно отпали. В эпоху войны и военного коммунизма акмеизм кончился, «Цех» заглох. В начале 1921 г. Гумилев вздумал его воскресить и пригласил меня в нем участвовать. Я спросил, будет ли это *первый* «Цех», то есть беспартийный, или *второй*, акмеистский. Гумилев ответил, что первый, и я согласился. Как раз в тот вечер должно было состояться собрание, уже второе по счету. Я жил тогда в «Доме Искусств», много хворал и почти никого не видел. Перед собранием я зашел к соседу своему, Мандельштаму, и спросил его, почему до сих пор он мне ничего не сказал о возобновлении «Цеха». Мандельштам засмеялся:

– Да потому, что и нет никакого «Цеха». Блок, Сологуб и Ахматова отказались. Гумилеву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики. А вы попались. Там нет никого, кроме гумилят.

– Позвольте, а сами-то вы, что же делаете в таком «Цехе»? – спросил я с досадой. Мандельштам сделал очень серьезное лицо:

– Я там пью чай с конфетами.

В собрании, кроме Гумилева и Мандельштама, я застал еще пять человек. Читали стихи, разбирали их. «Цех» показался мне бесполезным, но и безвредным. Но на третьем собрании меня ждал неприятный сюрприз. Происходило вступление нового члена – молодого стихотворца Нельдихена. Неофит читал свои стихи. В сущности, это были стихотворения в прозе. По-своему они были даже восхитительны: той игривою глупостью, которая в них разливалась от первой строки до последней. Тот «я», от имени которого изъяснялся Нельдихен, являл собою образчик отборного и законченного дурака, при том – дурака счастливого, торжествующего и беспредельно самодовольного. Нельдихен читал:

Женщины, двухполовинойаршинные куклы,  
Хохочущие, бутристетелье,  
Мягкогубые, прозрачноглазые, каштановолосые.

Носящие всевозможные распашонки и матовые  
 висюльки – серьги,  
 Любящие мои альтоголосые проповеди и плохие  
 хозяйки –  
 О, как волнуют меня такие женщины!  
 По улицам всюду ходят пары,  
 У всех есть жены и любовницы,  
 А у меня нет подходящих;  
 Я совсем не какой-нибудь урод,  
 Когда я полнею, я даже бываю лицом похож  
 на Байрона...

Дальше рассказывалось, что наплась все-таки какая-то Женька или Сонька, которой он подарил карманный фонарик, но она стала ему изменять с бухгалтером, и он, чтобы отплатить, украл у нее фонарик, когда ее не было дома.

Все это декламировалось нараспев и совсем серьезно. Слушатели улыбались. Они не покатывались со смеху только потому, что знали историю фонарика чуть ли не наизусть: излияния Нельдихена уже были в славе. Авторское чтение в «Цехе» было всего лишь формальностью, до которых Гумилев был охотник. Когда Нельдихен кончил, Гумилев, в качестве «синдика» произнес приветственное слово. Прежде всего, он отметил, что глупость доньше была в загоне, поэты ею несправедливо гнушались. Однако, пора ей иметь свой голос в литературе. Глупость – такое же естественное свойство, как ум. Можно ее развивать, культивировать. Припомнив двустипшие Бальмонта:

Но мерзок сердцу облик идиота,  
 И глупости я не могу понять, –

Гумилев назвал его жестоким и в лице Нельдихена приветствовал вступление очевидной глупости в «Цех Поэтов».

После собрания я спросил Гумилева, стоит ли издеваться над Нельдихеном и зачем нужен Нельдихен в «Цехе». К моему удивлению, Гумилев заявил, что издевательства никакого нет.

– Не мое дело, – сказал он, разбирать, кто из поэтов что думает. Я только сужу, как они излагают свои мысли или свои глупости. Сам я не хотел бы быть дураком, но я не вправе требовать ума от Нельдихена. Свою глупость он выражает с таким умением, какое не дается и многим умным. А ведь поэзия и есть умение. Значит, Нельдихен – поэт, и мой долг – принять его в «Цех».

Несколько времени спустя должен был состояться публичный вечер «Цеха» с участием Нельдихена. Я послал Гумилеву письмо о своем выходе из «Цеха». Однако, я сделал это не только из-за Нельдихена. У меня была и другая причина, гораздо более веская.

Еще до моего переезда в Петербург, там образовалось отделение Всероссийского союза поэтов, правление которого находилось в Москве и возглавлялось чуть ли не самим Луначарским. Не помню, из кого состояло правление, председателем же его был Блок. Однажды ночью пришел ко мне Мандельштам и сообщил, что «блоковское» правление Союза час тому назад свергнуто и заменено другим, в состав которого вошли исключительно члены «Цеха» – в том числе я. Председателем избран Гумилев. Переворот совершился как-то странно – повестки были разосланы чуть ли не за час до собрания, и далеко не все их получили. Все это мне не понравилось, и я сказал, что напрасно меня выбрали, меня не спросив. Мандельштам стал меня уговаривать «не подымать истории», чтобы не обижать Гумилева. Из его слов я понял, что «перевыборы» были подстроены некоторыми членами «Цеха», которым надобно было завладеть печатью Союза, чтобы при помощи ее обдѣлывать дела мошеннического и коммерческого свойства. Для этого они и прикрылись именем и положением Гумилева. Гумилева же, как ребенка, соблазнили титулом председателя. Кончилось тем, что я пообещал формально из правления не выходить, но фактически не участвовал ни в его заседаниях, ни вообще в делах Союза. Это-то и толкнуло меня на выход из «Цеха».

Блок своим председательством в Союзе, разумеется, не дорожил. Но ему не понравились явно подстроенные выборы, и

он был недоволен тем, что отныне литературное влияние Гумилева будет подкреплено нажимом со стороны союзного правления. И Блок решился выйти из неподвижности.

Как раз в это время удалось получить разрешение на издание еженедельника под названием «Литературная Газета». В редакцию вошли А. Н. Тихонов, Е. И. Замятин и К. И. Чуковский. Для первого номера Блок дал статью, направленную против Гумилева и «Цеха». Называлась она «Без божества, без вдохновенья». «Литературная Газета» прекратила существование раньше, чем начала выходить: за рассказ Замятина и мою передовицу номер был конфискован еще в типографии по распоряжению Зиновьева. Статью Блока я прочел лишь много лет спустя, в собрании его сочинений. Признаться, она мне кажется очень вялой и туманной, как многие статьи Блока. Но в ту пору ходили слухи, что она очень резка. В одну из тогдашних встреч Блок и сам говорил мне то же. С досадой он говорил о том, что Гумилев делает поэтов «из ничего».

Это был мой последний разговор с Блоком. Но издал я его видел еще один раз. 1 марта был назначен вечер его стихов в Малом Театре. По советскому времени было уже почти восемь часов, по-настоящему пять. Не спеша, шел я по Театральной улице, потому что люблю это время дня. Было светло и пустынно. В Чернышевском сквере я услышал за собой торопливые легонькие шаги и тотчас же – торопливый, но слабый голос:

– Скорее, скорее, а то опоздаете!

Это была мать Блока. Маленькая, сухая, с горячим румянцем на морщинистых щечках, она чуть не бежала рядом со мной и, задыхаясь, без умолку лепетала: о том, что волнуется за Сашу, что мы вот-вот опоздаем, что боится, как бы Чуковский не наговорил пошлостей (Чуковский должен был сказать вступительное слово). Потом – что я непременно, непременно должен зайти за кулисы к Саше, что у Саши побаливает нога, но главное, главное как бы нам только не опоздать! Наконец, мы пришли. Места наши оказались рядом, но она, повертевшись, поволновавшись, вскочила и убежала – должно быть, на сцену.

Во втором отделении, после антракта, вышел Блок. Спокойный и бледный, остановился посреди сцены и стал читать, по обыкновению пряча в карман то одну, то другую руку. Он прочитал лишь несколько стихотворений – с проникновенною простотой и глубокой серьезностью, о которой лучше всего сказать словом Пушкина: «с важностью». Слова он произносил очень медленно, связывая их едва уловимым напевом, внятным, быть может, лишь тем, кто умет улавливать внутренний ход стиха. Читал отчетливо, ясно, выговаривая каждую букву, но при том шевелили лишь губами, не разжимая зубов. Когда ему хлопали, он не высказывал ни благодарности, ни притворного невнимания. С неподвижным лицом опускал глаза, смотрел в землю и терпеливо ждал тишины. Последним он прочитал «Перед судом» – одно из самых безнадежных своих стихотворений:

Что же ты потушилась в смущеньи?  
Посмотри, как прежде, на меня.  
Вот какой ты стала – в униженьи,  
В резком, неподкупном свете дня!  
Я и сам ведь не такой – не прежний,  
Недоступный, гордый, чистый, злой.  
Я смотрю добрей и безнадежней  
На простой и скучный путь земной...

То и дело ему кричали: «Двенадцать!», «Двенадцать!» – но он, казалось, не слышал этого. Только глядел все угрюмее, сжимал зубы. И хотя он читал прекрасно (лучшего чтения я никогда не слышал) – все приметнее становилось, что читает он машинально, лишь повторяя привычные, давно затверженные интонации. Публика требовала, чтобы он явился перед ней прежним Блоком, каким она его знала или воображала, – и он, как актер, с мучением играл перед нею того Блока, которого уже не было. Может быть, с такой ясностью я увидел все это в его лице не тогда, а лишь после, по воспоминанию, когда смерть закончила и объяснила последнюю главу его жизни. Но ясно и твердо помню, что страдание и отчужденность наполняли в тот вечер

все его существо. Это было так очевидно, так разительно, что когда задернулся занавес и утихли последние аплодисменты и крики, мне показалось неловко и грубо идти к нему за кулисы.

Через несколько дней, уже больной, он уехал в Москву. Вернувшись, слег и больше уже не встал.

В пушкинской своей речи, ровно за полгода до смерти, он говорил:

«Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармоний. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, – тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем: жизнь потеряла смысл».

Вероятно, тот, кто первый сказал, что Блок задохнулся, взял это именно отсюда. И он был прав. Не странно ли: Блок умер несколько месяцев, на глазах у всех, его лечили врачи, – и никто не называл и не умел назвать его болезнь. Началось с боли в ноге. Потом говорили о слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал. Но от чего же он все-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то «вообще», оттого что был болен весь, оттого что не мог больше жить. Он умер от смерти.

\* \* \*

Мой уход из «Цеха Поэтов» не повлиял на наши личные отношения с Гумилевым. Около этого времени он тоже поселился в «Доме Искусств», и мы стали видеться даже чаще. Он жил деятельно и бодро. Конец его начался приблизительно в то же время, когда и конец Блока.

На Пасхе вернулся из Москвы в Петербург один наш общий друг, человек большого таланта и большого легкомыслия. Жил он, как птица небесная, говорил – что Бог на душу положит. Провокаторы и шпионы к нему так и льнули: про писателей от него можно было узнать все, что нужно. Из Москвы привез он нового своего знакомца. Знакомец был молод, приятен в общении, щедр на небольшие подарки: папиросами, сладостями и прочим. Называл он себя начинающим поэтом, со всеми спешил познакомиться. Привели его и ко мне, но я скоро его спровадил. Гумилеву он очень понравился.

Новый знакомец стал у него частым гостем. Помогал налаживать «Дом Поэтов» (филиал Союза), козырял связями в высших советских сферах. Не одному мне казался он подозрителен. Гумилева пытались предостеречь – из этого ничего не вышло. Словом, не могу утверждать, что этот человек был главным и единственным виновником гибели Гумилева, но после того, как Гумилев был арестован, он разом исчез, как в воду канул. Уже за границей я узнал от Максима Горького, что показания этого человека фигурировали в гумилевском деле и что он был подослан.

В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду, 3-го августа, мне предстояло ухать. Вечером накануне отъезда пошел я проститься кое с кем из соседей по «Дому Искусств». Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома, отдыхал после лекций.

Мы были в хороших отношениях, но короткости между нами не было. И вот, как два с половиной года тому назад меня удивил слишком официальный прием со стороны Гумилева, так теперь я не знал, чему приписать необычайную живость, с которой он обрадовался моему приходу. Он выказал какую-то особую даже теплоту, ему, как будто бы, и вообще несвойственную.

Мне нужно было еще зайти к баронессе В. И. Иксуль, жившей этажом ниже. Но каждый раз, как я подымался уйти, Гумилев начинал упрашивать: «Посидите еще». Так я и не попал к Варваре Ивановне, просидев у Гумилева часов до двух ночи. Он был на редкость весел. Говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царскосельском лазарете, о государыне Александре Федоровне и великих княжнах. Потом Гумилев стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго – «по крайней мере до девяноста лет». Он все повторял:

– Непременно до девяноста лет, уж никак не меньше.

До тех пор собирался написать кипу книг. Упрекал меня:

– Вот, мы однолетки с вами, а поглядите: я, право, на десять лет моложе. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурки играю – и сегодня играл. И потому

непрерывно проживу до девяноста лет, а вы через пять лет скиснете.

И он, хохоча, показывал, как через пять лет я буду, сторбившись, волочить ноги, и как он будет выступать «молодцом».

Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда на утро, в условленный час, я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилева арестовали и увезли. Итак, я был последним, кто видел его на воле. В его преувеличенной радости моему приходу, должно быть, было предчувствие, что после меня он уже никого не увидит.

Я пошел к себе – и застал там поэтессу Надежду Павлович, общую нашу с Блоком приятельницу. Она только что прибежала от Блока красная от жары и запухшая от слез. Она сказала мне, что у Блока началась агония. Как водится, я стал утешать ее, обнадеживать. Тогда, в последнем отчаянии, она подбежала ко мне и, захлебываясь слезами, сказала:

– Ничего вы не знаете... никому не говорите... уже несколько дней... он сошел с ума!

Через несколько дней, когда я был уже в деревне, Андрей Белый известил меня о кончине Блока. 14 числа, в воскресенье, отслужили мы по нем панихиду в деревенской церкви. По вечерам, у костров, собиралась местная молодежь, пела песни. Мне захотелось тайком помянуть Блока. Я предложил спеть «Коробейников», которых он так любил. Странно – никто не знал «Коробейников».

В начале сентября мы узнали, что Гумилев убит. Письма из Петербурга шли мрачные, с полунамёками, с умолчаниями. Когда вернулся я в город, там еще не опомнились после этих смертей.

В начале 1922 г., когда театр, о котором перед арестом много хлопотал Гумилев, поставил его пьесу «Гондла», на генеральной репетиции, а потом и на первом представлении, публика стала вызывать:

– Автора!

Пьесу велели снять с репертуара.

*Париж, 1931.*

## *Гершензон*

Однажды, еще в раннюю пору нашего знакомства, зимнею ночью, в Москве, провожая меня через садик, чтобы запереть за мною калитку, Гершензон пошутил:

– Вот какой вы народ, поэты: мы о вас пишем, а нет того, чтобы кто-нибудь написал стихи об нас, об историках.

– Погодите, Михаил Осипович, вот я напишу о вас.

Он усмехнулся в усы:

– Не напишете. Ну, покойной ночи.

– Покойной ночи.

Я потом всегда помнил свое обещание, не раз брался и за стихи, – да так и не написал их: все казалось мне слабо и недостойно его.

Но все-таки мне приятно, что след наших встреч остался в моих стихах. В книге «Путем зерна» есть у меня стихотворение «2-го ноября». Речь идет о том дне, когда, после октябрьского переворота, люди в Москве впервые

Повыползли из каменных подвалов  
На улицы.

Дальше – рассказано вкратце, как я ходил к Михаилу Осиповичу:

К моим друзьям в тот день пошел и я.  
Узнал, что живы, целы, дети дома,  
Чего ж еще хотеть? Побрел домой.

Книжка вышла в 1920 г., и Гершензон тогда же читал ее, но об этих стихах у нас разговору не было. Только в 1922 г., посылая ему из Петербурга 2-е издание, дополненное, я внутри, на полях, против приведенных строк, приписал: «Это про Вас». Я рассчитывал на то, что книгу, недавно читанную, он сейчас перечитывать не станет, а приписку мою увидит, может быть, через несколько лет, когда я, вероятно, буду далеко от него. Так и

вышло. 23 октября 1924 г. он писал мне: «Не знаю, где вы теперь... Сажу дома, хожу по комнате, читаю, – сегодня читал Ваше «Путем зерна»».

Вероятно, он взял именно второе издание, прочел, увидел мою приписку и захотел написать мне. Это было последнее из его писем. Посланное в Ирландию, оно попало ко мне в Италию только в самые последние дни 1924 г. Я ответил на него спустя несколько дней, – но сам уже не получил ответа: Гершензон умирал.

\* \* \*

Летом 1915 года я послал Гершензону отгиск статьи о петербургских повестях Пушкина. Письмо, полученное в ответ, удивило меня простотою и задушевностью. Я не был лично знаком с Михаилом Осиповичем, и хотя высоко ценил его, – все же не представлял себе Гершензона иначе, как в озарении самодовольного величия, по которому за версту познаются «солидные ученые». Я даже и вообще-то не думал, что столь важная особа снизойдет до переписки с автором единственной статьи о Пушкине.

Однако, приехавший вскоре Б. А. Садовской пришел ко мне как-то вечером и сказал:

– Пойдемте завтра к Гершензону. Он вас зовет.

Арбат, Никольский переулок, 13. Деревянный забор, поросший травой двор. Во дворе направо – сторожка, налево еще какое-то старое здание. Каменная дорожка ведет в глубь двора, к двухэтажному дому новой постройки. За домом сад с небольшим огородом. Второй этаж занимает Гершензон, точнее семья его. Небольшая столовая служит и для «приемов». А сам он живет еще выше, в мезонине, которого со двора не видно.

Хоть и ободренный письмом и зовом (через Садовского) – все же впервые пришел я сюда не без робости. Но робость прошла в тот же вечер, а потом уже целых семь лет, до последнего дня перед отъездом моим из России, ходил я сюда с уверенностью в хорошем приеме, ходил поделиться житейскими заботами, и новыми стихами, и задуманными работами, и,

кажется, всеми огорчениями и всеми радостями, — хоть радостей-то, пожалуй, было не так уж много.

\* \* \*

Маленький, часто откидывающий голову назад, густобровый, с черной бородкой, поседевшей сильно в последние годы; с такими же усами, нависающими на пухлый рот; с глазами слегка на выкате; с мясистым, чуть горбоватым носом, прищепленным пенсне; с волосатыми руками, с выпуклыми коленями, — наружностью был он типичный еврей. Много жестикулировал. Говорил быстро, почти всегда возбужденно. Речь, очень ясная по существу, казалась косноязычной, не будучи такою в действительности. Это происходило от глухого голоса, от плохой дикции и от очень странного акцента, в котором резко — еврейские интонации кишиневского уроженца сочетались с неизвестно откуда взявшимся оканьем заправского волгара.

Комната, где он жил, большая, квадратная, в три окна, содержала не много мебели. Две невысокие (человеку до пояса) книжные полки; два стола: один — вроде обеденного, но не большой, другой — письменный, совсем маленький; низкая, плоская кровать у стены, с серым байковым одеялом и единственной подушкой; вот и все, кажется, если не считать двух венских стульев да кожаного, с высокою спинкой, старинного кресла. В это кресло (левая ручка всегда отскакивает, расклеилась) Гершензон усаживает гостя. Оно — историческое, из кабинета Чаадаева.

Стены белые, гладкие, почти пустые. Только тропининский Пушкин (фототипия) да гипсовая маска, тоже Пушкина. Кажется, еще чей-то портрет, может быть — Огарева, не помню. В кабинете светло, просторно и очень чисто. Немного похоже на санаторий. Нет никакой нарочитости, но все как-то само собой сведено к простейшим предметам и линиям. Даже книги — только самые необходимые для текущей работы; прочие — в другой комнате. Здесь живет человек, не любящий лишнего.

Кончая гимназию, Гершензон мечтал о филологическом факультете, но отец не хотел и слышать об этом. В восьмидесятих годах, да и позже, для филолога было два пути: либо учительство, либо, в лучшем случае, профессорство, иначе говоря – служба по министерству народного просвещения, для еврея неизбежно связанная с крещением. Старик – Гершензон был в ужасе. Михаила Осиповича отправили в Германию, где он поступил в какое-то специальное высшее учебное заведение, по технической или по инженерной части. Там пробыл он, кажется, года два – и не вынес: послал прошение министру народного просвещения о зачислении на филологический факультет Московского университета вольнослушателем. Потому вольнослушателем, что в число студентов попасть не мечтал: под процентную норму подходили лишь те, кто кончал гимназию с золотой медалью; у Гершензона медали не было. Но тут произошло нечто почти чудесное: из министерства получен ответ, что Гершензон зачислен не вольнослушателем, а прямо студентом. Причина была простая: на филологический факультет евреи не шли, и прошение Михаила Осиповича было в тот год единственное, поступившее от еврея: он тем самым автоматически подошел под норму. Однако эта удача обернулась для Гершензона бедой: отец, вообще недовольный упрямством Михаила Осиповича, никак не поверил в «чудо» и решил, что Михаил Осипович **уже крестился**. Кончилось дело если не родительским проклятием, то, во всяком случае, – полным отказом в деньгах. Только мать наскребла на дорогу от Кишинева до Москвы. На московские стогны Гершензон ступил почти без копейки денег. Впрочем, какие-то знакомые устроили ему урок. Но тут – снова беда: дисциплина была в те времена не шуточная, и студент обязан был иметь форму, а в иных случаях являться и при шпаге. Добрые люди нашлись опять: дали Гершензону старый студенческий сюртук, который сидел мешком, и даже шпагу, и даже... за неимением форменного пальто, ему дали николаевскую шинель! Николаевскую шинель, светло-

серую, с бобровым воротником и с пелериной, доходившей ему чуть не до колен! Она была ему так непомерно велика, – что вы понимаете, обе полы мне приходилось все время носить в руках!

Так началась ученая карьера Гершензона и его бедность.

\* \* \*

Тыча себе тремя пальцами куда-то «под ложечку», туда, где в петлю потертой жилетки продета часовая цепочка, Гершензон говорит:

– Я расстраиваюсь и волнуюсь только нутром, до сих пор: а выше всегда спокоен и ясен.

Житейские тревоги часто доходили ему «под табак». Но до ума и сердца он умел их не допускать. Они его не ожесточали, не омрачали, не мутили прекрасной чистоты его духа.

Это, однако ж, не переходило ни в беззаботность, ни в то варварское презрение к житейским удобствам, которым так любят у нас щеголять иные из косматых «людей мысли». Не притворялся и бессеребренником. Напротив, умел он быть бережливым, хозяйливым, домовитым, любил обстоятельно поговорить о гонораре. Даже знал себя «в этом деле максималистом». Книжная лавка писателей стоном стонала, когда, в 1919 г., он вздумал продать ей лишние книги из своей библиотеки.

В тяжкие годы революции он занимался «полезными изобретениями». Додумался, например, до того, что, выкурив папиросу, не выбрасывал окурка, а осторожно стаскивал с мундштука трубочку папиросной бумаги, вновь набивал ее табаком и таким образом заставлял одну гильзу служить два раза. Путем упражнения довел технику этого дела до высокого совершенства. Потом изобрел ящик, изнутри обитый газетной бумагой и плотно закупоривающейся: ежели в этот ящик поставить кипящую кашу, она в нем дойдет и распарится сама по себе, без дров. Можно и суп.

Дело прошлое: знаю наверное, что Гершензон с женой, Марией Борисовной, тайком от детей, иногда целыми сутками

ничего не ели, питаясь пустым чаем и оставляя для детей все, что было в доме. И вот, голодая, простаивая на морозе в очередях, коля дрова и таская их по лестнице, – не притворялся он, будто все это ему нипочем, но и не разыгрывал мученика: был прост, серьезен, но – ясен. Скинет вязанку с плеч, отряхнется, отдышится, а потом вдруг – так весело поглядит – и сразу заговорит о важном, нужном, большом, что надумал, тащась куда-нибудь в Кремль, хлопотать за арестованного писателя.

\* \* \*

Как-то так складывалось, что нам доводилось часто ходить вместе по городу. Для меня это было сущим мучением. На улице я хорошо примечаю все, что случается, – но дурю; кажется, во всю жизнь ни одной путной мысли не пришло мне в голову на ходу. С Гершензоном было обратное. Чуть на улицу тут-то и начинает он либо философствовать, либо слышать пушкинские варианты, – а я ничего не понимаю и отвечаю невпопад. Зато Гершензон поминутно стремится то понапрасну перебежать улицу, норовя попасть под ломовика – с цитатой из Платона на устах, то свернуть в переулок, который нас уведет в сторону, противоположную той, куда мы направляемся.

Он был близорук, страдал чем-то вроде куриной слепоты, не умел ориентироваться и не знал Москвы до странности. Весною семнадцатого года мы с ним однажды отправились в Художественный театр на собрание писателей. До Страстного монастыря, я довез его на трамвае. Потом стали пешком спускаться к Камергерскому переулку. Вечер только еще наступал. Магазины сияли. По тротуарам сплошной стеной шел народ, – главным образом отпускные офицеры, солдаты, в те дни познавшие сладость коммерции, проститутки. Гершензона чуть не сбивали с ног, а он был потрясен. Вдруг даже остановился:

– Послушайте, это что за улица?

– Михаил Осипович, что с вами? Да ведь это Тверская.

– Тверская? Ага! Фу-ты, какая здесь роскошь, однако!

Его понятия о «роскоши» были своеобразны. Вполне зная толк в необходимом и умея ценить его, он был детски просто-

душен ко всему, что хоть сколько-нибудь напоминало об излишестве.

В 1920 г. мы жили в одном санатории. Я каждый день ходил в коричневом шелковом галстуке, который давно уже был выброшен моим братом, а мною прожжен махоркою. Но – на нем были какие-то разводы. Гершензон не забывал каждый день потрогать мой галстук, приговаривая:

– Фу-ты, какой он франт!

Однажды он вздумал нам с Марией Борисовной описать «роскошное» платье одной московской меценатки. Мы не могли удержаться и покатывались со смеху, слушая модные наблюдения Михаила Осиповича: выходило, что дама одета была в каких-то одних только «позументах» и «декольте».

Летом 1923 г., в Берлине, в очень жаркое утро, пришлось ему много бегать по разным полицейским учреждениям. Он вернулся, задыхаясь и обливаясь потом:

– Вы знаете, до чего дошло? До того дошло, что я, было, вздумал зайти в какое-нибудь ихнее кафе, выпить стакан кофе. Но после одумался: ведь отец семейства!..

Это было сказано без малейшей иронии, совершенно серьезно.

Минуя анекдоты, я думаю, что в его самоограничении был подлинный аскетизм.

\* \* \*

Те, кто прожил в Москве самые трудные годы, – восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый, – никогда не забудут, каким хорошим товарищем оказался Гершензон. Именно ему первому пришла идея Союза Писателей, который так облегчил тогда нашу жизнь и без которого, думаю, многие писатели просто пропали бы. Он был самым деятельным из организаторов Союза и первым его председателем. Но, поставив Союз на ноги и пожертвовав этому делу огромное количество времени, труда и нервов, – он сложил с себя председательство и остался рядовым членом Союза. И все-таки в самые трудные минуты Союз шел все к нему же – за советом и помощью.

Не только в общих делах но и в частных случаях Гершензон умел и любил быть подмогою. Многие обязаны ему многим. Он умел угадывать чужую беду – и не на словах, а на деле спешил помочь. Скажу о себе, что если б не Гершензон – плохо мне было бы в 1916–1918 гг., когда я тяжело хворал. Гершензон добывал для меня работу и деньги; Гершензон, а не кто другой, хлопотал по моим делам, когда я уехал в Крым. А уж о душевной поддержке – и говорить нечего. Но все это делалось с изумительной простотой, без всякой позы и сентиментальности. Его внимательность и чуткость были почти чудесны. Я, к сожалению, сейчас не могу подробно описать один случай, когда Гершензон выказал лукавую и веселую проницательность, граничащую с ясновидением.

Доброта не делала его ни пресным, ни мягкотелым. Был он кипуч, порывист и любил правду, всю, полностью, какова бы она ни была. Он говорил все, что думал, – прямо в глаза. Никогда не был груб и обиден, – но и не сглаживал углов, не золотил шилюль.

– Начистоту! – покрикивал он, – Начистоту!

Это было одно из его любимых слов. И во всех поступках Гершензона, и в его доме, и в его отношении к детям, – была эта *чистота правды*.

\* \* \*

При всей доброте, не был он слеп. В людях тщательно разбирался, и, не будучи по природе обидчиком, – просто проходил мимо тех, кто ему не нравился. В каждом старался он найти хорошее, но если не находил вычеркивал человека из своего обихода.

При случае умел сказать зло и метко. Об одном расторопном и разностороннем литераторе сказал:

– Он похож на магазин с вывеской: «любой предмет – пятьдесят копеек на выбор».

Однажды я высказал удивление: зачем Х., что бы ни писал – поминает про свою ссылку в Сибирь?

– Ну, как же вы не понимаете? – сказал Гершензон: – Это же его орден; орден пришит к мундиру и сам собой надевается вместе с мундиром.

Иногда он проявлял даже резкую нетерпимость. Мы как-то ехали в трамвае с Девичьего Поля к Арбатским Воротам. У Смоленского рынка в вагон вошел почтеннейший господин, поздоровался с Гершензоном и завел разговор. Гершензон отвечал, поглядывая в окно. Вдруг, в начале Арбата, он кинулся к выходу. Я его стал удерживать:

– Куда вы? Нам еще две остановки.

– Нет, нам слезать!

И, не слушая меня, выскочил из вагона. На тротуаре он на меня накинулся:

– Зачем вы меня удерживали? Что ж, вы хотели, чтобы я с ним еще разговаривал? Нет, уж лучше дойдем пешком.

– Да кто это?

– Профессор Р.: самый надутый дурак, какого я знаю.

Не вынося глупости, ханжества, доктринерства, даже на них обижаясь, он был незлобив на обиды, нанесенные ему лично. Однажды некий Бобров прислал ему свою книжку: «Новое о стихосложении Пушкина». Книжка, однако ж, была завернута в номер не то «Земщины», не то «Русской Земли» – с погромной антисемитской статьей того же автора. Статья была тщательно обведена красным карандашом. Рассказывая об этом, Гершензон смялся, а говоря о Боброве всегда прибавлял:

– А все-таки человек он умный.

Еще в начале знакомства он вдруг спросил:

– У вас хороший характер?

– Не важный.

– Ну, значит, скоро поссоримся: у меня ужасный характер. Вот вы увидите.

Слава Богу, мы не поссорились. «Ужасного» в его характере оказалось одно: упрямство. В общем он умел слушать возражения и умел иногда соглашаться с ними. Но часто бывало иначе:

он вдруг безнадежно махал рукой и воскликнув: «Бог знает, что вы говорите!» – резко переходил на другую тему.

Он был одним из самых глубоких и тонких ценителей стихов, какие мне встречались. Но и здесь были у него два «пунктика», против которых не помогало ничто: во-первых, он утверждал, что качество первой строчки всегда определяет качество всего стихотворения; во-вторых, считал почему-то, что если в четырехстрочной строфе первый стих рифмуется с четвертым, а второй с третьим, то это – пошлость. Я соглашался покривить душой и помириться на компромиссе: безвкусица. Но Гершензон настаивал на пошлости. Так и не сговорились.

Дважды мне довелось делать с ним общую работу; иной раз и тут приходилось сдаваться не только перед его знанием и опытностью, но и перед упрямством. Однако ж, надо отдать справедливость: в тех случаях, когда уступать приходилось ему, – он не хмурился и не дулся. Была высокая честность в его мысли: признавая свою неправоту, он всякий раз даже как будто радовался, что найден путь, более верный.

Впрочем, его упрямство отчасти вытекало из его подхода к работе. В свои историко-литературные исследования вводил он не только творческое, но даже интуитивное начало. Изучение фактов, мне кажется, представлялось ему более средством для *проверки догадок*, нежели добыванием материала для выводов. Нередко это вело его к ошибкам. Его «Мудрость Пушкина» оказалась в известной мере «мудростью Гершензона». Но, во-первых, это все-таки «мудрость», а во-вторых – то, что Гершензон угадал верно, могло быть угадано только им и только его путем. В некотором смысле ошибки Гершензона ценнее и глубже многих правд. Он угадал в Пушкине многое, «что и не снилось нашим мудрецам». Но, конечно, бывали у нас и такие, примерно, диалоги:

Я. Михаил Осипович, мне кажется, вы ошибаетесь. Это не так.

*Гершензон.* А я знаю, что это так!

Я. Да ведь сам Пушкин...

*Гершензон.* Что ж, что сам Пушкин? Может быть, я о нем знаю больше, чем он сам. Я знаю, что он хотел сказать, и что хотел скрыть, – и еще то, что выговаривал, сам не понимая, как пифия.

К тем, кого он изучал, было у него совсем особое отношение. Странно и увлекательно было слушать его рассказы об Огареве, Печерине, Герцене. Казалось, он говорит о личных знакомых. Он «чувствовал» умерших, как живых. Однажды, на какое-то мое толкование стихов Дельвига, он возразил:

– Нет, у Дельвига эти слова означают другое: ведь он был толстый, одутловатый...

\* \* \*

Он терпеть не мог, чтоб его называли критиком. «Я историк, а не критик», поправлял он. Однако, избегая печатно высказываться о новой литературе, он следил за ней очень зорко. Из современных русских писателей особенно восхищался Андреем Белым; Вячеслав Иванов, Сологуб, Блок были его любимыми поэтами; высоко ставил и лично любил А. М. Ремизова, любовно говорил о таланте Алексея Толстого. Не любя стихов Брюсова, уважал его, как историка литературы. В общем же был широк и старался найти хорошее даже в писателях, внутренне ему чуждых.

За девять лет нашего знакомства я привык читать или посылать ему почти все свои стихи. Его критика всегда была доброжелательна – и беспощадна. Резко, «начистоту» высказывал он свои мнения. С ними я не всегда соглашался, но многими самыми меткими словами о моих писаниях я обязан ему. Никто не бранил меня так сурово, как он, но и ничьей похвалой я не дорожил так, как похвалой Гершензона. Ибо знал, что и брань, и похвалы идут от самого, может быть, чистого сердца, какое мне доводилось встречать.

Хворал он давно, но умер от внезапного ухудшения.<sup>15</sup> Страдания были сильные. Он знал, что умирает, но конец наступил так быстро, что он не успел проститься с близкими. Похоронили его на скромном Ваганьковском кладбище. На его могиле можно бы написать слова из Послания Пушкина к Чаадаеву:

Всегда мудрец, а иногда мечтатель.

*Сорренто, 12 апреля 1925.*

---

<sup>15</sup>31 августа 1926 г. в Известиях ВЦИК было напечатано письмо С. Мицкевича, зам. председателя жилищной секции ЦЕКУБУ (т. е. центральной комиссии по улучшению быта ученых). «В практике жилищной секции ЦЕКУБУ, – писал Мицкевич, – имеется уже несколько тяжелых случаев, когда волнения, страдания и мытарства, вызванные жилищными осложнениями, приводили к преждевременной смерти научных работников (доктор Тезяков, известный профессор-литератор Гершензон и др.)».

## Сологуб

И верен я, отец мой, Дьявол,  
Обету, данному в злой час,  
Когда я в бурном море плавал  
И Ты меня из бездны спас.  
Тебя, отец мой, я прославлю  
В укор неправедному дню,  
Хулу над миром я восставлю  
И, соблазняя, соблазню.

.....  
У тебя, милосердного Бога,  
Много славы, и света, и сил.  
Дай мне жизни земной хоть немного,  
Чтоб я новые песни сложил.

*Федор Сологуб*

Он был сыном портного и кухарки. Родился в 1863 году. В те времена «выйти в люди» человеку такого происхождения было нелегко. Должно быть, это нелегко далось и ему. Но он выбрался, получил образование, стал учителем. О детских и юношеских годах его мы почти ничего не знаем. Учителя Федора Кузьмича Тетерникова, автора учебника геометрии, мы тоже не видим. В нашем поле зрения он является прямо уже писателем Федором Сологубом, лет которому уже за тридцать, а по виду и того много больше. Никто не видел его молодым, никто не видел, как он старел. Точно вдруг, откуда-то появился древний и молчаливый. «Рожденный не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преобразований...» – так начинается он предисловие к лучшей, центральной в его творчестве книге стихов. Кто-то рассказывал, как Сологуб иногда покидал многолюдное собрание своих гостей, молча уходил в кабинет и там оставался долго. Был радушным хозяином, но жажда одиночества была в нем сильнее гостеприимства. Впрочем, и на людях он порой точно отсутствовал. Слушал – и не слышал. Молчал. Закрывал глаза. Засыпал. Витал где-то, куда нам пути не было. Звали его колдуном, ведуном, чародеем.

Я впервые увидел его в начале 1908 года, в Москве, у одного литератора. Это был тот самый Сологуб, которого на известном портрете так схоже изобразил Кустодиев. Сидит мешковато на кресле, нога на ногу, слегка потирает маленькие, очень белые руки. Лысая голова, темя слегка заостренное, крышей, вокруг лысины – седина. Лицо чуть мучнистое, чуть одутловатое. На левой щеке, возле носа с легкой горбинкой, – большая белая бородавка. Рыжевато-седая борода клином, небольшая, и рыжевато-седые, висящие вниз усы. Пенсне на тонком шнурке, над переносицей складка, глаза полузакрыты. Когда Сологуб их открывает, их выражение можно бы передать вопросом:

– А вы все еще существуете?

Таким выражением глаз встретил и меня Сологуб, когда был я ему представлен. Шел мне двадцать второй год, и я Сологуба испугался. И этот страх никогда уже не проходил.

А в последний раз видел я Сологуба четырнадцать лет спустя, в Петербурге, тоже весной, после страшной смерти его жены. Постарел ли он? Нет, нисколько, все тот же. И молод никогда не был, и не старел.

\* \* \*

Обычно в творчестве поэта легко проследить изменение формальных навыков. Разнятся темпы таких изменений: у некоторых поэтов медленнее, у других быстрее; у одного и того же поэта смены происходят в разные периоды с неодинаковой скоростью. Разнятся и направления, в которых совершается эволюция формы: один поэт идет от сложности к простоте, другой от простоты к сложности; одни расширяют словарь свой, другие суживают; одни модернизируют свои приемы, другие архаизируют; одни поэты становятся самостоятельны после ряда подражаний, другие (это случается совсем не так редко, как принято думать) – напротив, утрачивают самостоятельность и делаются подражателями. Я намечаю лишь для примера самые основные линии творческих путей. В действительности, конечно, их несравненно больше, и главное – они несравненно сложнее. Каждая поэтическая судьба представляет собою един-

ственный и неповторимый случай поэтического развития. Впрочем, все это, разумеется, слишком общеизвестно, и я бы не стал говорить об этом, если бы не то обстоятельство, что поэзия Сологуба мне кажется едва ли не исключительным случаем, когда проследить эволюцию формы почти невозможно. По видимому, она почти отсутствует.

Сейчас нам известны стихи Сологуба за сорок лет. Он писал очень много, быть может – слишком. Число его стихотворений выражается цифрой, во всяком случае, четырехзначной. У Сологуба всегда имелся большой запас неизданных пьес, написанных в разные времена. Собирая их в книги, он руководствовался не хронологией, а иными, чаще всего тематическими признаками (но иногда чисто просодическими: такова его книга, составленная из одних триолетов). Составляя книги приблизительно так, как составляют букеты; запас, о котором сказано выше, служил ему богатой оранжереей. И вот замечательно, что букеты оказывались очень стройными, легкими, лишенными стилистической пестроты или разноголосицы. Стихи самых разных эпох и отдаленных годов не только вполне уживались друг с другом, но и казались написанными одновременно. Сам Сологуб, несомненно, знал это свойство своих стихов. Порой, когда это ему было нужно, он брал стихи из одной книги и переносил их в другую. Они снова оказывались на месте, вплетались в новые сочетания, столь же стройные, как те, из которых были вынуты.

Вот, например, книга «Жемчужные светила». В нее вошли стихи с 1884 до 1911 года. Тут лишь небольшая часть написанного за этот период. Но Сологуб вознамерился дать известную гамму, собрать стихи определенного оттенка – и вполне мог это сделать, отобрав подходящие пьесы из написанного за целых двадцать восемь лет. И снова – не только ни одного формального или стилистического скачка, броска, диссонанса, но напротив: все точно бы одновременно писано. Несомненно, можно различить большую уверенность, твердость, законченность, больше вкуса и мастерства в поздних вещах – да и то разве лишь по сравнению с самыми ранними. В сущности, уже с начала девяностых годов Сологуб является во всеоружии. Он

сразу «нашел себя», сразу очертил круг свой – и не выходит из него. С годами ему только легче и лучше удавалось то, что с самого начала сделалось сущностью его стиля. Раствор крепчал, насыщался, но по химическому составу оставался неизменным.

Сологуб появился на литературном поприще, как один из зачинателей самой молодой по тому времени поэтической группы. Но вступил он в нее уже поэтически не молодым. Среди своих литературных сверстников он сразу оказался самым зрелым, сложившимся и законченным. Его жизнь – без молодости, его поэзия – без ювенилий. И как в жизни, явившись старым, он больше уже не старел, так и мастерству его не был сужден закат. Одних своих литературных сверстников пережив физически, других он пережил поэтически: умер в полноте творческих сил, мастером трудолюбивым и строгим к себе.

\* \* \*

Не раз приходилось читать, будто в последние годы отрекся он от «сатанических» пристрастий, исцелился от ядов, отравлявших его душу, перестал витать в мире пороков и призраков, примирился с простою жизнью, которую некогда проклинал, обратил благосклонный взор к земле и полюбил родину. Высказывалось при этом, будто благодетельную роль в «просветлении» Сологуба сыграла тягостная судьба России, которой декадентский поэт до тех пор как бы и не замечал и которую он увидел и полюбил в годы ее страданий.

Не спору: такая концепция содержит в себе чрезвычайно много приятного. Мы любим наблюдать, как поэты перед смертью исправляются и просветляются. Предсмертная эволюция – наш конек. Открыли «эволюцию» – и можем с чистым сердцем хвалить покойника: хоть перед смертью, а сделался он таким же хорошим, как мы, и каким ему давно пора было сделаться.

К сожалению, все же приходится отказаться от наблюдений над эволюцией Сологуба: ее не было. Я нисколько не собираюсь отрицать наличность у Сологуба этих «просветленных» и «примиренных» мотивов, в частности – его любви к России. Но видеть в них «эволюцию» я бессилён. Эволюция была бы на

лицо, если б эти мотивы составляли характерный и исключительный признак сологубовской поэзии последнего периода; если бы можно было наблюдать их первое появление, затем нарастание, наконец-то, как ими вытесняются прежние, с ними несогласные. Но именно этих явлений, необходимых для того, чтобы можно было говорить об эволюции, в наличности нет. Те мотивы, которые, в случае эволюции, должны бы исчезнуть из поэзии Сологуба, в действительности сохраняются до конца. Те, что должны бы теперь явиться впервые, — на самом деле существовали всегда или так давно, что их появление никак нельзя связывать ни с российской жизнью последних лет, ни с личным предсмертным «просветлением» Сологуба.

Я не пишу исследования, но и не хочу быть голословным. Сологуб, будто бы, в эти последние свои годы склонил благосклонный взор к явлениям обыденной жизни, полюбил землю, благословил родину и примирился с Богом. В том то и дело, что последние годы здесь ни при чем. Разве простенькие стихи, обращенные к ручью, «прогнавшему скорбные думы», не в 1884 году писаны? А разве ясное, ничем не омраченное любованье речкой с купающимися ребятами не 1888 годом помечено? Да мало ли у Сологуба таких стихов! А вот это:

Не забудем же дорог,  
В Божий радостный чертог,  
В обители блаженных,  
И пойдем под Божий кров  
Мы в толпе Его рабов  
Терпеливых и смиренных.

Разве страдания России, или близость кончины привели Сологуба к этим стихам — в 1898 году? А вот — о земле:

Вы не умеете целовать мою землю,  
Не умеете слушать Мать Землю сырую,  
Так, как я ей внемлю,  
Так, как я ее целую.

О, приникну, приникну всем телом  
К святому материнскому телу,  
В озарении святом и белом  
К последнему склонюсь пределу,

Откуда вышли цветы и травы,  
Откуда вышли вы, сестры и братья.  
Только мои лобзанья чисты и правы,  
Только мои святы объятья.

Не знаю, когда написаны эти стихи, но в 1907 году они были уже напечатаны в «Пламенном круге».

Неверно и то, что будто бы «декадент» Сологуб увидел и полюбил Россию только после революции. В 1906 году вышла книга его стихов, коротко и выразительно озаглавленная: «Родине». Тогда же появились и «Политические сказочки», свидетельницы о том, что «певец порока и мутной мистики» не чуждался реальнейших вопросов своего века.

И в 1911 году он писал:

Прекрасные, чужие, –  
От них в душе туман;  
Но ты, моя Россия,  
Прекраснее всех стран.

Нет, не предсмертному просветлению обязан Сологуб своей любовью к России. Это не он не видел Россию, а мы проглядели его любовь к ней.

Обратно: так ли уж он до конца, весь просветлел, так ли бежал от своего прошлого, так ли ясно и просто обратился к Богу?

Адонаи  
Взошел на престолы,  
Адонаи  
Требуется поклоненья, –  
И наша слабость,  
Земная слабость  
Алтари ему воздвигала.

Но всеблагий Люцифер с нами,  
Пламенное дыхание свободы,  
Пресвятой свет познанья,  
Люцифер с нами,  
И Адонаи,  
Бог темный и мстящий,  
Будет низвергнут  
И развенчан  
Ангелами, Люцифер, твоими,  
Вельзевулом и Молохом.

Это сказано в большевицкой России, за несколько лет до смерти. Правда, через несколько страниц читаем иное:

Знаю знанием последним,  
Что бессильна эта тьма,  
И не верю темным бредням  
Суеверного ума.

Посягнуть на правду Божью  
То же, что распять Христа,  
Заградить земною ложью  
Непорочные уста.

Или:

В ясном небе – светлый Бог Отец,  
Здесь со мной – Земля, святая Мать...

Но – через несколько страниц снова:

Зачем любить? Земля не стоит  
Любви твоей.  
Пройди над ней, как астероид,  
Пройди скорей.

А пока что – восхваляя пройденный им на земле «лукавый путь веселого порока», Сологуб приглашает: «Греши со мной».

По совести – очень далеко все это от покаяния и исправления. Нет, духовного «прогресса» мы в творчестве Сологуба не найдем, – так же, как и «регресса». Тем-то и примечательна, между прочим, его поэзия, что она – без какой бы то ни было эволюции. Сологуб никогда не отрекался от своего прошлого и не обретал ничего, что не было бы ему известно ранее. Конечно, к тому, что составляет основные мотивы его поэзии, пришел он не сразу. Но именно того, как и когда слагался Сологуб, – мы не знаем. Застаем его сразу уже сложившимся – и таким пребывавшим до конца. Его «сложение» очень сложно; оно как будто внутренне противоречиво, если судить по отдельным стихам. Оно отливает многими переливами, но по существу, по составу, всегда неизменно. Как жизнь Сологуба – без молодости, как поэзия – без ювенилий, так и духовная жизнь – без эволюции.

Сологуб кощунствовал и славословил, проклинал и благословлял, воспевал грех и святость, был жесток и добр, призывал смерть и наслаждался жизнью. Все это и еще многое можно доказать огромным количеством цитат. Одного только не удастся доказать никогда: будто Сологуб от чего-то «шел» и к чему-то «пришел», от кощунств к славословиям или от славословий к кощунствам, от благословений к проклятиям или от проклятий к благословениям. Ничто у него ничем не вытеснялось, противоречия в нем уживались мирно, потому что самая наличность их была частью его мировоззрения. Об этом мировоззрении скажу несколько слов, без критики и без указания на его источники. Дело не в том, было ли оно оригинально и верно, и какие в нем самом были противоречия. Оно – ключ к пониманию Сологуба и только в этом качестве нас в данную минуту занимает.

«Рожденный не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преобразений, я спокойно и просто открываю свою душу», говорит Сологуб в предисловии к «Пламенному Кругу» – и не устает повторять это в стихах и в прозе.

Свою жизнь, которая кончилась 5 декабря 1927 года, Сологуб почитал не первой и не последней. Она казалась ему звеном в нескончаемой цепи преобразований. Меняются личности, но

под ними вечно сохраняется неизменное Я: «Ибо все и во всем – Я, и только Я, и нет иного, и не было и не будет». «Темная земная душа человека пламенеет сладкими и горькими восторгами, истончается и восходит по нескончаемой лестнице совершенств в обители навеки недостижимые и вовеки вожденные». В процессе этого нескончаемого восхождения Я создает миры видимые и невидимые: вещи, явления, понятия, добро и зло, Бога и дьявола. И добро, и зло, и Бог, и дьявол – только равноценные формы сладких и горьких восторгов, пламенеющих в душе.

Временная жизнь, цикл переживаний, кончается столь же временной смертью – переходом к новому циклу:

И все, что жило и дышало  
И отцвело,  
В иной стране взойдет сначала,  
Свежо, светло.

То звено цепи, та жизнь, которую изживал на наших глазах поэт Федор Сологуб, содержала для него великое множество переживаний, «восторгов», говоря его словом (и словом Пушкина). То были приливы страстной любви к женщине, красоте, жизни, родине, Богу. И очарования зла, злобы, порока, уродства, дьявола, смерти наполняли его душу тоже восторгами, иного цвета и вкуса («горькими»).

Поскольку, однако, вся эта жизнь была лишь ступенью в «нескончаемой лестнице совершенств», она не могла не казаться Сологубу еще слишком несовершенной, – как были, пожалуй, еще менее совершенны жизни, им раньше пройденные. Но неверно распространенное мнение, будто для Сологуба жизнь абсолютно мерзка, груба, грязна. Она и мерзка, и груба, и пошла – только по отношению к последующим ступеням, которые еще впереди. Сологуб умеет любить жизнь и восторгаться ею, но лишь до тех пор, пока созерцает ее безотносительно к «лестнице совершенств». По сравнению с утраченной и вечно искомой Лилит, эта жизнь – Ева, «бабища дебелая и румяная». Это – грязная девка Альдонса, ей бесконечно далеко до той прекрасной

Дульциней, которая мечтается человеку, вечному Адаму и вечному Дон Кихоту. Но и в следующих воплощениях, на будущих ступенях, ему тоже не суждено встретить подлинную Дульцинею, которая живет в «обителях навеки недостижимых и вовеки вождеденных».

Где ж эти обители? Сологуб знает, что это не наша Земля, не Марс, не Венера и никакая из существующих планет. Эта обитель недостижима, она носит условное и заветное имя «земля Ойле». Над той землей светит небывалая звезда Маир, небывалая река ее орошает:

Звезда Маир сияет надо мною,  
Звезда Маир,  
И озарен прекрасною звездою  
Далекий мир.  
Земля Ойле плавает в волнах эфира,  
Земля Ойле,  
И ясен свет мерцающий Маира  
На той земле.  
Река Лигой в стране любви и мира,  
Река Лигой  
Колелет тихо ясный лик Маира  
Своей волной.  
Бряцанья лир, цветов благоуханье,  
Бряцанье лир  
И песни жен слились в одно дыханье,  
Хваля Маир.

Был ли сам он утешен своей «лестницей»? Я не знаю. Думаю, что самый вопрос об утешительности или неутешительности был для него несуществен. Однажды обретенной им для себя истине он смотрел в глаза мужественно и, во всяком случае, не в его характере было пытаться ее прикрашивать или подслащать. Кажется, «лестница» иногда казалась ему скучновата. Утомительна и сурова – это уж непременно:

Кто смеется? Боги,  
Дети да глушцы.  
Люди, будьте строги,

Будьте мудрецы,  
Пусть смеются боги,  
Дети да глушцы.

Сам он, впрочем, часто шутил. Но шутки его всегда горьки и почти всегда сводятся к каламбуру, к улыбке слов. «Нож да вилка есть, а нож резалка есть?» «Вот и не поймешь: ты Илия или я Илия?» «Она Селениточка – а на сел ниточка». Смешных положений он почти не знает, улыбок в явлениях жизни не видит. А если и видит, то страшные или злые.

\* \* \*

Несовершенна, слишком несовершенна казалась Сологубу жизнь. «Земное бремя – пространство, время» слишком часто было ему тяжело. И люди его не прельщали: «мелкого беса» видел он за спиной у них. Познакомившись с Передоновым, русское общество пожелало увидеть в нем автопортрет Сологуба. «Это он о себе», намекала критика. В предисловии ко второму изданию своего романа Сологуб ответил спокойно и ясно: «Нет, мое милые современники, это о вас».

О нем было принято говорить: злой. Мне никогда не казалось, однако, что Сологуб деятельно зол. Скорее – он только не любил прощать. После женитьбы на Анастасии Николаевне Чеботаревской, обладавшей, говорят, неуживчивым характером (я сам не имел случая на него жаловаться), Сологубу, кажется, приходилось нередко сориться с людьми, чтобы, справедливо или нет, вступаться за Анастасию Николаевну.

Впрочем, и сам он долго помнил обиды. Еще в 1906 или 1907 году Андрей Белый напечатал в «Весах» о Сологубе статью, которая показалась ему неприятной. В 1924 году, т. е. лет через семнадцать, Белый явился на публичное чествование Сологуба, устроенное в Петербурге по случаю его шестидесятилетия, и произнес, по обыкновению своему, чрезвычайно экзальтированную, бурно-восторженную речь (передаю со слов одного из присутствовавших). Закончив, Белый осклабился улыбкой, столь же восторженной и неискренней, как была его

речь, и принялся изо всех сил жать Сологубу руку. Сологуб гадливо сморщился и произнес с расстановкой, сквозь зубы:

– Вы делаете мне больно.

И больше ни слова. Эффект восторженной речи был сорван. Сологуб отомстил.<sup>16</sup>

В общем, мне кажется, люди утомляли Сологуба. Он часто старался не видеть их и не слышать:

Быть с людьми – как бремя!  
О, зачем же надо с ними жить,  
Отчего нельзя все время  
Чары деять, тихо ворожить?

Для меня эта нота всегда очень явственно звучала в словах Сологуба, в лениво-досадливых жестах, в полудремоте его, в молчании, в закрывании глаз, во всей повадке. Когда я жил в Петербурге, мы встречались сравнительно много, бывали друг у друга, но в общем, несмотря на восхитительный ум Сологуба, на прекрасные стихи, которые он читал при встречах, на его любезное, впрочем – суховатое обращение, я как-то старался поменьше попадаться ему на глаза. Я видел, что люди Сологубу, в конечном счете, решительно не нужны, и я в том числе. Уверен, что он носил в себе очень большой запас любви, но не в силах был обратить ее на людей.

---

<sup>16</sup>Сам Андрей Белый («Начало века», стр. 448) передает эту сцену несколько иначе: «Во время чтения ему адреса молчал церемонный старик, став во фраке, закинувши мумиевидную голову, белый, как смерть; вдруг пленительно зуб показав (и отсутствие зуба), он руку потряс сердечно; и облобызал меня. За кулисами, сжав ему руку, едва не упал вместе с ним, потому что орнул он белугой: – „Ой, сделали больно, – и пальцы тряс, сморщась, – ну, можно ли эдаким способом пальцы сжимать?“ И качая над носом моим своим пальцем, откинувшись, фалдами фрака тряся, он сурово меня распекал».

Должно заметить однако, что лицо, рассказавшее мне об этом эпизоде, находилось среди публики и могло видеть лишь то, что происходило именно на сцене, а не за кулисами.

На Ойле, далекой и прекрасной,  
Вся мечта и вся любовь моя...

На земле знал он только несовершенный ответ любви ойлейской.

\* \* \*

Впрочем, двух людей, двух женщин, он любил – и обеих утратил. Первая была его сестра, Ольга Кузьминична, тихая, немолодая девушка, болезненная, чуть слышная, ходившая всегда в черном. Она умерла от чахотки, кажется, в 1907 году. Следы этой любви есть во многих стихах Сологуба. О ней он не забывал. В 1920 году писал:

...Рассказать, чем сердце жило,  
Чем болело и горело,  
И кого оно любило,  
И чего оно хотело.  
Так мечтаешь хоть недолго  
О далекой, об отцветшей.  
Имя сладостное Волга  
Сходно с именем ушедшей.

Вторая была Анастасия Николаевна Чеботаревская, на которой он женился вскоре после смерти сестры. Годы военного коммунизма Сологубы провели частью в Костроме, частью в Петербурге. Мечтой их было уехать из советской России, где господствовали, по его выражению, «вчеловеченные звери». Сологуб писал:

Снова саваны надели  
Рощи, нивы и луга.  
Надоели, надоели  
Эти белые снега,  
  
Эта мертвая пустыня,  
Эта дремлющая тишь!  
Отчего ж, душа-рабыня,  
Ты на волю не летишь,

К буйным волнам океана,  
К шумным стогнам городов,  
На размах аэроплана,  
В громыханье поездов,

Или, жажду жизни здешней  
Горьким ядом утоля,  
В край невинный, вечно-вешний,  
В Элизийские поля?

Анастасия Николаевна приходилась родственницей Луначарскому (кажется, двоюродной сестрой). Весной 1921 г. Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить за границу больных писателей: Сологуба и Блока. Ходатайство было поддержано Горьким. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что ж вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем, как Блок – поэт революции, наша гордость, о нем даже была статья в Times-е, а Сологуб – ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов – и т. д.

Копия этого письма, датированного, кажется, 22 июня, была прислана Горькому, который его мне и показал тогда же. Политбюро вывернуло свое решение наизнанку: Блоку дало заграничный паспорт, которым он уже не успел воспользоваться, а Сологуба задержало. Осенью, после многих стараний Горького, Сологубу все-таки дали заграничный паспорт, потом опять отняли, потом опять дали. Вся эта история поколебала душевное равновесие Анастасии Николаевны: когда все уже было улажено и чуть ли не назначен день отъезда, в припадке меланхолии она бросилась в Неву с Тучкова моста.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Ее сестра, тоже переводчица и писательница, Александра Николаевна Чеботаревская, жила в Москве. В день похорон Гершензона (февраль 1925) было решено речей не произносить. Однако, какой-то коммунист, растолкал присутствовавших, подошел к могиле и стал говорить о том, что хотя Гер-

Тело ее было извлечено из воды только через семь с половиною месяцев. Все это время Сологуб еще надеялся, что, может быть, женщина, которая бросилась в Неву, была не Анастасия Николаевна. Допускал, что она где-нибудь скрывается. К обеду ставил на стол лишний прибор – на случай, если она вернется. Из этого сделали пошлый рассказ о том, как Сологуб «ужинает в незримом присутствии покойницы». В ту пору я видел его два раза: вскоре после исчезновения Анастасии Николаевны – у П. Е. Щеголева, где он за весь вечер не проронил ни слова, и весной 1922 г. – у меня. Он пришел неожиданно, сел, прочитал несколько стихотворений и ушел так же внезапно, точно и не заметив моего присутствия.

Убедившись в гибели жены, он уже не захотел уезжать. Его почти не печатали (в последние три года – вовсе нигде), но он много писал. Не в первый раз мечтой побеждал действительность, духовно торжествовал над ней. Не даром, упорствуя, не сдаваясь, в холоде и голоде, весной 1921 года, в двенадцать дней, написал он веселый, задорный, в той обстановке как будто бы даже немислимый цикл стихов: двадцать семь пьес в стиле французских бержерет. Стиснув зубы, упрямый мечтатель, уверенный, твердый, неуклонный мастер, он во дни «пролетарского искусства» выводил с усмешкой и над врагами, и над собой, и над «злою жизнью»:

Тирсис под сенью ив  
Мечтает о Нанетте,

---

шензон был «не наш», все же пролетариат чтит память этого пережитка буржуазной культуры. Александра Николаевна не выдержала и тут же высказала все, что накишело у нее на душе. Когда разошлись с кладбища, она весь день не могла успокоиться. Вечером, после нервного припадка, она пошла на Большой Каменный мост, перекрестилась, осенила крестным знаменем Москву на все четыре стороны и бросилась с моста в поляню. Прохожие ее вытащили, но час спустя она скончалась в приемном покое от разрыва сердца. Рассказываю со слов советского писателя, который тогда был в Москве, а затем на время приезжал в Париж. Андрей Белый («Начало века», стр. 447) пишет, что обе сестры покончили с собой «на почве психического заболевания».

И голову склонив,  
Выводит на мюзетте:  
Любовью я, – тра, та, там, та, – томлюсь,  
К могиле я, – тра, та, там, та, – клонюсь.  
И эхо меж кустов,  
Внимая воплям горя,  
Не изменяет слов,  
Напевам томным вторя:  
Любовью я, – тра, та, там, та, – томлюсь,  
К могиле я, – тра, та, там, та, – клонюсь...

*Париж, январь 1928 г.*

## *Есенин*

Летом 1925 года прочел я книжку Есенина под непривычно простым заглавием: «Стихи. 1920–24». Тут были собраны пьесы новые – и не совсем новые, т. е. уже входившие в его сборники. Видимо, автор хотел объединить стихи того, можно сказать, покаянного цикла, который взволновал и растрогал даже тех, кто ранее не любил, а то и просто не замечал есенинской поэзии.

Эта небольшая книжечка мне понравилась. Захотелось о ней написать. Я и начал было, но вскоре увидел, что в этом сборнике – итог целой жизни, и что невозможно о нем говорить вне связи со всем предыдущим путем Есенина. Тогда я перечел «Собрание стихов и поэм» его – первый и единственный том, изданный Гржебиным. А когда перечел, то понял: *сейчас* говорить о Есенине невозможно. Книжка, меня (и многих других) взволновавшая, есть свидетельство острого и болезненного перелома, тяжелой и мучительной драмы в творчестве Есенина. Стало для меня несомненно, что настроения, отраженные в этом сборничке, переходные; они нарастали давно, но теперь достигли такой остроты, что вряд ли могут быть устойчивы, длительны; мне показалось, что так ли, иначе ли, – судьба Есенина вскоре должна решиться, и в зависимости от этого решения новые его стихи станут на свое место, приобретут тот или иной смысл. В ту минуту писать о них – значило либо не договаривать, либо предсказывать. Предсказывать я не отважился. Решил ждать, что будет. К несчастью, ждать оказалось недолго: в ночь с 27 на 28 декабря, в Петербурге, в гостинице. «Англетерр», «Сергей Есенин обернул вокруг своей шеи два раза веревку от чемодана, вывезенного из Европы, выбил из под ног табуретку и повис лицом к синей ночи, смотря на Исаакиевскую площадь».

\* \* \*

Он родился 21 сентября 1895 года, в крестьянской семье, в Козминской волости, Рязанской губернии и уезда. С двух лет,

по бедности и многочисленности семейства, был отдан на воспитание деду с материнской стороны, мужику более зажиточному. Стихи стал писать лет девяти, но более или менее сознательное сочинительство началось с шестнадцатилетнего возраста, когда Есенин окончил закрытую церковно-учительскую школу.

В своей автобиографии он рассказывает: «18 лет я был удивлен, разослав свои стихи по редакциям, что их не печатают, и неожиданно грянул в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй Городецкий... Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слышал ни слова».

«Грянул» он в Петербург простоватым парнем. Впоследствии сам рассказывал, что, увидев Блока, вспотел от волнения. Если вчитаемся в его первый сборник «Радуница», то увидим, что никаких ясно выраженных идей, отвлеченностей, схем он из своей Козминской волости в Петербург не привез. Явился с запасом известных наблюдений и чувств. А «идеи», если и были, то они им переживались и ощущались, но не осознавались.

В основе ранней есенинской поэзии лежит любовь к родной земле. Именно к родной крестьянской земле, а не к России с ее городами, заводами, фабриками, с университетами и театрами, с политической и общественной жизнью. России в том смысле, как мы ее понимаем, он в сущности не знал. Для него родина – свои деревня да те поля и леса, в которых она затерялась. В лучшем случае – ряд таких деревень: избяная Русь, родная сторонашка, не страна: единство социальное и бытовое, а не государственное и даже не географическое. Какие-нибудь окраины для Есенина, разумеется, не Россия. Россия – Русь, Русь – деревня.

Для обитателя этой Руси весь жизненный подвиг – крестьянский труд. Крестьянин забит, нищ, гол. Так же убога его земля:

Слушают ракиты  
Посвист ветряной...  
Край ты мой забытый,  
Край ты мой родной.

Такой же нищий, сливаясь с нею, ходит по этой земле мужицкий Бог:

Шел Господь пытатъ людей в любви,  
Выходил Он нищим на кулижку.  
Старый дед на пне сухом, в дуброве,  
Жамкал деснами зачерствелую пышку.

Увидал дед нищего дорогой,  
На тропинке, с клюшкою железной,  
И подумал: – «Вишь, какой убогой. –  
Знать, от голода качается, болезный».

Подошел Господь, скрывая скорбь и муку:  
Видно, мол, сердца их не разбудишь...  
И сказал старик, протягивая руку:  
– «На, пожуй... маленько крепче будешь».

Можно по стихам Есенина восстановить его ранние мужицко-религиозные тенденции. Выйдет, что миссия крестьянина божественна, ибо крестьянин как бы сопричастен творчеству Божью. Бог – отец. Земля – мать. Сын – урожай. Истоки есенинского культа, как видим, древние. От этих истоков до христианства еще ряд этапов. Пройдены ли они у Есенина? Вряд ли. Начинаящей Есенин – полуязычник. Это отнюдь не мешает его вере быть одетою в традиционные образы христианского мира. Его религиозные переживания выражены в готовой христианской терминологии. Только это и можно сказать с достоверностью. Говорить о *христианстве* Есенина было бы рискованно. У него христианство – не содержание, а форма, и употребление христианской терминологии приближается к литературному приему. Наряду с образами, заимствованными у христианства, Есенин раскрывает ту же мужицкую веру в формах вполне языческих:

Полюбил я мир и вечность,  
Как родительский очаг.

Все в них благостно и свято,  
Все тревожно и светло.  
Плещет алый мак заката  
На озерное стекло.

И невольно в море хлеба  
Рвется образ, с языка:  
Отелившееся небо  
Лижет красного телка.

Вот оно: небо – корова; хлеб, урожай – телок; небо родит урожай, правда высшая воплощается в урожае. Но Есенин сам покамест относится к этой формуле всего лишь, как к образу, как к поэтической метафоре, нечаянно сорвавшейся с языка. Он еще сам не знает, что тут заключена его основная религиозная и общественная концепция. Но впоследствии мы увидим, как и под какими влияниями этот образ у него развился и что стал значить.

\* \* \*

В конце 1912 года, в Москве, стал ко мне хаживать некий Х. Называл он себя крестьянским поэтом; был красив, чернобров, статен; старательно окал, любил побеседовать о разных там яровых и озимых. Держался он добрым молодцем, Бовой-королевичем. Уверял, разумеется, что нигде не учился. От С. В. Киссина (Муни), покойного моего друга, я знал, что Х. в одно время с ним был не то студентом, не то вольнослушателем на юридическом факультете. Стихи он писал недурно, гладко, но в том псевдорусском стиле, до которого я не охотник.

В его разговоре была смесь самоуничужения и наглости. Тогда это меня коробило, позже я насмотрелся на это вдоволь у пролетарских поэтов. Х. не ходил, не смотрел, а все как-то похаживал да поглядывал, то смиренничая, то наливаясь злостью. Не смялся, а ухмылялся. Бывало, придет – на все лады извиняется: да можно ли? да не помешал ли? да, пожалуй, не ко двору пришелся? да не надоел ли? да не пора ли уж уходить? А сам нет-нет да шпилечку и отпустит. Читая свои стихи, почтитель-

нейше просил указать, ежели что не так: поучить, наставить. Потому что – нам где же, мы люди темные, только вот, разумеется, которые ученые, – они хоть и все превзошли, а ни к чему они вовсе, да... Любил побеседовать о политике. Да, помещикам обязательно ужо – красного петуха (неизвестно, что: *пустят* или *пустим*). Чтобы, значит, был царь – и мужик, больше никого. Капиталистов под жабры, потому что жида (а Вы сами, простите, не из евреев?) и хотят царя повалить, а сами всей Русью крещеною завладеть. Интеллигенции – земной поклон за то, что нас, неучей, просвещает. Только тоже сесть на шею себе не дадим: вот, как справимся с богачами, так и ее по шапке. Фабричных – тоже: это все хулиганы, сволочь, бездельники. Русь – она вся хрестьянская, да. Мужик – что? Тьфу, последнее дело, одно слово смерд. А только ему полагается первое место, потому что он – вроде как соль земли...

А потом, помолчав:

– Да. А что она, соль? Полкопейки фунт.

Муни однажды о нем сказал:

– Бова твой подобен солнцу: заходит налево – взойдет направо. И еще хорошо, если не вынырнет просто в охранке.

Меж тем, Х. изнывал от зависти: не давали ему покою лавры другого мужика, Николая Ключева, который явился незадолго до того и уже выпустил две книги: одну – с предисловием Брюсова, другую – со вступительной статьей В. Свенцицкого, который без обиняков объявил Ключева *профокан*.

Действительно, гораздо более даровитый, чем Х., Ключев поехал уже в Петербург и успел там прогреметь: Городецкий о нем звонил во все колокола. Х., понятно, не усидел: тоже кинулся в Петербург. Там у него не особенно что-то удачно вышло: в пророки он не попал и вскоре вернулся, – однако, не без трофея: с фотографической карточкой, на которой был снят с Городецким и Ключевым: Все трое – в русских рубахах, в смазных сапогах, с балалайками. Об этой поре, в одном из своих очерков петербургской литературной жизни, хорошо рассказал Г. Иванов:

«Приехав в Петербург, Ключев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-травести.

– Ну, Николай Алексеевич, как устроились вы в Петербурге?

– Слава тебе Господи, не оставляет Заступница нас, грешных. Сыскал клетушку, – много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской за углом живу.

Клетушка была номером Отель де Франс с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Ключев сидел на тахте, при воротничке и галстук, и читал Гейне в подлиннике.

– Маракую малость по-басурманскому, – заметил он мой удивленный взгляд. – Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей. Да, что ж это я, – взволновался он, – дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то – он подмигнул – если не торопишься, может пополудничаем вместе? Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.

Я не торопился.

– Ну, вот и ладно, ну, вот, и чудесно, – сейчас обряжусь...

– Зачем же вам переодеваться?

– Что ты, что ты – разве можно? Ребята засмеют. Обожди минутку – я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке:

– Ну, вот, – так-то лучше!

– Да, ведь, в ресторан в таком виде, как раз, не пустят.

– В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно».

Вот именно в этих клетушках-комнатушках французских ресторанов и выработывался тогда городецко-ключевский *style russe*, не то православие, не то хлыстовство, не то революция, не то черносотенство. Для Городецкого, разумеется, все это была очередная безответственная шумиха и болтовня: он уже бывал к тому времени и символистом, и мистическим

анархистом, и мистическим реалистом, и акменстом. Он любил маскарады и вывески. Переодеться мужичком было ему интересно и рекламнее. Но Клюев, хоть и «маракал побасурманскому», был все же человек деревенский. Он, разумеется, знал, что таких мужичков, каким рядил его Городецкий, в действительности не бывает, – но барину не перечил: пушай забавляется. А сам между тем, не то чтобы вовсе тишком да молчком, а этак полусловцами да песенками, поддакивая да подмигивая и вправо и влево, и черносотенцу Городецкому, и эсерам, и членам религиозно-философского общества, и хлыстовским каким-то юношам, выжидал. Чего?

\* \* \*

То, что мой Х. выбалтывал несуразно, отрывочно и вразброд, можно привести в некоторую систему. Получится, приблизительно, следующее:

Россия – страна мужицкая. То, что в ней не от мужика и не для мужика, – накипь, которую надо соскоблить. Мужик – единственный носитель истинно русской религиозной и общественной идеи. Сейчас он подавлен и эксплуатируем людьми всех иных классов и профессий. Помещик, фабрикант, чиновник, интеллигент, рабочий, священник – все это разновидности паразитов, сосущих мужицкую кровь. И сами они, и все, что идет от них, должно быть сметено, а потом мужик построит новую Русь и даст ей новую правду и новое право, ибо он есть единственный источник того и другого. Законы, которые высижены в Петербурге чиновниками, он отменит, ради своих законов, неписаных. И веру, которой учат попы, обученные в семинариях да академиях, мужик исправит, и вместо церкви синодской построит новую – «земляную, лесную, зеленую». Вот тогда-то и превратится он из забитого Ивана-Дурака в Ивана-Царевича.

Такова программа. Какова же тактика? Тактика – выжидательная. Мужик окружен врагами: все на него и все сильнее его. Но если случится у врагов разлад и дойдет у них до когтей, вот тогда мужик разогнет спину и скажет свое последнее, решающее слово. Следовательно, пока что, ему не по дороге ни с кем.

Приходится еще ждать: кто первый пустит красного петуха, к тому и пристать. А с какого конца загорится, кто именно пустит, – это пока все равно: хулиган – ли мастеровой пойдет на царя, царь – ли кликнет опричнину унимать беспокойную земщину – безразлично. Снизу ли, сверху ли, справа ли, слева ли, – все солома. Только бы польхнуло.

Такова была клюевщина к 1913 году, когда Есенин появился в Петербурге. С Клюевым он тотчас подружился и подпал под его влияние. Есенин был молод, во многом неискушен и не то, чтобы простоват, – а была у него душа нараспашку. То, что бродило в нем смутно, несознанно, в клюевщине было уже гораздо более разработано. Есенин пришел в Петербург, зная одно: плохо мужику и плохо мужицкому Богу. В Петербурге его просветили: ежели плохо, так надобно, чтобы стало лучше. И будет лучше: дай срок – подымется деревенская Русь. И в стихах Есенина зазвучал новый мотив:

О, Русь, взмахни крылами,  
Поставь иную крепь!  
.....  
.....  
Довольно гнить и ноять,  
И славить взлетом гнусь –  
Уж смыла, стерла деготь  
Воспрянувшая Русь.

Самого себя он уже видит одним из пророков и песнопевцев этой Руси – в ряду с Алексеем Кольцовым, «смирненным Миколоем» Клюевым и беллетристом Чапыгиным:

Сокройся, сгинь ты, племя  
Смердящих снов и дум!  
На каменное темя  
Несем мы звездный шум.

Грядущее уничтожение «смердящих снов», установление «иной крепь» видится Есенину еще смутно. «Звездный шум»,

который несут мужицкие пророки, можно тоже понять по разному. Но Есенин уверен в одном: что

... не избежать бури,  
Не миновать утрат,  
Чтоб прозвенеть в лазури  
Кольцом незримых врат.

Освобожденная Русь – град лазурный и невидимый. Это нечто неопределенно светлое. Конкретных черт ее не дает Есенин. Но знает конкретно, что путь к ней лежит через «бурю», в которой развернется мужицкая удаль. Иначе сказать – через революцию. Появление этого сознания важнейший этап в душевной биографии Есенина.

Семнадцатый год оглушил нас. Мы как будто забыли, что революция не всегда идет снизу, а приходит и с самого верху. Ключевщина это хорошо знала. От связей с нижней она не зарекалась, но – это нужно заметить – в те годы скорее ждала революции сверху. Через год после появления Есенина в Петербурге началась война. И пока она длилась, Городецкий и Ключев явно ориентировались направо. Книга неистово патристических стихов Городецкого «Четырнадцатый год» у многих еще в памяти. Там не только Царь, но даже Дворец и даже Площадь печатались с заглавных букв. За эту книгу Городецкий получил высочайший подарок: золотое перо. Он возил и Ключева в Царское Село, туда, где такой же мужичек, Григорий Распутин, норовил пустить красного петуха сверху. От Ключевщины несло распутинщиной.

Еще не оперившийся Есенин в те годы был послушным спутником Ключева и Городецкого. Вместе с ними разгуливал он сусальным мужичком, носил щегольские сафьянные сапожки, голубую шелковую рубаху, подпоясанную золотым шнурком; на шнуре, висел гребешок для расчесывания молодецких кудрей. В таком виде однажды я встретил Ключева и Есенина в трамвае, в Москве, когда приезжали они читать стихи в «Обществе свободной эстетики». Правда, верное чутье подсказало Есенину, что в перечень крестьянских пророков было бы

смешно вставить барина Городецкого, но все-таки от компании он не отставал. От ориентации на Царское Село – тоже.

\* \* \*

Это последнее обстоятельство закреплено в любопытном документе. Дело в том, что помимо автобиографии, которую я цитировал выше и которая писана летом 1922 года в Берлине, Есенин, уже по возвращении в советскую Россию, составил вторую. После смерти Есенина она была напечатана в журнале «Красная Нива».

По-видимому, эта вторая, московская автобиография написана неспроста. Мне неизвестно, какие именно обстоятельства и воздействия вызвали ее к жизни и куда она была представлена, но в ней есть важное отличие от берлинской: на сей раз Есенин в особом, дополнительном отрывке рассказывает о том, про что раньше он совершенно молчал: именно – о своих сношениях с высшими сферами и вообще о периоде 1915–1917 гг. Московская биография написана в том же непринужденном тоне, как и берлинская, но в ней чувствуется постоянная оглядка на советское начальство. Это сказалось даже в мелочах: например, Есенин дату своего рождения приводит уже не по старому стилю, а по новому: 3 октября вместо 21 сентября; церковно-учительскую школу, в которой он обучался, теперь он предусмотрительно именует учительской просто, – и т. п. Что же касается неприятной темы о сношениях с Царским Селом, – то вряд ли мы ошибемся, если скажем, что это и есть главный пункт, ради которого писана вторая автобиография. Об этих сношениях ходили слухи давно. По-видимому, для Есенина настал, наконец, момент отчитаться перед советскими властями по этому делу и положить предел слухам. (Возможно, что это было как раз тогда, когда разыгралась история с антисоветскими дебошами Есенина). Так ли, иначе ли, – Есенину на сей раз пришлось быть более откровенным. И хотя он отнюдь не был откровенен до конца, все же мы имеем признание довольно существенное.

«В 1916 году был призван на военную службу», – пишет Есенин. «При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам. Жил в Царском, недалеко от Разумника-Иванова. По просьбе Ломана, однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивы, но очень грустны. Я ей ответил, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и прочее».

Тут, несомненно, многое сказано – и многое затушевано. Начать с того, что покровительство адъютанта императрицы ни простому деревенскому парню, ни русскому поэту получить было не так легко. Не с улицы же Есенин пришел к Ломану. Несомненно, были какие-то связующие звенья, а главное обстоятельства, в силу которых Ломан счел нужным принять участие в судьбе Есенина. Неправдоподобно и то, что стихи читались императрице просто «по просьбе Ломана». По письмам императрицы к государю мы знаем, в каком болезненно-нервном состоянии находилась она в 1916 году и как старалась оттолкнуть от себя все, на чем не было санкций «Друта» или его кругов. Ей было во всяком случае не до стихов, тем более – никому неведомого Есенина. В те дни и вообще-то получить у нее аудиенцию было трудно, – а тут вдруг выходит, что Есенина она сама приглашает. В действительности, конечно, было иначе: это чтение устроили Есенину лица, с которыми он был так или иначе связан, и которые были близки к императрице... Есенин довольно наивным приемом пытается отвести мысль читателя от этих царско-сельских кружков: он, как-то вскользь, бросает фразу о том, что жил в Царском «недалеко от Разумника-Иванова». Жил-то недалеко, но общался далеко не с одним Разумником-Ивановым.

Далее Есенин пишет: «Революция застала меня на фронте, в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя». Это уж решительно ни на что не похоже. Во-первых, вряд ли можно было угодить в дисциплинарный батальон за отказ написать стихи в честь царя: к счастью или к несчастью, писанию или неписанию стихов в

честь Николая II не придавали такого значения. Во-вторых же (и это главное) трудно понять, почему Есенин считал невозможным писать стихи в честь царя, но не только читал стихи царице, а и посвящал их ей. Вот об этом последнем факте он тоже умолчал. Между тем, летом 1918 г. один московский издатель, библиофил и любитель книжных редкостей, предлагал мне купить у него или выменять раздобытый окольными путями корректурный оттиск второй есенинской книги «Голубень». Книга эта вышла уже после февральской революции, но в урезанном виде. Набиралась же она еще в 1916 году, и полная корректура содержала целый цикл стихов, посвященных императрице. Не знаю, был ли в конце 1916 – в начале 1917 года Есенин на фронте, но несомненно, что получить разрешение на посвящение стихов императрице было весьма трудно – и уж во всяком случае, разрешение не могло быть дано солдату дисциплинарного батальона.

Один из советских биографов Есенина, некто Георгий Устинов, по-видимому хорошо знавший Есенина, историю о дисциплинарном батальоне рассказывает, хоть и очень темно и, видимо, тоже не слишком правдиво, но все же как будто ближе к истине. Отметив, что литературное рождение Есенина было «в грозе и буре патриотизма», и что оно пришлось «кстати» для «общества *распутинской складки*», Устинов рассказывает, как во время войны Есенин по заказу каких-то кутящих офицеров принужден был писать какие-то стихи.

О том, что дело шло о стихах в честь государя, Устинов умалчивает, а затем прибавляет, что когда, «юноша-поэт взбунтовался, ему была указана прямая дорога в дисциплинарный батальон». Это значит, конечно, что за какой-то «бунт», может быть под пьяную руку, офицеры попугали Есенина дисциплинарным батальоном, которого он, по свидетельству Устинова, «избежал». Надо думать, что впоследствии, будучи вынужден поведать большевикам о своих придворных чтениях, Есенин припомнил эту угрозу и, чтобы уравновесить впечатление, выдал ее за действительную отправку в дисциплинарный батальон.

он. Таким образом, он выставлял себя как бы даже «революционером».

Излагая дальнейшую жизнь Есенина, Устинов рассказывает, что при Временном Правительстве Есенин сблизился с эсерами, а после октября «повернулся лицом к большевицким Советам». В действительности таким перевертнем Есенин не был. Уже пишучи патриотические стихи и читая их в Царском, он в той или иной мере был близок к эсерам. Недаром, уверяя, будто отказался воспеть императора, он говорит, что «искал поддержки в Иванове-Разумнике». Но дело все в том, что Есенин не двурушничал, не страховал свою личную карьеру и там, и здесь, – а вполне последовательно держался ключевской тактики. Ему просто было безразлично, откуда пойдет революция, сверху или снизу. Он знал, что в последнюю минуту примкнет к тем, кто первый подожжет *Россию*; ждал, что из этого пламени фениксом, жаром-птицею, взлетит мужицкая *Русь*. После февраля он очутился в рядах эсеров. После раскола эсеров на правых и левых – в рядах левых там, где «крайнее», с теми, у кого в руках, как ему казалось, больше горючего материала. Программные различия были ему неважны, да, вероятно, и мало известны. Революция была для него лишь прологом гораздо более значительных событий. Эсеры (безразлично, правые или левые), как позже большевики, были для него теми, кто расчищает путь мужику и кого этот мужик в свое время одинаково сметет прочь. Уже в 1918 году, был он на каком-то большевицком собрании и приветливо улыбался решительно всем – кто бы и что бы ни говорил. Потом желтоволосый мальчик сам возымел желание сказать слово... и сказал:

– Революция... это ворон... ворон, которого мы выпускаем из своей головы... на разведку... Будущее больше...

В автобиографии 1922 года он написал: «В Р.К.П. я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее».

«Левее» значило для него – дальше, позже, *за* большевиками, *над* большевиками. Чем «левее» – тем лучше.

Если припомним круг представлений, с которыми некогда явился Есенин в Петербург (я уже говорил, что они им скорее ощущались, чем сознавались), то увидим, что после революции они у него развивались очень последовательно, хотя, быть может, и ничего не выиграли в ясности.

Небо – корова. Урожай – телок. Правда земная – воплощение небесной. Земное так же свято, как небесное, но лишь постольку, поскольку оно есть чистое, беспримесное продолжение изначального космогонического момента. Земля должна оставаться лишь тем, чем она создана: произрасталищем. Привнесение чего бы то ни было сверх этого – искажение чистого лика земли, помеха непрерывно совершающемуся воплощению неба на земле. Земля – мать, родящая от неба. Единственное религиозно правое делание – помощь при этих родах, труд возле земли, земледелание, земледелие.

Сам Есенин заметил, что образ телка – урожая у него «сорвался с языка». Вернувшись к этому образу уже после революции, Есенин внес существенную поправку. Ведь телок рождается от коровы, как урожай от земли. Следовательно, если ставить знак равенства между урожаем и телком, то придется его поставить и между землей и коровой. Получится новый образ: земля – корова. Образ древнейший, не Есениным созданный. Но Есенин как-то сам, собственным путем на него набрел, а набредя – почувствовал, что это в высшей степени отвечает самым основам его мироощущения. Естественно, что при этом первоначальная формула, небо корова, должна была не то, чтобы вообще отпасть, но временно видоизмениться. (Впоследствии мы узнаем, что так и случилось: Есенин к ней вернулся).

*Россия* для Есенина – *Русь*, та плодородящая земля, родина, на которой работали его прадеды и сейчас работают его дед и отец. Отсюда простейшее отождествление: если земля – корова, то все признаки этого понятия могут быть перенесены на понятие родина, и любовь к родине олицетворится в любви к коро-

ве. Этой корове и несет Есенин благоую весть о революции, как о предшественнице того, что уже «больше революции»:

О, родина, счастливый  
И неисходный час!  
Нет лучше, нет красивей  
Твоих коровьих глаз.

Процесс революции представляется Есенину, как смешение неба с землей, совершаемое в грозе и буре:

Плечами трясем мы небо,  
Руками зыбим мрак,  
И в тощй колос хлеба  
Вдыхаем звездный знак.

О Русь, о степь и ветры,  
И ты, мой отчий дом!  
На золотой повети  
Гнездится вешний гром.

Овсом мы кормим бурю,  
Молитвой поим дол,  
И пашню голубую  
Нам пашет разум-вол.

Грядущее, то, что «больше революции», – есть уже рай на земле, и в этом раю – мужик:

Осанна в вышних!  
Холмы поют про рай.  
И в том раю я вижу  
Тебя, мой отчий край.

Под Маврикийским дубом  
Сидит мой рыжий дед,  
И светит его шуба  
Горохом частых звезд.

И та кошачья шапка,  
Что в праздник он носил,  
Глядит, как месяц, зябко  
На снег родных могил.

Все, что в 1917–1918 гг. левыми эсерами и большевиками выдавалось за «контрреволюцию», было, разумеется, враждебно Есенину. Временное Правительство и Корнилов, Учредительное Собрание и монархисты, меньшевики и банкиры, правые эсеры и помещики, немцы и французы, – все это одинаково была «тидра», готовая поглотить загоравшуюся «Звезду Востока». Возглашая, что

В мужичьих яслях  
Родилось пламя  
К миру всего мира, –

Есенин искренно верил, например, что именно Англия особенно злоумышляет против:

Сгинь ты, английское юдо,  
Расплещися по морям!  
Наше северное чудо  
Не постичь твоим сынам!

Ему казалось, что Россия страдает, потому темные силы на нее ополчились:

Господи, я верую!  
Но введи в Свой рай  
Дождевыми стрелами  
Мой пронзенный край.

Так начинается поэма «Пришествие». Она примечательна в творчестве Есенина. В дальнейших строках Русь ему представляется тем местом, откуда приходиться в мир последняя истина:

За горой нехоженой,  
В синеве долин,  
Снова мне, о Боже мой,  
Предстает твой сын.

По тебе томлюся я  
Из мужичьих мест;  
Из прозревшей России  
Он несет свой крест.

Дале, силы и события, которые, как сдается Есенину, мешают пришествию истины, даны им в образе воинов, бичующих Христа, отрекающегося Симона Петра, предающего Иуды и, наконец, Голгофы. Казалось бы, дело идет с несомненностью о Христе. В действительности это не так. Если мы внимательно перечтем революционные поэмы Есенина, предшествующие «Инонии», то увидим, что все образы христианского мира здесь даны в измененных (или искаженных) видах, в том числе образ самого Христа. Это опять, как и в ранних стихах, происходит оттого, что Есенин пользуется евангельскими именами, произвольно вкладывая в них свое содержание. В действительности, в полном согласии с основными началами есенинской веры, мы можем расшифровать его псевдохристианскую терминологию, и получим следующее:

Приснодева = земле = корове = Руси мужицкой.  
Бог – отец = небу = истине.  
Христос = сыну неба и земли = урожаю = телку =  
= воплощению небесной истины = Руси грядущей.

Для есенинского Христа распятие есть лишь случайный трагический эпизод, которому лучше бы не быть и которого *могло бы* не быть, если бы не «контрреволюция». Примечательно, что в «Пришествии» подробно описаны бичевание, отречение Петра и предательство Иуды, а самое распятие, то есть хоть и временное, но полное торжество врагов, – только робко и вскользь упомянуто: это именно потому, кто контрреволюция, с которой,

так сказать, как с натуры, Есенин писал муки *своего* Христа – в действительности ни секунды не торжествовала. Так что, в сущности, *есенинский* Христос и не распят: распятие упомянуто ради полноты аналогий, для художественной цельности, но – вопреки исторической и религиозной правде (имею в виду религию Есенина).

Потому-то «Пришествие» и кончается как будто парадоксальным, но для Есенина вполне последовательным образом:

Холмы поют о чуде,  
Про рай звенит песок.  
О, верю, верю – будет  
Телиться твой восток!

В моря овса и гречи  
Он кинет нам телка...  
Но долог срок до встречи,  
А гибель так близка!

т. е. верю, что постреволюция будет, но боюсь контрреволюции.

Потому и понятно есенинское восклицание в начале следующей поэмы:

Облаки лают,  
Ревет златозубая высь...  
Пою и взываю:  
Господи, отелись!

Последний стих в свое время вызвал взрыв недоумения и негодования. И то, и другое напрасно. Нечего было недоумевать, ибо Есенин даже не вычурно, а с величайшей простотой, с точностью, доступной лишь крупным художникам, высказал свою главную мысль. Негодовать было тоже напрасно, или, по крайней мере, поздно, потому что Есенин обращался к своему языческому богу – с верою и благочестием. Он говорил: «Боже мой, воплоти свою правду в Руси грядущей». А что он узурпи-

ровал образы и имена веры Христовой – этим надо было возмущаться гораздо раньше, при первом появлении не Есенина, а Клюева.

Несомненно, что и телок есенинский, как ни неприятно это высказать, есть пародия Агнца. Агнец – закланный, телок же благополучен, рыж, сыт и обещает благополучие и сытость:

От утра и от полудня  
Под поющих в небе гром,  
Словно ведра, наши будни  
Он наполнит молоком.

И от вечера до ночи,  
Незакатный славя край,  
Будет звёздами пророчить  
Среброзлачный урожай.

Таково будет царство телка. И оно будет – новая Русь, преобразенная, иная: не Русь, а *Июния*.

\* \* \*

Прямых проявлений вражды к христианству в поэзии Есенина до «Июнии» не было, – потому что и не было к тому действительных оснований. По-видимому, Есенин даже считал себя христианином. Самое для него ценное, вера в высшее назначение мужицкой Руси, и в самом деле могла ужиться не только с его полуязычеством, но и с христианством подлинным. Если и сознавал Есенин кое-какие свои расхождения, то только с христианством историческим. При этом он, разумеется, был уверен, что заблуждения исторического христианства ему хорошо известны и что он, да Клюев, да еще кое-кто очень даже способны вывести это христианство на должный путь. Что для этого надо побольше знать и в истории, и в христианстве, – с этим он не считался, как вообще не любят считаться с такими вещами даровитые русские люди. Полагался он больше на связь с «народом» и с «землей», на твердую уверенность, что «народ» и «земля» это и суть источники истины, да еще на свою интуицию,

которою обладал в сильной степени. Но интуиция бесформенна, несвязна и противоречива. Отчасти чувствуя это, за связью, за оформлением шел Есенин к другим. В поисках мысли, которая стройно бы облекла его чувство, – подпадал под чужие влияния.

В 1917 году влияние Клюева, по существу близкого Есенину, сменилось левозэсеровским. Тут Есенину объяснили, что грядущая Русь, мечтавшаяся ему, это и есть новое государство, которое станет тоже на религиозной основе, но не языческой и не христианской, а на социалистической: не на вере в спасающих богов, а на вере в самоустроенного человека. Объяснили ему, что «есть Социализм и социализм». Что социализм с маленькой буквы – только социально-политическая программа, но есть и Социализм с буквы заглавной: он является «религиозной идеей, новой верой и новым знанием, идущим на смену знанию и старой вере христианства... Это видят, это знают лучшие даже из профессиональных христианских богословов». «Новая вселенская идея (Социализм) будет динамитом, она раскует цепи, еще крепче прежнего заклепанные христианством на теле человечества». «В христианстве страданиями одного Человека спасался мир: в Социализме грядущем страданиями мира спасен будет каждый человек».

Эти цитаты взяты из предисловия Иванова-Разумника к есенинской поэме. Хронологически статья писана после «Инонии», но внутренняя последовательность их, конечно, обратная. Не «Инония» навела Иванова-Разумника на высказанные в его статье новые или не новые мысли, а «Инония» явилась ярким поэтическим воплощением всех этих мыслей, привитых Есенину Ивановым-Разумником.

Не утрашуся гибели,  
Ни копий, ни стрел дождей, –  
Так говорит по Библии  
Пророк Есенин Сергей.

Тут Есенин заблуждался. «Инонию» он писал лишь в смысле некоторых литературных приемов по Библии. По существу

же вернее было сказать не «по Библии», а «по Иванову-Разумнику».

Есенин, со своей непосредственностью, перестарался. Поэма получилась открыто антихристианская и грубокощунственная. По каким-то соображениям Иванов-Разумник потом старался затушевать и то, и другое, свалив с большой головы на здоровую. Он уверяет, что Есенин «борется» не с Христом, а с тем лживым подобием его, с тем «Анти-Христом», под властной рукой которого двадцать (?) веков росла и ширилась историческая церковь. По Иванову-Разумнику выходит, что они-то с Есениным и пекутся о вере Христовой. Правда, он тут же и проговаривается, что эта вера им дорога только как предшественница большей истины, грядущего Социализма, который и ее самое окончательно исправит и тем самым... упразднит, чтобы отныне мир больше уж не спасался «страданиями одного *Человека*»... нет уж, честное антихристианство Есенина в «Инонии» больше располагает к себе, чем его Ивановская интерпретация.

Не будем играть словами. Есенин в «Инонии» отказался от христианства вообще, не только от «исторического», а то, что свою истину он продолжал именовать Иисусом, только «без креста и мук», – с христианской точки зрения было наиболее кощунственно. Отказался, быть может, с наивной легкостью, как перед тем наивно считал себя христианином, – но это не меняет самого факта.

Другое дело – литературные достоинства «Инонии». Поэма очень талантлива. Но для наслаждения ее достоинствами надобно в нее погрузиться, обладая чем-то вроде прочного водолазного наряда. Только запасшись таким нарядом, читатель духовно-безнаказанно сможет разглядеть соблазнительные красоты «Инонии».

\* \* \*

«Инония» была лебединой песней Есенина, как поэта революции и чаемой новой правды. Заблуждался он или нет, сходились или не сходились в его писаниях логические концы с

концами, худо ли, хороши ли, — как ни судить, а несомненно, что Есенин высказывал, «выпевал» многое из того, что носилось в тогдашнем катастрофическом воздухе. В этом смысле, если угодно, он действительно был «пророком». Пророком своих и чужих заблуждений, несбывшихся упований, ошибок, — но пророком. С «Инонией» он высказался весь, до конца. После нее, ему в сущности, сказать было нечего. Слово было за событиями. Инония реальная должна была настать — или не настать. По меньшей мере, Россия должна была к ней двинуться — или не двинуться.

Весной 1918 года я познакомился в Москве с Есениным. Он как-то физически был приятен. Нравилась его стройность; мягкие, но уверенные движения; лицо не красивое, но миловидное. А лучше всего была его веселость, легкая, бойкая, но не шумная и не резкая. Он был очень ритмичен. Смотрел прямо в глаза и сразу производил впечатление человека с правдивым сердцем, наверное — отличнейшего товарища.

Мы не часто встречались и почти всегда — на людях. Только раз прогуляли мы по Москве всю ночь, вдвоем. Говорили, конечно, о революции, но в памяти остались одни незначительные отрывки. Помню, что мы простились, уже не рассвете, у дома, где жил Есенин, на Тверской, возле Постниковского пассажа. Прощались довольные друг другом. Усердно звали друг друга в гости — да так оба и не собрались. Думаю — потому, что Есенину был не по душе круг моих друзей, мне же — его окружение.

Вращался он тогда в дурном обществе. Преимущественно это были молодые люди, примкнувшие к левым эсерам и большевикам, довольно невежественные, но чувствовавшие решительную готовность к переустройству мира. Философствовали непрерывно и непременно в экстремистском духе. Люди были широкие. Мало ели, но много пили. Не то пламенно веровали, не то пламенно кощунствовали. Ходили к проституткам проповедывать революцию — и били их. Основным образом длились на два типа. Первый — мрачный брюнет с большой бородой. Второй — белокурый юноша с длинными волосами и серафи-

мическим взором, слегка «нестеровского» облика. И те, и другие готовы были ради ближнего отдать последнюю рубашку и загубить свою душу. Самого же ближнего – тут же расстрелять, если того «потребуется революция». Все писали стихи и все имели непосредственное касательство к ЧК. Кое-кто из серафимических блондинов позднее прославился именно на почве расстреливания. Думаю, что Есенин знался с ними из небрежливости любопытства и из любви к крайностям, каковы бы они ни были.

Помню такую историю. Тогда же, весной 1918 г., Алексей Толстой вздумал справлять именины. Созвал всю Москву литературную: «Сами приходите и вообще публику приводите». Собралось человек сорок, если не больше. Пришел и Есенин. Привел бородатого брюнета в кожаной куртке. Брюнет прислушивался к беседам. Порою вставлял словцо – и не глупое. Это был Блюмкин, месяца через три убивший графа Мирбаха, германского посла. Есенин с ним, видимо, дружил. Была в числе гостей поэтесса К. Приглянулась она Есенину. Стал ухаживать. Захотел щегольнуть – и простодушно предложил поэтессе:

– А хотите поглядеть, как расстреливают? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою.

Кажется, жил он довольно бестолково. В ту пору сблизился и с большевицкими «сферами».

Еще ранее, чем «Инонию», написал он стихотворение «Товарищ», вещь очень слабую, но любопытную. В ней он впервые расширил свою «социальную базу», выведя рабочих. Рабочие вышли довольно неправдоподобны, но важно то, что в число строителей новой истины включался теперь тот самый пролетариат, который вообще трактовался крестьянскими поэтами, как «хулиган» и «шпана». Перемена произошла с разительной быстротой и неожиданностью, что опять-таки объясняется теми влияниями, под которые подпал Есенин.

В начале 1919 года вздумал он записаться в большевицкую партию. Его не приняли, но намерение знаменательно. Понимал ли Есенин, что для пророка того, что «больше революции»,

вступление в РКП было бы огромнейшим «понижением», что из созидателей Инонии он спустился бы до роли рядового устроителя Р.С.Ф.С.Р.? Думаю – не понимал. В ту же пору с наивной гордостью он воскликнул: «Мать моя родина! Я большевик».

«Пророческий» период кончился. Есенин стал смотреть не в будущее, а в настоящее.

\* \* \*

Если бы его приняли в РКП, из этого бы не вышло ничего хорошего. Увлечение пролетариатом и пролетарской революцией оказалось непрочно. Раньше, чем многие другие, соблазненные дурманом военного коммунизма, он увидел, что дело не идет не только к Социализму с большой буквы, но даже и с самой маленькой. Понял, что на пути в Инонию большевики не попугачики. И вот, он бросает им горький и ядовитый упрек:

Веслами отрубленных рук  
Вы гребете в страну грядущего!

У него еще не хватает мужества признать, что Инония не состоялась и не состоится. Ему еще хочется надеяться, он вновь обращает все упования на деревню. Он пишет «Пугачева», а затем едет куда-то в деревню – прикоснуться к земле, занять у нее новых сил.

Деревня не оправдала надежд. Есенин увидел, что она не такова, какой он ее воспел. Но, по слабости человеческой, он не захотел заметить внутренних, органических причин, по которым она и после «грозы и бури» не двинулась по пути к Инонии. Он валит вину на «город», на городскую культуру, которой большевики, по его мнению, отравляют деревянную Русь. Ему кажется, что виноват прибежавший из города автомобиль, трубящий в «погибельный рог». По какой-то иронии судьбы, только теперь, когда заводы и фабрики фактически остановились, он вдруг их заметил, и ему чудится, будто они слишком близко стали к деревне – и отравляют ее:

О, электрический восход,  
Ремней и труб глухая хватка,  
Се изб бревенчатый живот  
Трясет стальная лихорадка.

И промчавшийся поезд, за которым смешно и глупо гонится  
жеребенок, он проклинает:

Черт бы взял тебя, скверный гость!  
Наша песня с тобой не сживется.  
Жаль, что в детстве тебя не пришлось  
Утопить, как ведро в колоде.  
Хорошо им стоять и смотреть,  
Красить рты в жестяных поцелуях,  
Только мне, как псаломщику, петь  
Над родимой страной Аллилуйя.  
Оттого то, в сентябрьскую склень,  
На сухой и холодный сутлинок,  
Головой разможжась о плетень  
Облилась кровью ягод рябина.  
Оттого то вросла тужиль  
В переборы тальянки звонкой,  
И соломой пропахший мужик  
Захлебнулся лихой самогонкой.

Надвигающаяся власть города вызывает в нем безнадежность  
и озлобление:

Мир таинственный, мир мой древний,  
Ты, как втер, затих и присел,  
Вот сдавили за шею деревню  
Каменные руки шоссе.

Он сравнивает себя, «последнего поэта деревни» с затрав-  
ленным волком, который бросается на охотника:

Как и ты, я всегда наготове,  
И хоть слышу победный рожок,  
Но отпробует вражеской крови  
Мой последний смертельный прыжок.

Он вернулся в Москву в угнетенном состоянии. «Нет любви, ни к деревне, ни к городу». Избы и дома ему одинаково не милы. Ему хочется стать бродягой:

Оттого, что в полях забудыге  
Ветер громче поет, чем кому.

Он готов прикрыть свою скорбь юродством, чудачествами –

Оттого, что без этих чудачеств  
Я прожить на земли; не могу.

Так пророк несбывшихся чудес превращается в юродивого, но это еще не последнее падение. Последнее наступило, когда Есенин загулял, запил. Ему чудится, что вся Россия запила с горя, оттого же, отчего и он сам: оттого, что не сбылись ее надежды на то, что «больше революции», «левее большевиков»: оттого, что бывшее она сгубила, а к тому, о чем мечтала, – не приблизилась:

Снова пьют здесь, дерутся и плачут  
Под гармоники желтую грусть.  
Проклинают свои неудачи,  
Вспоминают московскую Русь.

И я сам, опустясь головою,  
Заливаю глаза вином,  
Чтоб не видеть лицо роковое,  
Чтоб подумать хоть миг об ином.

.....

Что-то злое во взорах безумных,  
Непокорное в громких речах.  
Жалко им тех дурашливых юных,  
Что сгубили свою жизнь сгоряча.

Где ж вы, те, что ушли далече?  
Ярко ль светят вам наши лучи?  
Гармонист спиртом сифилис лечит,  
Что в киргизских степях получил.

Нет, таких не подмять. Не рассеять.  
Беспабашность им гнилью дана.  
Ты Рассея моя... Рассея...  
Азиатская сторона!

С этой гнилью, с городскими хулиганами, Есенину все же легче, нежели с благополучными мещанами советской России. Теперь ему стали мерзки большевики и те, кто с ними. Опостытели бывшие приятели, занявшие боле или мене кровавые, но теплые места:

Я обманывать себя не стану,  
Залегла забота в сердце мглистом.  
Отчего прослыл я шарлатаном?  
Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я, и не грабил лесом,  
Не расстреливал несчастных по темницам.  
Я всего лишь уличный повеса,  
Улыбающийся встречным лицам.

Средь людей я дружбы не имею.  
Я иному покорился царству.  
Каждому здесь кобелю на шею  
Я готов отдать мой лучший галстук.

К опозорившим себя революционерам он не пристал, а от родной деревни отстал.

Да! теперь решено! Без возврата  
Я покинул родные поля.  
.....  
Я читаю стихи проституткам  
И с бандитами жарю спирт.

.....  
Я уж готов. Я робкий.  
Глянь на бутылок рать!  
Я собираю пробки  
Душу мою затыкать.

В литературе он примкнул к таким же кругам, к людям, которым терять нечего, к поэтическому босячеству. Есенина затащили в имажинизм, как затаскивали в кабаки. Своим талантом он скрашивал выступления бездарных имажинистов, они питались за счет его имени, как кабацкая голь за счет загулявшего богача.

Падая все ниже, как будто нарочно стремясь удариться о самое дно, прикоснуться к последней грязи тогдашней Москвы, он женился. На этой полосе его жизни я не буду останавливаться подробно. Она слишком общеизвестна. Свадебная поездка Есенина и Дункан превратилась в хулиганское «турне» по Европе и Америке, кончившееся разводом. Есенин вернулся в Россию. Начался его последний период, характеризуемый быстрой сменой настроений.

Прежде всего, Есенин, по-видимому, захотел успокоиться и очиститься от налипшей грязи. Зазвучала в нем грустная примиренность, покорность судьбе – и мысли, конечно, сразу обратились к деревне:

Я усталым таким еще не был.  
В эту серую морозь и слизь  
Мне приснилось Рязанское небо  
И моя непутевая жизнь.

.....  
И во мне, вот по тем же законам,  
Умиряется бешеный пыл.  
Но и все ж отношусь я с поклоном  
К тем полям, что когда-то любил.

В те края, где я рос под кленом,  
Где резвился на желтой траве,  
Шлю привет воробьям и воронам,  
И рыдающей в ночь сове.

Я кричу им в весенние дали:  
«Птицы милые, в синюю дрожь  
Передайте, что я отскандалил...»  
.....

Он пишет глубоко задушевное «Письмо к матери»:

Пишут мне, что ты, тая тревогу,  
Загрустила шибко обо мне.  
Что ты часто ходишь на дорогу  
В старомодном, ветхом шупуне.  
И тебе в вечернем синем мраке  
Часто видится одно и то ж:  
Будто кто-то мне в кабацкой драке  
Саданул под сердце финский нож.  
Не буди того, что отмечталось,  
Не волнуй того, что не сбылось, —  
Слишком раннюю утрату и усталость  
Испытать мне в жизни привелось.

Наконец, он и в самом деле поехал в родную деревню, которой не видал много лет. Тут ждало его последнее разочарование — самое тяжкое, в сравнении с которым все бывшие раньше — ничто.

\* \* \*

Перед самой революцией, в декабре 1916 года, крестьянский поэт Александр Ширяевец, ныне тоже покойный, прислал мне свой сборник «Запевки», с просьбой высказать о нем мое мнение. Я прочел книжку и написал Ширяевцу, указав откровенно, что не понимаю, как могут «писатели из народа», знающие мужика лучше, чем мы, интеллигенты, изображает этого мужика каким-то сказочным добрым молодцем, вроде, Чурилы Пленковича, в шелковых лапотках. Ведь, такой мужик, какого живописуют крестьянские поэты, — вряд ли когда и был, — и уж во всяком случае, больше его нет и не будет. 7-го января 1917 года Ширяевец мне ответил таким письмом:

«Многоуважаемый Владислав Фелицианович! Очень благодарен Вам за письмо Ваше. Напрасно думаете, что буду “гневаться” за высказанное Вами, наоборот, рад, что слышу искренние слова.

Скажу кое-что в свою защиту. Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет, но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет?.. И что прекраснее: прежний Чурила в шелковых лапотках, с припевками, да присказками, или нынешнего дня Чурила, в американских щиблетах, с Карлом Марксом или “Летописью” в руках, захлебывающийся от открываемых там истин?.. Ей-Богу, прежний мне милее!.. Знаю, что там, где были русалочьи омуты, скоро поставят купальни для лиц обоего пола, со всеми удобствами, но мне все же милее омуты, а не купальни... Ведь, не так-то легко расстаться с тем, чем жили мы несколько веков! Да и как не уйти в старину от теперешней неразберихи, ото всех этих истерических воплей, называемых торжественно «лозунгами»... Пусть уж о прелестях современности пишет Брюсов, а я поищу Жар-Птицу, пойду к Тургеневским усадьбам, несмотря на то, что в этих самых усадьбах предков моих били смертным боем. Ну, как не очароваться такими картинками?.. (Далее следует полностью стихотворение С. Клычкова «Мельница в лесу», которое опускаю. В. Х.)

И этого не будет! Придет предприимчивый человек и построит (уничтожив мельницу) какой-нибудь “Гранд-отель”, а потом тут вырастет город с фабричными трубами... И сейчас уж у лазоревго плеса сидит стриженная курсистка, или с Вейнингером в руках, или с “Ключами счастья”.

Извините, что отвлекаюсь, Владислав Фелицианович. Может быть, чушь несу я страшную, это все потому, что не люблю я современности окаянной, уничтожившей сказку, а без сказки какое житье на свете?...

Очень ценны мысли Ваши, и согласен я с ними, но пока топчусь на старом месте, около мельниковой дочери, а не стриженной курсистки. О современном, о будущем пусть поют

боле сильные голоса, мой слаб для этого...» (Конец письма опускаю: он не имеет отношения к данной теме. В. Х.)

Когда Ширяевец мне писал: «Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет», – знал ли он, что в действительности не только скоро не будет, а уже нет, а вернее, совершенно такого былинно-песенного «народа» никогда и не было? Думаю, знал, – но старался эту мысль гнать от себя: жил верою в идеального мужика, в «сказку», «а без сказки, какое житье на свете?».

Ширяевец не напрасно упомянул Есенина: весь пафос есенинской поэзии был основан на вере в этот воображаемый «народ». И Есенин жил «в сказке», лучшей страницей которой была Инония, светлый град, воздвигаемый мужиком.

Первый удар мечте нанесен был еще до женитьбы Есенина. Но мы уже видели, что тогда Есенин не отважился признать правду: все несоответствие между мечтой и действительностью он не только свалил на вторжение города в жизнь деревни, но и продолжал верить, будто это вторжение лишь механично и ничего не меняет в сущности деревни. Ему даже мерещилось, что придет пора, – деревня захочет и сумеет за себя постоять. Теперь, после долгого отсутствия, вновь приехав в деревню, Есенин увидел всю правду. «Вновь посетив родимые места», он с ужасом замечает:

Какое множество открытий  
За мною следовало по пятам!

Сперва он не узнает местности. Потом, – не сразу находит дом матери. Потом, встретив прохожего, не узнает в нем родного деда, того самого, которого он некогда так ясно себе представлял сидящим в раю «под маврикийским дубом». Потом узнает, что сестры стали комсомолками, что «на церкви комиссар снял крест». Пришли домой – он видит: «на стенке календарный Ленин». И вот –

Чем мать и дед грустней и безнадежней,  
Тем веселей сестры смеется рот.

Сестра же, раскрыв, как Библию, пузатый “Капитал”, – “разводит” ему “о Марксе, Энгельсе”:

Ни при какой погоде  
Я этих книг, конечно, не читал.

И слушая сестрины речи, он вспоминает, как еще при его приближении к дому –

По-байроновски, наша собачонка  
Меня встречает лаем у ворот.

Как видим, дед и мать, безнадежно глядящие на сестер, представляются Есенину последними носителями мужицкой правды: Есенин утешается тем, что хоть в прошлом – эта правда все же существовала. Но в стихотворении «Русь советская», получившем такую широкую известность, Есенин идет еще дальше: он прямо говорит, что ни в чьих глазах не находит себе приюта, – ни у молодых, ни даже у стариков. Той Руси деревянной, из которой должна была возникнуть Инония, – нет. Есть – грубая, жестокая, пошлая «Русь советская», распевающая «агитки Бедного Демьяна». И Есенину впервые является мысль о том, что не только нет, но, может быть, никогда и не было той Руси, о которой он пел, что его вера в свое посланничество от «народа» – была заблуждением:

Вот так страна! Какого ж я рожна  
Орал в стихах, что я с народом дружен?  
Моя поэзия здесь больше не нужна,  
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Он прощается с деревней, обещая смиренно «принять» действительность, как она есть. Теперь кончены не только мечты об Инонии (это случилось раньше) – теперь оказалось, что Инонии неоткуда было и взяться: мечтой оказалось сама идеальная, избяная Русь.

Но смирение Есенина оказалось непрочно. Вернувшись в Москву, глубоко погрузясь в нэповское болото (заграницу уехал он в самом начале нэпа), ощутив всю позорную разницу между большевицкими лозунгами и советской действительностью даже в городе, – Есенин впал в злобу. Он снова запил, и его пьяные скандалы сперва приняли форму антисемитских выходок. Тут отчасти заговорила в нем старая закваска, и злоба Есенина вылилась в самой грубой и примитивной форме. Он (и Клычков, принимавший участие в этих скандалах), были привлечены к общественному суду, который состоялся в так называемом «Доме Печати». О бестактности и унижительности, которыми сопровождался суд, сейчас рассказывать преждевременно. Есенина и Клычкова «простили». Тогда начались кабацкие выступления характера антисоветского. Один из судей, Андрей Соболев, впоследствии тоже покончивший с собой, рассказывал мне в начале 1925 г., в Италии, что так «крыть» большевиков, как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в Советской России; всякий, сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно был бы расстрелян. Относительно же Есенина был только отдан в 1924 году приказ по милиции – доставлять в участок для вытрезвления и отпустить, не давая делу дальнейшего хода. Вскоре все милиционеры центральных участков знали Есенина в лицо. Конечно, приказ был отдан не из любви к Есенину и не в заботах о судьбе русских писателей, а из соображений престижа: не хотели подчеркивать и официально признавать, «расхождения» между «рабочекрестьянской» властью и поэтом, имевшим репутацию крестьянского.

Однако и скандалы сменились другими настроениями. Есенин пытался ездить, побывал на Кавказе, написал о нем цикл стихов, но это не дало облегчения. Как бывало и раньше, захотел он «повернуть к родному краю». Снова пытался смириться: отказавшись и от Инонии, и от Руси, – принять и полюбить Союз Советских Республик, каков он есть. Он добросовестно даже засел за библию СССР, за Марксов «Капитал», – и не выдержал, бросил. Пробовал уйти в личную жизнь, – но и здесь,

видимо, не нашел опоры. Чуть ли не каждое его стихотворение с некоторых пор стало кончаться предсказанием близкой смерти. Наконец, он сделал последний, действенный вывод из тех стихов, которые написал давно, когда правда о несостоявшейся Инонии только еще начинала ему открываться:

– Друг мой, друг мой! Прозревшие вежды  
Закрывает одна лишь смерть.

Есенин прозрел окончательно, но видеть того, что творится вокруг, не хотел. Ему оставалось одно – умереть.

\* \* \*

История Есенина есть история заблуждений. Идеальной мужицкой Руси, в которую верил он, не было. Грядущая Инония, которая должна была сойти с неба на эту Русь, – не сошла и сойти не могла. Он поверил, что большевицкая революция есть путь к тому, что «больше революции», а она оказалась путем к последней мерзости – к нэпу. Он думал, что верует во Христа, а в действительности не веровал, но, отрекаясь от Него и кощунствуя, пережил всю муку и боль, как если бы веровал в самом деле. Он отрекся от Бога во имя любви к человеку, а человек только и сделал, что снял крест с церкви да повесил Ленина вместо иконы и развернул Маркса, как Библию.

И, однако, сверх всех заблуждений и всех жизненных падений Есенина остается что-то, что глубоко привлекает к нему. Точно сквозь все эти заблуждения проходит какая-то огромная, драгоценная правда. Что же так привлекает к Есенину и какая это правда? Думаю, ответ ясен. Прекрасно и благородно в Есенине то, что он был бесконечно правдив в своем творчестве и пред своею совестью, что во всем доходил до конца, что не побоялся сознать ошибки, приняв на себя и то, на что соблазнили его другие, – и за все захотел расплатиться ценой страшной. Правда же его – любовь к родине, пусть незрячая, но великая. Ее исповедовал он даже в облике хулигана:

Я люблю родину,  
Я очень люблю родину!

Горе его было в том, что он не сумел назвать ее: он воспевал и бревенчатую Русь, и мужицкую Россию, и социалистическую Инонию, и азиатскую Рассею, пытался принять даже СССР, — одно лишь верное имя не пришло ему на уста: *Россия*. В том и было его главное заблуждение, не злая воля, а горькая ошибка. Тут и завязка и развязка его трагедии.

*Chaville. Февраль 1926 г.*

## *Горький*

Я помню отчетливо первые книги Горького, помню обывательские толки о новоявленном писателе-босяке. Я был на одном из первых представлений «На дне» и однажды написал напыщенное стихотворение в прозе, навеянное «Песнью о соколе». Но все это относится к поре моей ранней юности. Весной 1908 года моя приятельница Нина Петровская была на Капри и видела на столе у Горького мою первую книгу стихов. Горький спрашивал обо мне, потому что читал все и интересовался всеми. Однако долгие годы меж нами не было никакой связи. Моя литературная жизнь протекала среди людей, которые Горькому были чужды и которым Горький был так же чужд.

В 1916 году в Москву приехал Корней Чуковский. Он сказал мне, что возникшее в Петербурге издательство «Парус» собирается выпускать детские книги, и спросил, не знаю ли я молодых художников, которым можно заказать иллюстрации. Я назвал двух-трех москвичей и дал адрес моей племянницы, жившей в Петербурге. Ее пригласили в «Парус», там она познакомилась с Горьким и вскоре сделалась своим человеком в его шумном, всегда многолюдном доме.

Осенью 1918 года, когда Горький организовал известное издательство «Всемирная Литература», меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением этого предприятия. Приняв предложение, я счел нужным познакомиться с Горьким. Он вышел ко мне, похожий на ученого китайца: в шелковом красном халате, в пестрой шапочке, скуластый, с большими очками на конце носа, с книгой в руках. К моему удивлению, разговор об издательстве был ему явно неинтересен. Я понял, что в этом деле его имя служит лишь вывеской.

В Петербурге я задержался дней на десять. Город был мертв и жуток. По улицам, мимо заколоченных магазинов, лениво ползли немногочисленные трамваи. В нетопленных домах пахло воблой. Электричества не было. У Горького был керосин. В его столовой на Кронверкском проспекте горела большая лампа. Каждый вечер к ней собирались люди. Приходили

А. Н. Тихонов и З. И. Гржебин, ворочавшие делами «Всемирной Литературь». Приезжал Шаляпин, шумно ругавший большевиков. Однажды явился Красин – во фраке, с какого-то «дипломатического» обеда, хотя я не представляю себе, какая тогда могла быть дипломатия. Выходила к гостям Мария Федоровна Андреева со своим секретарем П. П. Крючковым. Появлялась жена одного из членов императорской фамилии – сам он лежал больной в глубине горьковской квартиры. Большой портрет Горького – работа моей племянницы – стоял в комнате больного. У него попросили разрешения меня ввести. Он протянул мне горячую руку. Возле постели рычал и бился бульдог, завернутый в одеяло, чтобы он на меня не бросился.

В столовой шли речи о голоде, о гражданской войне. Барабани пальцами по столу и глядя поверх собеседника, Горький говорил: «Да, плохи, плохи дела», – и не понять было, чьи дела плохи и кому он сочувствует. Впрочем, старался он обрывать эти разговоры. Тогда садились играть в лото и играли долго. Ненастной петербургскою ночью, под хлопанье дальних выстрелов, мы с племянницей возвращались к себе на Большую Монетную.

Вскоре после того Горький приехал в Москву. Правление Всероссийского Союза Писателей, недавно возникшего, поручило мне пригласить Горького в число членов. Он тотчас согласился и подписал заявление, под которым, по уставу, должна была значиться рекомендация двух членов правления. Рекомендацию подписали Ю. К. Балтрушайтис и я. Эта забавная бумага, вероятно, найдется в архиве Союза, если он сохранился.

Летом 1920 года со мной случилась беда. Обнаружилось, что одна из врачебных комиссий, через которую проходили призываемые на войну, брала взятки. Нескольких врачей расстреляли, а все, кто был ими освобожден, подверглись переосвидетельствованию. Я очутился в числе этих несчастных, которых новая комиссия сплошь признавала годными в строй, от страха не глядя уже ни на что. Мне было дано два дня срока, после чего предстояло прямо из санатория отправляться во Псков, а оттуда на фронт. Случайно в Москве очутился

Горький. Он мне велел написать Ленину письмо, которое сам отвез в Кремль. Меня еще раз освидетельствовали и, разумеется, отпустили. Прощаясь со мной, Горький сказал:

– Перебирайтесь-ка в Петербург. Здесь надо служить, а у нас можно еще писать.

Я послушался его совета и в середине ноября переселился в Петербург. К этому времени горьковская квартира оказалась густо заселена. В ней жила новая секретарша Горького Мария Игнатьевна Бенкендорф (впоследствии баронесса Будберг); жила маленькая студентка-медичка, по прозвищу Молекула, славная девушка, сирота, дочь давнишних знакомых Горького; жил художник Иван Николаевич Ракицкий; наконец, жила моя племянница с мужем. Вот это последнее обстоятельство и определило раз навсегда характер моих отношений с Горьким: не деловой, не литературный, а вполне частный, житейский. Разумеется, литературные дела возникали и тогда, и впоследствии, но как бы на втором плане. Иначе и быть не могло, если принять во внимание разницу наших литературных мнений и возрастов.

С раннего утра до позднего вечера в квартире шла толчея. К каждому ее обитателю приходили люди. Самого Горького осаждали посетители – по делам «Дома Искусства», «Дома Литераторов», «Дома Ученых», «Всемирной Литературы»; приходили литераторы и ученые, петербургские и приезжие; приходили рабочие и матросы – просить защиты от Зиновьева, всесильного комиссара Северной области; приходили артисты, художники, спекулянты, бывшие сановники, великосветские дамы. У него просили заступничества за арестованных, через него добывали пайки, квартиры, одежду, лекарства, жиры, железнодорожные билеты, командировки, табак, писчую бумагу, чернила, вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных, – словом все, чего нельзя было достать без протекции. Горький выслушивал всех и писал бесчисленные рекомендательные письма. Только однажды я видел, как он отказал человеку в просьбе: это был клоун Дельвари, который непременно хотел, чтобы Горький был крестным отцом его будущего ребенка.

Горький вышел к нему весь красный, долго тряс руку, откашливался и, наконец, сказал:

– Обдумал я вашу просьбу. Глубочайше польщен, понимаете, но к глубочайшему сожалению, понимаете, никак не могу. Как-то оно, понимаете, не выходит, так что уж вы простите великодушно.

И вдруг, махнув рукой, убежал из комнаты, от смущения не простившись.

Я жил далеко от Горького. Ходить по ночным улицам было утомительно и небезопасно: грабили. Поэтому я нередко оставался ночевать – мне стелили в столовой на оттоманке. Поздним вечером суэта стихала. Наступал час семейного чаепития. Я становился для Горького слушателем тех его воспоминаний, которые он так любил и которые всегда пускал в ход, когда хотел «шармировать» нового человека. Впоследствии я узнал, что число этих рассказов было довольно ограничено и что, имея всю видимость импровизации, повторялись они слово в слово из года в год. Мне, не раз попадались на глаза очерки людей, случайно побывавших у Горького, и я всякий раз смеялся, когда доходил до стереотипной фразы: «неожиданно мысль Алексея Максимовича обращается к прошлому, и он невольно отдается во власть воспоминаний». Как бы то ни было, эти ложные импровизации были сделаны превосходно. Я слушал их с наслаждением, не понимая, почему остальные слушатели друг другу подмигивают и один за другим исчезают по своим комнатам. Впоследствии – каюсь – я сам поступал точно так же, но в те времена мне были приятны ночные часы, когда мы оставались с Горьким вдвоем у остывшего самовара. В эти часы постепенно мы сблизились.

Отношения Горького с Зиновьевым были плохи и с каждым днем ухудшались. Доходило до того, что Зиновьев устраивал у Горького обыски и грозился арестовать некоторых людей, к нему близких. Зато и у Горького иногда собирались коммунисты, настроенные враждебно по отношению к Зиновьеву. Такие собрания камуфлировались под видом легких попок с участием посторонних. Я случайно попал на одну из них весной

1921 г. Присутствовали Лашевич, Ионов, Зорин. В конце ужина, с другого конца стола пересел ко мне довольно высокий, стройный, голубоглазый молодой человек в ловко сидевшей на нем гимнастерке. Он наговорил мне кучу лестных вещей и цитировал наизусть мои стихи. Мы расстались друзьями. На другой день я узнал, что это был Бакаев.

Вражда Горького с Зиновьевым (впоследствии сыгравшая важную роль и в моей жизни) закончилась тем, что осенью 1921 года Горький был принужден покинуть не только Петербург, но и советскую Россию. Он уехал в Германию. В июль 1922 г. обстоятельства личной жизни привели меня туда же. Некоторое время я прожил в Берлине, а в октябре Горький уговорил меня перебраться в маленький городок Saarow, близ Фюрстенвальде. Он там жил в санатории, а я в небольшом отеле возле вокзала. Мы виделись каждый день, иногда по два и по три раза. Весной 1923 г. я и сам перебрался в тот же санаторий. Сааровская жизнь оборвалась летом, когда Горький с семьей переехал под Фрейбург. Я думаю, что тут были кое-какие политические причины, но официально все объяснялось болезнью Горького.

Мы расстались. Осенью я ездил на несколько дней во Фрейбург, а затем, в ноябре, уехал в Прагу. Спустя несколько времени туда приехал и Горький, поселившийся в отеле «Беранек», где жил и я. Однако, обоих нас влекло захолустье, и в начале декабря мы переселились в пустой, занесенный снегом Мариенбад. Оба мы в это время хлопотали о визах в Италию. Моя виза пришла в марте 1924 г., и так как деньги мои были на исходе, то я поспешил уехать, не дожидаясь Горького. Проведя неделю в Венеции и недели три в Риме, я уехал отсюда 13 апреля – в тот самый день, когда Горький вечером должен был приехать. Денежные дела заставили меня прожить до августа в Париже, а потом в Ирландии. Наконец, в начале октября, мы съехались с Горьким в Сорренто, где и прожили вместе до 18 апреля 1925 года. С того дня я Горького уже не видал.

Таким образом, мое с ним знакомство длилось семь лет. Если сложить те месяцы, которые я прожил с ним под одною

кровлей, то получится года полтора, и потому я имею основание думать, что хорошо знал его и довольно много знаю о нем. Всего, что мне сохранила память, я не берусь изложить сейчас, потому что это заняло бы слишком много места и потому, что мне пришлось бы слишком близко коснуться некоторых лиц, ныне здравствующих. Последнее обстоятельство заставляет меня, между прочим, почти не касаться важной стороны в жизни Горького: я имею в виду всю область его политических взглядов, отношений и поступков. Говорить все, что знаю и думаю, я сейчас не могу, а говорить недомолвками не стоит. Я предлагаю вниманию читателей беглый очерк, содержащий лишь несколько наблюдений и мыслей, которые кажутся мне бесполезными для понимания личности Горького. Я даже решаюсь полагать, что эти наблюдения пригодятся и для понимания той стороны его жизни и деятельности, которой в данную минуту я не намерен касаться.

\* \* \*

Большая часть моего общения с Горьким протекла в обстановке почти деревенской, когда природный характер человека не заслонен обстоятельствами городской жизни. Поэтому я для начала коснусь самых внешних черт его жизни, повседневных его привычек.

День его начинался рано: он вставал часов в восемь утра и, выпив кофе и проглотив два сырых яйца, работал без перерыва до часу дня. В час полагался обед, который с послеобеденными разговорами растягивался часа на полтора. После этого Горького начинали вытаскивать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. После прогулки он снова кидался к письменному столу – часов до семи вечера. Стол всегда был большой, просторный, и на нем в идеальном порядке были разложены письменные принадлежности. Алексей Максимович был любитель хорошей бумаги, разноцветных карандашей, новых перьев и ручек – стило никогда не употреблял. Тут же находился запас папирос и пестрый набор мундштуков – красных, желтых, зеленых. Курил он много.

Часы от прогулки до ужина уходили по большей части на корреспонденцию и на чтение рукописей, которые присылались ему в несметном количестве. На все письма, кроме самых нелепых, он отвечал немедленно. Все присылаемые рукописи и книги, порой многотомные, он прочитывал с поразительным вниманием и свои мнения излагал в подробнейших письмах к авторам. На рукописях он не только делал пометки, но и тщательно исправлял красным карандашом описки и расставлял пропущенные знаки препинания. Так же поступал он и с книгами: с напрасным упорством усерднейшего корректора исправлял в них все опечатки. Случалось – он то же самое делал с газетами, после чего их тотчас выбрасывал.

Часов в семь бывал ужин, а затем – чай и общий разговор, который по большей части кончался игрою в карты: либо в 501 (говоря словами Державина, «по грошу в долг и без отдачи»), либо в бридж. В последнем случае происходило, собственно, шлепанье картами, потому что об игре Горький не имел и не мог иметь никакого понятия: он был начисто лишен комбинаторских способностей и карточной памяти. Беря или чаще отдавая тринадцатую взятку, он иногда угрюмо и робко спрашивая:

– Позвольте, а что были козыри?

Раздавался смех, на который он обижался и сердился. Сердился он и на то, что всегда проигрывал, но может быть именно по этой причине бридж он любил больше всего. Другое дело – партнеры его: они выискивали всяческие отговорки, чтобы не играть. Пришлось, наконец, установить бриджевую повинность: играли по очереди.

Около полуночи он уходил к себе и либо писал, облачась в свой красный халат, либо читал в постели, которая всегда у него была проста и опрятна как-то по больничному. Спал он мало и за работою проводил в сутки часов десять, а то и больше. Ленивых он не любил и имел на то право.

На своем веку он прочел колоссальное количество книг и запомнил все, что в них было написано. Память у него была изумительная. Иногда по какому-нибудь вопросу он начинал

сыпать цитатами и статистическими данными. На вопрос, откуда он это знает, вскидывал он плечами и удивлялся:

– Да как же не знать, помилуйте? Об этом была статья в «Вестнике Европы» за 1887 год, в октябрьской книжке.

Каждой научной статье он верил свято, зато к беллетристике относился с недоверием и всех беллетристов подозревал в искажении действительности. Смотря на литературу отчасти как на нечто вроде справочника по бытовым вопросам, приходил в настоящую ярость, когда усматривал погрешность против бытовых фактов. Получив трехтомный роман Наживина о Распутине, вооружился карандашом и засел за чтение. Я над ним подтрунивал, но он честно трудился дня три. Наконец, объявил, что книга мерзкая. В чем дело? Оказывается, у Наживина герои романа, живя в Нижнем Новгороде, отправляются обедать на пароход, пришедший из Астрахани. Я сначала не понял, что его возмутило, и сказал, что мне самому случалось обедать на волжских пароходах, стоящих у пристани. «Да ведь это же перед рейсом, а не после рейса! – закричал он. – После рейса буфет не работает! Такие вещи знать надо!»

Он умер от воспаления легких. Несомненно, была связь между его последней болезнью и туберкулезным процессом, который у него обнаружился в молодости. Но этот процесс был залечен лет сорок тому назад, и если напоминал о себе кашлем, бронхитами и плевритами, то все же не в такой степени, как об этом постоянно писали и как думала публика. В общем он был бодр, крепок – недаром и прожил до шестидесяти восьми лет. Легендой о своей тяжелой болезни он давно привык пользоваться всякий раз, как не хотел куда-нибудь ехать или, наоборот, когда ему нужно было откуда-нибудь уехать. Под предлогом внезапной болезни он уклонялся от участия в разных собраниях и от приема неудобных посетителей. Но дома, перед своими, он не любил говорить о болезни даже тогда, когда она случалась действительно. Физическую боль он переносил с замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы – он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Однажды, еще в Петербурге, ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней

ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец. Горький даже не обратился к врачу, но после этого чуть ли не года три время от времени предавался странному вечернему занятию: собственноручно вытаскивал из раны осколки костей.

\* \* \*

Больше тридцати лет в русском обществе ходили слухи о роскошной жизни Максима Горького. Не могу говорить о том времени, когда я его не знал, но решительно заявляю, что в годы моей с ним близости ни о какой роскоши не могло быть речи. Все рассказы о виллах, принадлежавших Горькому, и о чуть ли не оргиях, там происходивших, — ложь, для меня просто смешная, порожденная литературной завистью и подхваченная политической враждой. Обыватель не только охотно верил этой сплетне, но и ни за что не хотел с ней расстаться. Живучесть ее была поразительна. Ее, можно сказать, бередили в себе и лелеяли, как душевную рану, — ибо мысль о роскошном образе жизни Горького многих оскорбляла. Фельетонисты возвращались к этой теме всякий раз, как Горький заставлял о себе говорить. В 1927–28 гг. я несколько раз указывал покойному А. А. Яблоновскому, что не надо писать о волшебной вилле на Капри, хотя бы потому, что Горький живет в Сорренто, что уже пятнадцать лет нога его не ступала на каприйскую почву, что даже виза в Италию дана ему под условием не жить на Капри. Яблоновский слушал, кивал головой и вскоре опять принимался за старое, потому что не любил разрушать обывательские иллюзии.

В последние годы каприйская вилла иногда, впрочем, все-таки заменялась соррентинской, но воображаемая на ней жизнь принимала еще более роскошный характер и вызывала еще больше негодования. И вот — я должен покаяться перед человечеством: эта злосчастная вилла была снята не только при моем участии, но даже по моему настоянию. Приехав в Сорренто весной 1924 г., Горький поселился в большой, неудобной, запущенной вилле, которая была ему сдана только до декабря: ее

должны были перестраивать. В этой вилле я Горького и застал. Когда приблизился срок выезда, стали искать нового прибежища. Так как зимой в Сорренто довольно холодно, то задумали перебраться на южный склон полуострова, под Амальфи. Там нашли виллу, которую совсем уже было сняли. Максим, сын Горького от первого брака, поехал ее посмотреть еще раз. От нечего делать я отправился с ним. Вилла оказалась стоящей на крошечном выступе скалы; под южным ее фасадом находился обрыв сажен в пятьдесят – прямо в море; северный фасад лишь узкою полосой дороги отделялся от огромной скалы, не просто отвесной, но еще нависающей над дорогой. Эта скала постоянно осыпается, как весь амальфитанский берег. Вилла, на которой предстояло нам поселиться, еще за семь месяцев до того стояла на западной окраине маленького поселка, который очередным обвалом был буквально раздавлен и снесен в море. Я это хорошо помнил, потому что как раз в то время был в Риме. При катастрофе погибло человек сто. Саперы откапывали живо погребенных, приезжал король. Вилла каким-то чудом уцелела, повиснув над новообразовавшимся обрывом, так что теперь и восточный ее фасад тоже смотрел в пропасть, которой дно еще было усеяно обломками дерева, кирпича и железа. Я объявил Максиму, что жизнь мне дорога и что жить здесь я не стану. Максим насупился – других свободных вилл не было. Мы поехали в Амальфи, а когда возвращались назад часа через два, то в километре от «нашей» виллы принуждены были остановиться и ждать, когда расчистят дорогу: пока мы обедали, случился очередной обвал.

Выбора не оставалось – сняли ту самую виллу «Il Sorito», которой суждено было стать последним прибежищем Горького в Италии. Находилась она не в самом Сорренто, а в полутора километрах от него, на Соррентинском мысу, *Garò di Sorrento*. Нарядная с виду и красиво расположенная, с чудесным видом на весь залив, на Неаполь, Везувий, Кастелламаре, внутри она имела важные недостатки: в ней было очень мало мебели, и она была холодна. Мы переехали в нее 16 ноября и жестоко мерзли всю зиму, топя немногочисленные каминные трубы сырыми оливковыми

ветвями. Ее достоинством была дешевизна: сняли ее за 6000 лир в год, что равнялось тогда пяти тысячам франков. В верхнем ее этаже была столовая, комната Горького (спальня и кабинет вместе), комната его секретарши бар. М. И. Будберг, комната Н. Н. Берберовой, моя комната и еще одна, маленькая, для приезжих. Внизу, по бокам небольшого холла, были еще две комнаты: одну из них занимали Максим и его жена, а другую – И. Н. Ракицкий, художник, болезненный и необыкновенно милый человек: еще в Петербурге, в 1918 году, во время солдатчины, он зашел к Горькому обогреться, потому что был болен, – и как-то случайно остался в доме на долгие годы. К этому основному населению надо прибавить мою племянницу, прожившую на «Sogito» весь январь, а потом время от времени приезжавшую из Рима, а также Е. П. Пешкову, первую жену Горького, которая приезжала из Москвы недели на две. Иногда появлялись гости, жившие по соседству, в отеле «Минерва»: писатель Андрей Сობоль, приехавший из Москвы на поправку после покушения на самоубийство, профессор Старков с семейством (из Праги) и П. П. Муратов. Иногда к вечернему чаю заходили две барышни, владелицы виллы, сохранившие за собой часть нижнего этажа.

Жизнь в двух этажах протекала неодинаково. В верхнем работали, в нижнем, – который Алексей Максимович называл детской, играли. Максиму было тогда лет под тридцать, но по характеру трудно было дать ему больше тринадцати. С женой, очень красивой и доброй женщиной, по домашнему прозвищу Тимошей, порой возникали у него размолвки вполне невинного свойства. У Тимоши были способности к живописи. Максим тоже любил порисовать что-нибудь. Случалось, что один и тот же карандаш или резинка обоим были нужны одновременно.

– Это мой карандаш!

– Нет мой!

– Нет мой!

На шум появлялся Ракицкий. За ним из раскрытой двери вырывались клубы табачного дыма: его комната никогда не проветривалась, потому что от свежего воздуха у него болела голо-

ва. «Свежий воздух – яд для организма», говорил он. Стоя в дыму, он кричал:

– Максим, сейчас же отдай карандаш Тимоше!

– Да он же мне нужен!

– Сейчас же изволь отдать, ты старше, ты должен ей уступить!

Максим отдает карандаш и уходит, надув губы. Но глядишь – через пять минут он уже все забыл, насвистывает и приплясывает.

Он был славный парень, веселый, уживчивый. Он очень любил большевиков, но не по убеждению, а потому, что вырос среди них и они всегда его баловали. Он говорил: «Владимир Ильич», «Феликс Эдмундович», но ему больше шло бы звать их «дядя Володя», «дядя Феликс». Он мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже сновившийся. Пока что он ухаживал за своей мотоциклеткой, собирал почтовые марки, читал детективные романы и ходил в синематограф, а придя пересказывал фильмы, сцену за сценой, имитируя любимых актеров, особенно комиков. У него у самого был замечательный клоунский талант, и если бы ему нужно было работать, из него вышел бы первоклассный эксцентрик. Но он отродясь ничего не делал. Виктор Шкловский прозвал его советским принцем. Горький души в нем не чаял, но это была какая-то животная любовь, состоявшая из забот о том, чтобы Максим был жив, здоров, весел.

Иногда Максим сажал одного или двух пассажиров в коляску своей мотоциклетки, и мы ездили по окрестностям или просто в Сорренто – пить кофе. Однажды всею компанией были в синематографе. В сочельник на детской половине была елка с подарками; я получил пасьянсные карты, Алексей Максимович – теплые кальсоны. Когда становилось уж очень скучно, примерно раз в месяц, Максим покупал две бутылки Асти, бутылку мандаринного ликера, конфет – и вечером звал всех к себе. Танцевали под граммофон, Максим паясничал, ставили шарады, потом пели хором. Если Алексей Максимович упирался и

долго не хотел идти спать, затягивали «Солнце всходит и заходит». Он сперва умолял: «Перестаньте вы, черти драповые», – потом вставал и, сгорбившись уходил наверх.

Впрочем, мирное течение жизни разнообразилось каждую субботу. С утра посылали в отель «Минерва» – заказать семь ванн, и часов с трех до ужина происходило поочередное хождение через дорогу – туда и обратно – с халатами, полотенцами и мочалками. За ужином все поздравляли друг друга с легким паром, ели суп с пельменями, изготовленный нашими дамами, и хвалили распорядительную хозяйку «Минервы» синьору Качаче, о фамилии которой Алексей Максимович утверждал, что это – сравнительная степень. Так, по поводу безнадежной любви одного знакомого однажды он выразился: «Положение, качаче которого быть не может».

Приехав в Париж, я узнал, что Горький живет на Капри и проводит время, чуть ли не в оргиях.

\* \* \*

О степени его известности во всех частях света можно было составить истинное понятие только живя с ним вместе. В известности не мог с ним сравниться ни один из русских писателей, которых мне приходилось встречать. Он получал огромное количество писем на всех языках. Где бы он ни появлялся, к нему обращались незнакомцы, выпрашивая автографы. Интервьюеры его осаждали. Газетные корреспонденты снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили по два-три дня, чтобы только увидеть его в саду или за табльдотом. Слава приносила ему много денег, он зарабатывал около десяти тысяч долларов в год, из которых на себя тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на редкость неприхотлив. Папиросы, рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентинской площади, извозчик домой из города – положительно, я не помню, чтобы у него были еще какие-нибудь расходы на личные надобности. Но круг людей, бывших у него на постоянном иждивении, был очень велик, я думаю – не меньше человек пятнадцати в России и за границей. Тут были люди различ-

нейших слоев общества, вплоть до титулованных эмигрантов, и люди, имевшие к нему самое разнообразное касательство: от родственников и свойственников – до таких, которых он никогда в глаза не видал. Целые семьи жили на его счет гораздо привольнее, чем жил он сам. Кроме постоянных пенсионеров, было много случайных; между прочим, время от времени к нему обращались за помощью некоторые эмигрантские писатели. Отказа не получал никто. Горький раздавал деньги, не соображаясь с действительной нуждой просителя и не заботясь о том, на что они пойдут. Случалось им застревать в передаточных инстанциях – Горький делал вид, что не замечает. Этого мало. Некоторые лица из его окружения, прикрываясь его именем и положением, занимались самыми предосудительными делами – вплоть до вымогательства. Те же лица, порою люто враждовавшие друг с другом из-за горьковских денег, зорко следили за тем, чтобы общественное поведение Горького было в достаточной мере прибыльно, и согласными усилиями, дружным напором, направляли его поступки. Горький изредка пробовал бунтовать, но, в конце концов, всегда подчинялся. На то были отчасти самые простые психологические причины: привычка, привязанность, желание, чтобы ему дали спокойно работать. Но главная причина, самая важная, им самим, вероятно, незнаемая, заключалась в особенном, очень важном обстоятельстве: в том крайне запутанном отношении к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное влияние как на его творчество, так и на всю его жизнь.

Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще – и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникла (а отчасти была им вычитана) мечта об иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получал полу-реальный, полу-воображаемый тип благородного босяка, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому

благородному разбойнику, который был создан романтической литературой.

Первоначальное литературное воспитание он получил среди людей, для которых смысл литературы исчерпывался ее бытовым и социальным содержанием. В глазах самого Горького его герой мог получить социальное значение и, следовательно, литературное оправдание только на фоне действительности и как ее подлинная часть. Своих мало реальных героев Горький стал показывать на фоне сугубо-реалистических декораций. Перед публикой и перед самим собой он был вынужден притворяться бытописателем. В эту полуправду он и сам полувверовал на всю жизнь.

Философствуя и резонируя за своих героев, Горький в сильнейшей степени наделял их мечтою о лучшей жизни, то есть об искомой нравственно социальной правде, которая должна надо всем воссиять и все устроить ко благу человечества. В чем заключается эта правда, горьковские герои поначалу еще не знали, как не знал и он сам. Некогда он ее искал и не нашел в религии. В начале девятисотых годов он увидел (или его научили видеть) ее залог в социальном прогрессе, понимаемом по Марксу. Если ни тогда, ни впоследствии он не сумел себя сделать настоящим, дисциплинированным марксистом, то все же принял марксизм, как свое официальное вероисповедание или как рабочую гипотезу, на которой старался базироваться в своей художественной работе.

Я пишу воспоминания о Горьком, а не статью о его творчестве. В дальнейшем я и вернусь к своей теме, но предварительно вынужден остановиться на одном его произведении, может быть – лучшем из всего, что им написано, и несомненно – центральном в его творчестве: я имею в виду пьесу «На дне».

Ее основная тема – правда и ложь. Ее главный герой – странник Лука, «старец лукавый». Он является, чтобы обольстить обитателей «дна» утешительной ложью о существующем где-то царстве добра. При нем легче не только жить, но и умирать. После его таинственного исчезновения жизнь опять становится злой и страшной.

Лука наделал хлопот марксистской критике, которая изо всех сил старается разъяснить читателям, что Лука – личность вредная, расслабляющая обездоленных мечтаниями, отвлекающая их от действительности и от классовой борьбы, которая одна может им обеспечить лучшее будущее. Марксисты по своему правы: Лука, с его верою в просветление общества через просветление личности, с их точки зрения в самом деле вреден. Горький это предвидел и потому, в виде корректива, противопоставлял Луке некоего Сатина, олицетворяющего пробуждение пролетарского сознания. Сатин и есть, так сказать, официальный резонер пьесы. «Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – бог свободного человека», – провозглашает он. Но стоит вчитаться в пьесу, и мы тотчас заметим, что образ Сатина, по сравнению с образом Луки, написан бледно и – главное – не любовно. Положительный герой менее удался Горькому, нежели отрицательный, потому что положительного он наделил своей официальной идеологией, а отрицательного – своим живым чувством любви и жалости к людям. Замечательно, что, в предвидении будущих обвинений против Луки, Горький именно Сатина делает его защитником. Когда другие персонажи пьесы ругают Луку, Сатин кричит на них: «Молчать! Вы все – скоты! Дубье... молчать о старике!.. Старик – не шарлатан... Я понимаю старика... да! Он врал... но – это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... Есть ложь утешительная, ложь примиряющая». Еще более примечательно, что свое собственное пробуждение Сатин приписывает влиянию Луки: «Старик? Он – умница! Он подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем за его здоровье!»

Знаменитая фраза: «Человек – это великолепно! Это звучит гордо!» вложена также в уста Сатина. Но автор про себя знал, что, кроме того, это звучит очень горько. Вся его жизнь пронизана острой жалостью к человеку, судьба которого казалось ему безвыходной. Единственное спасение человека он видел в творческой энергии, которая немислима без непрестанного преодоления действительности – надеждой. Способность

человека осуществить надежду ценил он не высоко, но самая эта способность к мечте, дар мечты – проводили его в восторг и трепет. Создание какой бы то ни было мечты, способной увлечь человечество, он считал истинным признаком гениальности, а поддержание этой мечты – делом великого человеколюбия.

Господа! Если к правде святой  
Мир дорогу найти не умеет,  
Честь безумцу, который навесит  
Человечеству сон золотой.

В этих довольно слабых, но весьма выразительных стихах, произносимых одним из персонажей «На дне», заключен как бы девиз Горького, определяющий всю его жизнь, писательскую, общественную, личную. Горькому довелось жить в эпоху, когда «сон золотой» заключался в мечте о социальной революции, как панацее от всех человеческих страданий. Он поддерживал эту мечту, он сделался ее глашатаем – не потому, что так уж глубоко верил в революцию, а потому что верил в спасительность самой мечты. В другую эпоху с такою же страстностью он отстаивал бы иные верования, иные надежды. Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошел возбуждателем и укрепителем мечты, Лукою, лукавым странником. От раннего, написанного в 1893 г. рассказа о вышпленном чиже, «который лгал», и о дятле, низменном «любителе истины», вся его литературная, как и вся жизненная деятельность, проникнута сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде. «Я искреннейше и неколебимо ненавижу правду», – писал он Е. Д. Кусковой в 1929 году. Мне так и кажется, что я вижу, как он, со злым лицом, оцетинившись, со вздутой на шею жилой, выводит эти слова.

\* \* \*

13 июля 1924 г. он писал мне из Сорренто: «Тут, знаете, сезон праздников, – чуть ли не ежедневно фейерверки, процессии, музыка и «ликование народа». А у нас? думаю я. И –

извините! до слез, до ярости завидно, и больно, и тошно и т. д.».

Итальянские празднества с музыкой, флагами и трескотней фейерверков он обожал. По вечерам выходил на балкон и созывал всех смотреть, как вокруг залива то там, то здесь взлетают ракеты и римские свечи. Волновался, потирал руки, покрикивал:

– Это в Торре Аннунциата! А это у Геркуланума! А это в Неаполе! Ух, ух, ух, как жаривают!

Этому «великому реалисту» поистине нравилось только все то, что украшает действительность, от нее уводит, или с ней не считается, или просто к ней прибавляет то, чего в ней нет. Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал, – разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам же его бранил, но первая реакция почти всегда была – слезы. Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот – написано, создано, вымыслено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души. Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями: вторая половина каждого рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и протирании затуманившихся очков.

Он в особенности любил писателей молодых, начинающих: ему нравилась их надежда на будущее, их мечта о славе. Даже совсем плохих, заведомо безнадежных он не обескураживал: разрушать какие бы то ни было иллюзии он считал кощунством. Главное же – в начинающем писателе (опять-таки – в очень даже мало обещающем) он лелеял собственную мечту и рад был обманывать самого себя вместе с ним. Замечательно, что к писателям, уже установившимся, он относился иначе. Действительно выдающихся он любил как, например Бунина

(которого понимал), или заставлял себя любить (как, например Блока, которого, в сущности, не понимал, но значительность которого не мог не чувствовать). Зато авторов, уже вышедших из пеленок, успевших приобрести известное положение, но не ставших вполне замечательными, он скорее недолюбливал. Кажалось, он сердится на них за то, что уже нельзя мечтать, как они подымутся, станут замечательными, великими. В особенности в этих средних писателях его раздражала важность, олимпийство, то сознание своей значительности, которое, в самом деле, им более свойственно, чем писателям действительно выдающимся.

Он любил всех людей творческого склада, всех, кто вносит или только мечтает внести в мир нечто новое. Содержание и качество этой новизны имели в его глазах значение второстепенное. Его воображение равно волновали и поэты, и ученые, и всякие прожектеры, и изобретатели – вплоть до изобретателей перпетуум-мобиле. Сюда же примыкала его живая, как-то очень задорно и весело окрашенная любовь к людям, нарушающим или стремящимся нарушить заведенный в мире порядок. Диапазон этой любви, пожалуй, был еще шире: он простирался от мнимых нарушителей естественного хода вещей, то есть от фокусников и шулеров – до глубочайших социальных преобразователей. Я совсем не хочу сказать, что ярмарочный гаер и великий революционер имели в его глазах одну цену. Но для меня несомненно, что, различно относясь к ним умом, любил-то он и того, и другого одним и тем же участком своей души. Недаром того же Сатина из «На дне», положительного героя и глашатая новой общественной правды, он не задумался сделать по роду занятий именно шулером.

Ему нравились все, решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или озорства, – вплоть до маньяков-поджигателей, о которых он много писал и о которых готов был рассказывать целыми часами. Он и сам был немножечко поджигатель. Ни разу я не видал, чтобы, закуривая, он потушил спичку: он непременно бросал ее непотушенной. Любимой и повседневной его привычкой было – после обеда или за вечерним чаем,

когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, – незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих – а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, эти «семейные пожарчики», как однажды я предложил их называть, имели для него какое-то злое и радостное символическое значение. Он относился с большим почтением к опытам по разложению атома; часто говорил о том, что если они удадутся, то, например, из камня, подобранного на дороге, можно будет извлекать количество энергии, достаточное для междупланетных сообщений. Но говорил он об этом как-то скучно, хрестоматийно и как будто только для того, чтобы в конце прибавить, уже задорно и весело, что «в один прекрасный день эти опыты, гм, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик!» И он прицеливался языком.

От поджигателей, через великолепных корсиканских бандитов, которых ему не довелось знать, его любовь спускалась к фальшивомонетчикам, которых так много в Италии. Горький подробно о них рассказывал и некогда посетил какого-то ихнего патриарха, жившего в Алесслио. За фальшивомонетчиками шли авантюристы, мошенники и воры всякого рода и калибра. Некоторые окружали его всю жизнь. Их проделки бросавшие тень на него самого, он сносил с терпеливостью, которая граничила с поощрением. Ни разу на моей памяти он не уличил ни одного и не выразил ни малейшего неудовольствия. Некий Роде, бывший содержатель знаменитого кафешантана, изобрел себе целую революционную биографию. Однажды я сам слышал, как он с важностью говорил о своей «многолетней революционной работе». Горький души в нем не чаял и назначил его заведовать Домом Ученых, через который шло продовольствие для петербургских ученых, писателей, художников и артистов. Когда я случайно позволил себе назвать Дом Ученых Роде – вспомогательным заведением, Горький дулся на меня несколько дней.

Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обростать при каждом своем появлении на улице. В их ремесле

ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их штукам с видимым удовольствием и весь сиял, когда гарсон или торговец какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности ценил он при этом наглость – должно быть, видел в ней отсвет бунтарства и озорства. Он и сам, в домашнем быту, не прочь был испробовать свои силы на том же поприще. От нечего делать мы вздумали издавать «Соррентинскую правду» – рукописный журнал, пародию на некоторые советские и эмигрантские журналы. (Вышло номера три или четыре). Сотрудниками были Горький, Берберова и я. Ракицкий был иллюстратором, Максим переписчиком. Максима же мы избрали и редактором – в виду его крайней литературной некомпетентности. И вот – Горький всеми способами старался его обмануть, подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их за неизданные. В этом и заключалось для него главное удовольствие, тогда как Максим увлекался изобличением его проделок. В виду его бессмысленных трат, домашние отнимали у него все деньги, оставляя на карманные расходы какие-то гроши. Однажды он вбежал ко мне в комнату сияющий, с пританцовыванием, с протираанием рук, с видом загулявшего мастерового, и объявил:

– Во! Смотрите-ка! Я спер у Марьи Игнатьевны десять лир! Айда в Сорренто!

Мы пошли в Сорренто, шли там вермут и прикатили домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того, чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком, смялся, хлопал себя по бокам и был несказанно, счастлив до самого вечера.

\* \* \*

В помощи деньгами или хлопотами он не отказывал никогда. Но в его благотворительстве была особенность: чем горше проситель жаловался, чем более падал духом, тем Горький был к нему внутренне равнодушнее, – и это не потому, что хотел от

людей стойкости или сдержанности. Его требования шли гораздо дальше: он не выносил уныния и требовал от человека надежды – во что бы то ни стало, и в этом сказывался его своеобразный, упорный эгоизм: в обмен на свое участие *он требовал для себя права мечтать* о лучшем будущем того, кому он помогает. Если же проситель своим отчаянием заранее пресекал такие мечты, Горький сердился и помогал уже нехотя, не скрывая досады.

Упорный поклонник и создатель возвышающих обманов, ко всякому разочарованию, ко всякой низкой истине он относился, как к проявлению метафизически злого начала. Разрушенная мечта, словно труп, вызывала в нем безразличность и страх, он в ней словно бы ощущал что-то нечистое. Этот страх, сопровождаемый озлоблением, вызывали у него и все люди, повинные в разрушении иллюзий, все колебатели душевного благодушия, основанного на мечте, все нарушители праздничного, приподнятого настроения. Осенью 1920 года в Петербург приехал Уэллс. На обеде, устроенном в его честь, сам Горький и другие ораторы говорили о перспективах, которые молодая диктатура пролетариата открывает перед наукой и искусством. Внезапно А. В. Амфитеатров, к которому Горький относился очень хорошо, встал и сказал нечто противоположное предыдущим речам. С этого дня Горький его возненавидел – и вовсе не за то, что писатель выступил против советской власти, а за то, что он оказался разрушителем празднества, *trouble fête*. В «На дне», в самом конце последнего акта, все поют хором. Вдруг открывается дверь, и Барон, стоя на пороге, кричит: «Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там... Актер... удавился!» В наступившей тишине Сатин негромко ему отвечает: «Эх... испортил песню... дур-рак!» На этом занавес падает. Неизвестно, кого бранит Сатин: актера, который некстати повесился, или Барона, принесшего об этом известие. Всего вероятнее обоих, потому что оба виноваты *в порче песни*.

В этом – весь Горький. Он не стеснялся и в жизни откровенно сердиться на людей, приносящих дурные вести. Однажды я сказал ему:

– Вы, Алексей Максимович, вроде царя Салтана:

В гневе начал он чудесить  
И гонца велел повесить.

Он ответил насупившись:

– Умный царь. Дурных вестников обязательно надо казнить.

Может быть, этот наш разговор припомнил он и тогда, когда, в ответ на «низкие истины» Кусковой, ответил ей яростным пожеланием как можно скорей умереть.

\* \* \*

Самому себе он не позволял быть вестником неудачи или несчастья. Если нельзя было смолчать, он предпочитал ложь и был искренно уверен, что поступает человеколюбиво.

Баронесса Варвара Ивановна Иксуль принадлежала к числу тех обаятельных женщин, которые умеют очаровывать старых и молодых, богатых и бедных, знатных и простолюдинов. В числе ее поклонников значились иностранные венценосцы и русские революционеры. В своем салоне, известном некогда всему Петербургу, она соединяла людей самых разных партий и положений. Говорят, однажды в своей гостиной она принимала свирепого министра внутренних дел, а в это время в недрах ее квартиры скрывался человек, разыскиваемый департаментом полиции. С императрицей Александрой Федоровной сохранила она добрые отношения до последних дней монархии. Поклонники и враги Распутина считали ее своей. Революция, разумеется, ее разорила. Ее удалось поселить в «Дом Искусств», где я был ее частым гостем. В семьдесят лет она была по-прежнему обаятельна. Горький, как и многие, чем-то ей в прошлом обязанный, несколько раз меня о ней спрашивал. Я ей передавал об этом. Однажды она сказала: «Спросите Алексея Максимовича, не может ли он устроить, чтобы меня выпустили за границу». Горький ответил, что это дело нетрудное. Он велел Варваре Ивановне заполнить анкету, написать прошение и приложить фотографические карточки. Вскоре он поехал в Москву. Это было весной 1921 года. Легко себе представить, с каким нетер-

пением Варвара Ивановна ждала его возвращения. Наконец, он вернулся, и я отправился к нему в тот же день. Он мне объявил, что разрешение получено, но паспорт будет готов только «сегодня к вечеру», и его дня через два привезет А. Н. Тихонов. Варвара Ивановна благодарила меня со слезами, о которых мне стыдно вспомнить. Она принялась распродавать кое-какое имущество, остальное раздаривала. Я каждый день звонил к Тихонову по телефону. Не успел он приехать – я был уже у него и узнал с изумлением, что Алексей Максимович не поручал ему ничего и что обо всем этом деле он слышит впервые. О том, как я пытался добиться от Горького объяснения, рассказывать неинтересно, да я и не помню подробностей. Суть в том, что он сперва говорил о «недоразумении» и обещал все поправить, потом уклонялся от разговоров на эту тему, потом сам уехал за границу. Варвара Ивановна, не дождавшись паспорта, ухитрилась бежать зимой, с мальчишкою – провожатым, по льду Финского залива пробралась в Финляндию, а оттуда в Париж, где и умерла в феврале 1928 года. Через несколько месяцев после, ее бегства я был в Москве и узнал в Наркоминдел, что Горький действительно представил ее прошение, но тогда же получил решительный отказ.

Объяснять этот случай нежеланием признаться в своем бессилии перед властями нельзя: Горький в ту пору даже любил рассказывать о таком бессилии. Насколько я знаю Горького, для меня несомненно, что он просто хотел как можно дольше поддерживать в просительнице надежду, и – кто знает? – может быть, вместе с нею тешил иллюзией самого себя. Такой «театр для себя» был вполне в его духе, я знаю несколько пьес, которые он на этом театре разыграл. Из них расскажу одну – зато самую разительную, в которой создание счастливой иллюзии доведено до полной жестокости.

В первые годы советской власти, живя в Петербурге, Горький поддерживал сношения со многими членами императорской фамилии. И вот, однажды он вызвал к себе кн. Палей, вдову великого князя Павла Александровича, и объявил ей, что ее сын, молодой стихотворец кн. Палей, не расстрелян, а жив и

находится в Екатеринославе, откуда только что прислал письмо и стихи. Нетрудно себе представить изумление и радость матери. На свою беду она тем легче поверила Горькому, что вышло тут совпадение, непредвиденное самим Горьким: у Палеев были в Екатеринославе какие-то близкие друзья, и спасшемуся от расстрела юноше вполне естественно было бы найти у них убежище. Через несколько времени кн. Палей, конечно, узнала, что все-таки он убит, и таким образом утешительный обман Горького стал для нее источником возобновившегося страдания: известие о смерти сына Горький заставил ее пережить вторично.

Не помню, по какому случаю, в 1923 г. он мне сам рассказал все это не без сокрушения, которое мне, однако же, показалось недостаточным. Я спросил его:

– Но ведь были же в самом деле письмо и стихи?

– Были.

– Почему же она не попросила их показать?

– То-то и есть, что она просила, да я их куда-то засунул и не мог найти.

Я не скрыл от Горького, что история мне крепко не нравится, но никак не мог от него добиться, что же все-таки произошло. Он только разводил руками и, видимо, был не рад, что завел этот разговор.

Спустя несколько месяцев, он сам себя выдал. Уехав во Фрейбург, он написал мне в одном из писем: «Оказывается, поэт Палей жив и я имел некоторое право вводить в заблуждение граф. (sic!) Палей (sic!). Посылаю вам только что полученные стихи одного поэта, кажется они плохи».

Прочитав стихи, совершенно корявые, и наведя некоторые справки, я понял все: и тогда, в Петербурге, и теперь, за границей, Горький получил письмо и стихи от пролетарского поэта Палея, по происхождению рабочего. Лично его Горький мог не знать или не помнить. Но ни по содержанию, ни по форме, ни по орфографии, ни даже по почерку стихи этого Палея ни в коем случае невозможно было принять за стихи великокняжеского сына. Писем я не видал, но несомненно, что они еще менее могли дать повод к добросовестному заблуждению.

Горький нарочно ввел себя в заблуждение, а затерял письмо и стихи не только от княгини Палей, но прежде всего и главным образом от себя, потому что ему пришло в голову разыграть дьявольскую трагикомедию с утешением несчастной матери.

Помимо того, что иное объяснение этой истории вообще дать трудно, я еще потому могу настаивать на своем объяснении, что был свидетелем и других случаев совершенно того же характера.

\* \* \*

Отношение ко лжи и лжецам было у него, можно сказать, заботливое, бережное. Никогда я не замечал, чтобы он кого-нибудь вывел на чистую воду или чтобы обличил ложь – даже самую наглую или беспомощную. Он был на самом деле доверчив, но сверх того еще и притворялся доверчивым. Отчасти ему было жалко лжецов конфузить, но главное – он считал своим долгом уважать творческий порыв, или мечту, или иллюзию даже в тех случаях, когда все это проявлялось самым жалким или противным образом. Не раз мне случалось видеть, что он рад быть обманутым. Поэтому обмануть его и даже сделать соучастником обмана ничего не стоило.

Нередко случалось ему и самому говорить неправду. Он это делал с удивительной беззаботностью, точно уверен был, что и его никто не сможет или не захочет уличить во лжи. Вот один случай, характерный и в этом отношении, и в том, что ложь была вызвана желанием порисоваться – даже не передо мной, а перед самим собой. Я вообще думаю, что главным объектом его обманов в большинстве случаев был именно он сам.

8 ноября 1923 г. он мне писал:

«Из новостей, опеломляющих разум, могу сообщить, что в “Накануне” напечатано: “Джиоконда, картина Микель-Анджело”, а в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Нитче, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики. И сказано: “Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги”. Все

сие будто бы (Слова: “будто бы” вписаны над строкой. – В. Х.) отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой: “Указатель об изъятии анти-художественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя”.

Сверх строки мною вписано “будто бы” тому верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу “Указатель”.

Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой?

Знали бы Вы, дорогой В. Ф., как мне отчаянно трудно и тяжело!»

В этом письме правда – только то, что ему было «трудно и тяжело». Узнав об изъятии книг, он почувствовал свою обязанность резко протестовать против этого «духовного вампиризма». Он даже тешил себя мечтою о том, как осуществить протест, послав заявление о выходе из советского подданства.

Может быть, он даже и начал писать такое заявление, но, конечно, знал, что никогда его не пошлет, что все это – опять только «театр для себя». И вот, он прибег к самой наивной лжи, какую можно себе представить: сперва написал мне о выходе «Указателя», как о совершившемся факте, а потом вставил «будто бы» и притворился, что дело нуждается в проверке и что он даже «не может заставить себя поверить» в существование «Указателя». Между тем, никаких сомнений у него быть не могло, потому что «Указатель», белая книжечка небольшого формата, *давным-давно у него имелся*. За два месяца до этого письма, 14 сентября 1923 г., в Берлине, я зашел в книгоиздательство «Эпоха» и встретил там бар. М. И. Будберг. Заведующий издательством С. Г. Сумский при мне вручил ей этот «Указатель» для передачи Алексею Максимовичу. В тот же день мы с Марией Игнатьевной вместе выехали во Фрейбург. Тотчас по приезде «Указатель» был отдан Горькому, и во время моего трехдневного пребывания во Фрейбурге о нем было немало говорено. Но

Горький забыл об этих разговорах и о том, что я видел «Указатель» у него в руках, — и вот беззаботнейшим образом уверяет меня, будто книжки еще не видел и даже сомневается в ее существовании. Во всем этом замечательно еще то, что всю эту историю с намерением писать в Москву заявление он мне сообщил без всякого повода, кроме желания что-то разыграть передо мной, а в особенности — повторяю — перед самим собой.

Если его уличали в уклонении от истины, он оправдывался беспомощно и смущенно, примерно так, как Барон в «На дне», когда Татарин кричит ему: «А! Карта рукав совал!» — а он отвечает, конфузясь: «Что же мне, в нос твой сунуть?» Иногда у него в этих случаях был вид человека, нестерпимо скучающего среди тех, кто не умеет его оценить. Обличение мелкой лжи вызывало в нем ту же досадливую скуку, как и разрушение мечты возвышенной. Восстановление правды казалось ему серым и пошлым торжеством прозы над поэзией. Недаром в том же «На дне» поборником правды выведен Бубнов, бездарный, грубый и нудный персонаж, которого и фамилия, кажется, происходит от глагола «бубнить».

\* \* \*

«То — люди, а то — человеки», говорить старец Лука, в этой не совсем ясной формуле, несомненно, выражая отчетливую мысль самого автора. Дело в том, что этих «человеков» надо бы печатать с заглавной буквы. «Человеков», то есть героев, творцов, двигателей обожаемого прогресса, Горький глубоко чтит. Людей же, просто людей с неяркими лицами и скромными биографиями, презирал, обзывал «мещанами». Однако ж, он признавал, что и у этих людей бывает стремление если не быть, то хотя бы казаться лучше, чем они суть на самом деле: «У всех людей, души серенькие, все подрумяниться желают». К такому подрумяниванию он относился с сердечным, деятельным сочувствием и считал своим долгом не только поддерживать в людях возвышенное представление о них самих, но и внушать им, по мере возможности, такое представление. По-видимому, он думал, что такой самообман может служить отправным пунктом

или первым толчком к внутреннему преодолению мещанства. Поэтому он любил служить как бы зеркалом, в котором каждый мог видеть себя возвышенной, благородней, умней, талантливей, чем на самом деле. Разумеется, чем больше получалась разница между отражением и действительностью, тем люди были ему признательней, и в этом заключался один из приемов его несомненного, многими замеченного «шармерства».

Он и сам не был изъятием из закона, им установленного. Была некоторая разница между его действительным образом и воображаемым, так сказать идеальным. Однако, весьма любопытно и существенно, что в этом случае он следовал не столько своему собственному, сколько некоему чужому, притом коллективному воображению. Он не раз вспоминал, как уже в начале девятисотых годов в эпоху первоначальной, неожиданной славы, какой-то мелкий нижегородский издатель так называемых «книг для народа», то есть сказок, сонников, песенников, уговаривал его написать свою лубочную биографию, для которой предвидел громадный сбыт, а для автора – крупный доход. «Жизнь ваша, Алексей Максимович, – чистые денежки», – говорил он. Горький рассказывал это со смехом. Между тем, если не тогда, то позже, и если не совсем такая лубочная, то все-таки близкая к лубочной биография Горького-самородка, Горького-буревестника, Горького-страдальца и передового бойца за пролетариат постепенно сама собою сложилась и окрепла в сознании известных слоев общества. Нельзя отрицать, что все эти героические черты имелись в подлинной его жизни, во всяком случае, необычайной, – но они были проведены судьбою совсем не так сильно, законченно и эффектно, как в его биографии идеальной или официальной. И вот – я бы отнюдь не сказал, что Горький в нее поверил или непременно хотел поверить, но, влекомый обстоятельствами, славой, давлением окружающих, он ее принял, усвоил себе раз навсегда вместе со своим официальным воззрением, а приняв – в значительной степени сделался ее рабом. Он считал своим долгом стоять перед человечеством, перед «массами» в том образе и в той позе, которых от него эти массы ждали и требовали в обмен за свою

любовь. Часто, слишком часто приходилось ему самого себя ощущать некоей массовой иллюзией, частью того «золотого сна», который однажды навеян и который разрушить он, Горький, уже не в праве. Вероятно, огромная тень, им отбрасываемая, нравилась ему своим размером и своими резкими очертаниями. Но я не уверен, что он любил ее. Во всяком случае могу ручаться, что он часто томился ею. Великое множество раз, совершая какой-нибудь поступок, который был ему не по душе или шел вразрез с его совестью, или наоборот – воздерживаясь от того, что ему хотелось сделать или что совесть ему подсказывала, – он говорил с тоской, с гримасой, с досадливым пожиманием плеч: «Нельзя, биографию испортишь». Или: «Что поделаешь, надо, а то биографию испортишь».

\* \* \*

От нижегородского цехового Алексея Пешкова, учившегося на медные деньги, до Максима Горького, писателя с мировой известностью, – огромное расстояние, которое говорит само за себя, как бы ни расценивать талант Горького. Казалось бы, сознание достигнутого, да еще в соединении с постоянной памятью о «биографии», должны были дурно повлиять на него. Этого не случилось. В отличие от очень многих, он не гонялся за славой и не томился заботой о ее поддержании; он не пугался критики, так же, как не испытывал радости от похвалы любого глупца или невежды; он не искал поводов удостовериться в своей известности, – может быть, потому, что она была настоящая, а не дутая; он не страдал чванством и не разыгрывал, как многие знаменитости, избалованного ребенка. Я не видал человека, который носил бы свою славу с большим умением и благородством, чем Горький.

Он был исключительно скромен – даже в тех случаях, когда был доволен самим собой. Эта скромность была неподдельная. Происходила она, главным образом, от благоговейного преклонения перед литературой, а кроме того – от неуверенности в себе. Раз, навсегда усвоив довольно элементарные эстетические понятия (примерно – 70-х, 80-х годов), в своих писаниях он резко отличал содержание от формы. Содержание казалось ему

хорошо защищенным, потому что опиралось на твердо усвоенные социальные воззрения. Зато в области формы он себя чувствовал вооруженным слабо. Сравнивая себя с излюбленными и даже с нелюбимыми мастерами (например – с Достоевским, с Гоголем), он находил у них гибкость, сложность, изящество, утонченность, которыми сам не располагал, – и не раз в этом признавался. Я уже говорил, что свои рассказы случалось ему читать вслух сквозь слезы. Но когда спадало это умиленное волнение, он требовал критики, выслушивал ее с благодарностью и обращал внимание только на упреки, пропуская похвалы мимо ушей. Нередко он защищался, спорил, но столь же часто уступал в споре, а уступив – непременно садился за переделки и исправления. Так, я его убедил кое-что переделать в «Рассказе о тараканах» и заново написать последнюю часть «Дела Артамоновых». Была, наконец, одна область, в которой он себя сознавал беспомощным – и страдал от этого самым настоящим образом.

– А скажите, пожалуйста, что мои стихи, очень плохи?

– Плохи, Алексей Максимович.

– Жалко. Ужасно жалко. Всю жизнь я мечтал написать хоть одно хорошее стихотворение.

Он смотрит вверх грустными, выцветшими глазами, потом вынужден достать платок и утереть их.

Меня всегда удивляла и почти волновала та необыкновенно человеческая непоследовательность, с которою этот последовательный ненавистник правды вдруг становился правдолюбив, лишь только дело касалось его писаний. Тут он не только не хотел обольщений, но напротив – мужественно искал истины. Однажды он объявил, что Ю. И. Айхенвальд, который был еще жив, несправедливо бранит его новые рассказы, сводя политические и личные счеты. Я ответил, что этого быть не может, потому что, во многом не сходясь с Айхенвальдом, знаю его, как критика в высшей степени беспристрастного. Это происходило в конце 1923 г., в Мариенбаде. В ту пору мы с Горьким сообща редактировали журнал «Беседа». Спор наш дошел до того, что я, чуть ли не на пари, предложил в ближайшей книжке напечатать два рассказа Горького – один под настоящим именем, другой

под псевдонимом, – и посмотреть, что будет. Так и сделали. В 4-й книжке «Беседы» мы напечатали «Рассказ о герое» за подписью Горького и рядом другой рассказ, который назывался «Об одном романе», – под псевдонимом «Василий Сизов». Через несколько дней пришел номер берлинского «Руля», в котором Сизову досталось едва ли не больше, чем Горькому, – и Горький мне сказал с настоящею, с неподдельной радостью:

– Вы, очевидно, правы. Это, понимаете, очень приятно. То есть не то приятно, что он меня изругал, а то, что я, очевидно, в нем ошибался.

Почти год спустя, уже в Сорренто, с тем же рассказом вышел курьез. Приехавший из Москвы Андрей Соболев попросил дать ему для ознакомления все номера «Беседь» (в советскую Россию она не допускалась). Дня через три он принес книги обратно. Кончался ужин, все были еще за столом. Соболев стал излагать свои мнения. С похвалой говорил о разных вещах, напечатанных в «Беседях», в том числе о рассказах Горького, – и вдруг выпалил:

– А вот какого-то этого Сизова напрасно вы напечатали. Дрянь ужасная.

Не помню, что Горький ответил, и ответил ли что-нибудь, и не знаю, какое было у него лицо, потому что я стал смотреть в сторону. Перед сном я зачем-то зашел в комнату Горького. Он уже был в постели и сказал мне из-за ширмы:

– Вы не вздумайте Соболеву объяснить, в чем дело, а то мы будем стыдиться друг друга как две голых монахини.

\* \* \*

Перед тем, как послать в редакцию «Современных Записок» свои воспоминания о Валерии Брюсове, я прочел их Горькому. Когда я кончил читать, он сказал, помолчав немного:

– Жестоко вы написали, но – превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне.

– Хорошо, Алексей Максимович.

– Не забудете?

– Не забуду.

*Париж, 1936 г.*

# БЕЛЫЙ КОРИДОР.

## ВОСПОМИНАНИЯ

*О себе*



Писать автобиографию на нескольких страничках – и бессмысленно, и не хочется. Лучше расскажу, очень внешне, свою жизнь за последние годы, начиная с весны 1916, когда как-то сразу стряслись надо мной две беды: умер самый дорогой мне человек, С. В. Киссин (Муни), а я сам заболел туберкулезом позвоночника. Тут зашили меня в гипсовый корсет, мытарили, подвешивали и послали в Крым. Прожил месяца три в Коктебеле, очень поправился, корсет сняли. Следующую зиму жил в Москве, писал. На лето 1917 снова Коктебель. Зимой снова Москва, «Русские ведомости», «Власть Народа», «Новая Жизнь».

Весной 1918 года началась советская служба и вечная занятость не тем, чем хочется и на что есть уменье: общая судьба всех, проживших эти годы в России. Работал сперва в театрально-музыкальной секции Московского Совета, потом в Тео Наркомпроса, с Балтрушайтисом, Вяч. Ивановым, Новиковым.

Читал в Московском Пролеткульте о Пушкине. Мешали. Сперва предложили ряд эпизодических лекций. После третьей велели перейти на семинарий. Перешел. После третьего-же «урока» – опять надо все ломать: извольте читать «курс»: Пушкин, его жизнь и творчество. Что ж, хорошо и это. Дошел до выхода из лица – каникулы или что-то в этом роде. В Пролеткульте внутренний развал: студийцы быстро переросли своих «идейных вождей». Бросил, ушел.

С конца 1918 г. заведывал московским отделением «Всемирной Литературы». Эту работу, скучную очень, «административную» едва дотаскал до лета 1920 года, когда пришлось бросить и ее: никак нельзя было выжать рукописей из переводчиков, потому что ставки Госиздата повышались юмористически медленно, а дороговизна жизни росла трагически быстро. Ушел и из «Всемирной Литературы».

В 1918 г. в конце лета затеял вместе с П. П. Муратовым книжную лавку писателей. Добыли книг на комиссию от знакомых издателей. Добыли откуда-то денег на обзаведение, поселились в Леонтьевском пер., 16. Стали за прилавок. Е. Д. Кускова была первой покупательницей: когда шкафы были еще пусты, купила какую-то газету за 30 коп. Кажется, это и составило запасной капитал. Торговали в лавке: Б. А. Грифцов, М. В. Линд, П. П. Муратов, Е. А. Янтарева, А. С. Яковлев, М. А. Осоргин, я. Работали в очередь. Моя жена сидела за кассой, зимой, изнывая в нетопленном магазине – по целым дням. Кое-как были сыты. Зимой 1919–20 г. провели ужасно. В полуподвальном этаже нетопленного дома, в одной комнате, нагреваемой при помощи окна, пробитого – в кухню, а не в Европу. Трое в одной маленькой комнате, градусов 5 тепла (роскошь по тем временам). За стеной в кухне на плите спит прислуга. С Рождества, однако, пришлось с ней расстаться: не по карману. Колол дрова, таскал воду, пек лепешки, топил плиту мокрыми поленьями. Питались щами, нелегально купленной пшенной кашей (иногда с маслом), махоркой, чаем и сахарином. Мы с женой в это же время служили в Книжной Палате Московского Совета: я – заведующим, жена – секретарем.

К весне 1920 г., выпустив «Путем зерна», – слег: заболел фурункулезом. Эта весна была ужасна. Дом отсырел, с окон в комнату текли потоки талого снега. Я лежал. Жена днем на службе, потом – за кухарку, потом – за сестру милосердия. Своими руками перевязывала по двадцать раз все мои 121 нарыв (по точному счету). Летом стало полегче. Поместились в санатории. Жена – на 6 недель, я на полтора месяца.

Осенью, после семи белых билетов, меня, еще покрытого остатками нарывов, с болями в позвоночнике, какие-то умники «пересмотрели» и признали «годен в строй». Спас Горький, отвезший в Кремль мое письмо к Ленину. Снова пересмотрели уже настоящие врачи – и отпустили. Задумал бежать в Петербург. На прощанье в Москве обокрали квартиру: всю одежду мою и женину. Это была катастрофа. Кое-как прикрыли наготу с помощью родных, распродали мебель – и в Петербург.

Там поселился в «Доме Искусств». Сперва снова лежал около месяца. С начала 1921 г. жили сносно. У меня – ученый паек и кое-какая работа, у жены – служба. Хорошие две комнаты, чисто, градусов 10–12 тепла. В Петербурге настоящая литература: Сологуб, Ахматова, Замятин, Кузмин, Белый, Гумилев, Блок. Чудесная, милая литературная молодежь: «Серапионовы братья», кружок «Звучащая раковина». Конец лета провел в «Бельском Устье», в Покровском у., Псковской губ., в колонии «Дома Искусств». Отъедался вообще и объедался фруктами. Много писал стихов с середины лета 1921 до февраля 1922. Готова у меня книга новая «Тяжелая лира». В эту же зиму издал и переиздал в Петербурге шесть книг своих.

И все было хорошо. Но с февраля кое-какие события личной жизни выбили из рабочей колеи, а потом привели сюда, в Берлин. У меня заграничный паспорт на шесть месяцев сроком. Боюсь, что придется просить отсрочки, хотя больше всего мечтаю снова увидеть Петербург и тамошних друзей моих и вообще – Россию, изнурительную, убийственную, омерзительную, но чудесную и сейчас, как во все времена свои.

*Берлин, июль 1922 г.*

## Младенчество

Очень важная во мне черта – нетерпеливость, доставившая мне в жизни много неприятностей и постоянно меня терзающая. Может быть, происходит она от того, что я, так сказать, опоздал родиться и с тех пор словно всё время бессознательно стараюсь наверстать упущенное. Старший из моих братьев был на целых двадцать два года старше меня, а сестра, ближайшая ко мне по времени рождения, – на одиннадцать. Когда я родился, отцу шел пятьдесят второй год, а матери – сорок второй. В семье очутился я Венямином, поскребышем, любимцем. Надо мною тряслись, меня баловали – всё вместе довольно плохо отразилось на моем здоровье, на характере, даже на некоторых привычках. Боясь, как бы не заболел у меня животик, Бог весть до какого времени кормили меня кашкою да куриными котлетками. Рыба считалась чуть ли не ядом, зелень – средством расстраивать желудок, а фрукты – баловством. В конце концов у меня выработался некий *вкусовой инфантилизм*, т. е. я и по сию пору ем только то, что дают младенцам. От рыбы заболеваю, не знаю вкуса икры, устриц, омаров: не пробовал никогда.

Мое опоздание помешало мне даже в литературе. Родись я на десять лет раньше, был бы я сверстником декадентов и символистов: года на три моложе Брюсова, года на четыре старше Блока. Я же явился в поэзии как раз тогда, когда самое значительное из всех современных течений уже начинало себя исчерпывать, но еще не настало время явиться новому. Городецкий и Гумилев, мои ровесники, это чувствовали так же, как я. Они пытались создать акмеизм, из которого, в сущности, ничего не вышло и от которого ничего не осталось, кроме названия. Мы же с Цветаевой, которая, впрочем, моложе меня, выйдя из символизма, ни к чему и ни к кому не пристали, остались навек одинокими, «дикими». Литературные классификаторы и составители антологий не знают, куда нас приткнуть.

Первым проявлением моей нетерпеливости было то, что я поспешил увидеть свет на две недели раньше, чем мне полагалось. Это событие произошло в 1886 году, 16 мая по старому

стилю, в поддень. Родители мои жили в Москве, в Камергерском переулке, в доме Георгиевского монастыря, впоследствии перешедшем к Синодальному ведомству. Дом был кирпичный, нештукатуренный, двухэтажный – верхние этажи, надстроенные позже, – и приходился как раз напротив того дома, в котором тогда помещался театр Корша, затем – увеселительное заведение Шарля Омона и наконец – Художественный театр, существующий в этом здании по сей день.

Поторопившись родиться, поторопился я совершить первую в моей жизни бестактность: досточтимому отцу Овельту, настоятелю польской церкви (что в Милютинском переулке), при погружении меня в купель совершенно отчетливо показал я нос. Достоверное предание о сем происшествии сохранилось в семье. За веселым началом последовало, однако ж, печальное продолжение. Я был слаб и хил чрезвычайно. А тут еще через несколько дней на языке у меня появилась опухоль, которая быстро росла и из-за которой я наотрез отказывался принимать пищу.

Кормилицы, которых брали ко мне, уходили на другой день, говоря, что им невыгодно терять время, ибо я все равно «не жилец». Наконец, нашлась одна, которая согласилась остаться, сказав: – «Бог милостив – я его выхожу». Доктора между тем не знали, что делать, не решаясь на операцию. Когда я уже почти умирал, одному из них, Смигу, англичанину родом, пришлось в голову прижечь волдырь ляписом. Это подействовало, мой типун исчез так же быстро, как появился. Смит надолго остался моим детским врачом, а на языке у меня на всю жизнь сохранилось небольшое затвердение, которое мой отец называл заплаткой. Осталась при мне и кормилица, Елена Александровна Кузина, крестьянка Тульской губернии, Одоевского уезда, Касимовской волости, села Касимова. Своего мальчика, ровесника моего, она отдала в Воспитательный дом, где он вскоре и умер. Таким образом, моя жизнь стоила жизни другому существу. О самой няне я скажу позже.

О носе, показанном ксендзу Овельту, о заплатке, о появлении няни я знаю, разумеется, по рассказам. Все эти события

допамятные, для меня как бы доисторические. Сюда же относится и рассказ о первом слове, мною произнесенном. Сестра Женя, которой было тогда двенадцать лет, катала меня, как куклу, в плетеной колясочке на деревянных колесах. В это время зашел котенок. Увидев его, я выпучил глаза, протянул руки и явственно произнес:

– Кыс, кыс!

По преданию, первое слово, сказанное Державиным, было – Бог. Это, конечно, не в пример величественней. Мне остается утешаться лишь тем, что вообще

есть же разность  
Между Державиным и мной,

а еще тем, что в конце концов, выговаривая первое слово, я понимал, что говорю, а Державин – нет.

Любовь к кошкам проходит через всю мою жизнь, и меня радует, что с их стороны пользуюсь я взаимностью. Мне нравится заводить с ними летучие уличные знакомства и, признаюсь, моему самолюбию льстит, когда бродячий и одичалый кот по моему зову подходит ко мне, жметя к ногам, мурлычет и идет за мной следом. Несколько лет тому назад, поздно вечером, познакомился я с одним таким зверем у Пон де Пасси. Немного поговорив, мы пошли вместе, сперва по набережной, потом по авеню Боске. Он не отстал от меня и на рю Сен-Доминик, по которой двигалось много народу, расходившегося с декоративной выставки. Как истые парижане, мы зашли в бистро и выпили: я – рюмку коньяку, он – блюдечко молока. Потом он проводил меня до дому и, судя по всему, был не прочь остаться со мной, но к несчастью я жил, в отеле.

Существует ходячее мнение, будто бы кошки не приживаются к человеку и будто бы они глупы. Их сравнивают с собаками. Я не люблю этих ребяческих рассуждений. Не стоит искать в животных маленького, расхожего ума. За таким умом лучше ходить просто в гости, потому что и самый глупый из наших знакомых всё-таки умнее самой умной собаки. Кошки не

любят снисходить до проявления мелкой сообразительности. Они не тем заняты. Они не умны, они мудры, что совсем не одно и то же. Сощуриив глаза, мой Наль погружается в таинственную дрему, а когда из нее возвращается – в его зрачках виден отсвет какого-то иного бытия, в котором он только что пребывал.

Кошки настроены мечтательно и философически. Они непрактичны и не всегда считаются с обстоятельствами. Поэтому безоглядна их храбрость. Двухмесячный котенок, когда я его пугаю, не обращается в бегство, а спешит перейти в нападение. Они горды, независимы и любят рассчитывать только на себя. Поэтому дружба их лишена бурных проявлений и в ней нет ни намека на подхалимство. Обидевшись на вас, кот способен дуться по целым дням и целыми неделями делать вид, что он вас не замечает. Кот решительно не желает сторожить ваш дом, потому что он вам не слуга. Но он любит быть вашим собеседником – молчаливым, мурлыкающим или мяукающим – всегда поразному. Он любит спорт и хочет, чтоб вы разделяли его увлечение. Покойный Мурр являлся ко мне в любой час дня или ночи и до тех пор кричал (несколько в нос) «Сыграем! Сыграем!» – покуда я не соглашался сыграть с ним в прятки. Он носился по комнатам, прячась за мебель и за портьеры и заставляя меня его отыскивать, – и готов был длить забаву до бесконечности, хотя у меня уже ноги подкашивались от утомления. Зато и нет ничего более трогательного, чем кошачья дружба. Она проявляется в особенности тогда, когда плохи ваши обстоятельства или тяжело у вас на душе. Положительно могу утверждать, что стоило мне быть расстроенным – кот, до этой минуты не обращавший на меня внимания, тотчас приходил ласкаться. Это кошачье участие всегда исполняет меня глубокого умиления. Вот и теперь, когда Зайчуров, дорогой друг мой, встретив меня в печальную булонскую ночь, бежит за мною по улице, – горечь отходит от моего сердца и начинает казаться, будто

Легко мне жить, и дышать мне не больно.

Первое воспоминание относится у меня к очень ранней поре: никак не позже, чем к лету 1888, а может быть, даже к лету 1887 года – к тому времени, когда я еще не умел ходить или ходил очень плохо. Закрываю это из того, что отчетливо помню свой наряд: на мне – пикейная круглая шляпа с полями и длинная пикейная пелерина, такая, в какой ходить по земле невозможно. Няня держит меня на руках. Мы с ней стоим в Петровском-Разумовском на плотине, у входа в парк. За спиной у нас пруд, а перед нами – просторное болото. Влево, к фабрике Иокиша, уходит Михалковское шоссе. На шоссе стоит городской. Он подходит к няне, говорит с ней, потом протягивает мне палец, я за этот палец хватаюсь, и городской целует мне руку. Мне очень совестно и даже боязно перед моими левыми друзьями, но с этой сцены начинается моя жизнь, ибо с нее начинается мое сознание. Я должен даже покаяться, что знакомство с этим городским (у него была русая борода и русые усы) продолжалось у меня очень долго. Я сравнительно часто бывал в Петровском-Разумовском уже после того, как мы перестали ездить туда на дачу, а городской всё стоял на своем посту, только его перевели к паровичку. Таким образом, я рос у него на глазах. Когда уже был я взрослым, он неизменно козырял мне и спрашивал про моих родителей, про сестер и братьев. В последний раз я видел его в 1911 году.

С Разумовским вообще связаны мои ранние воспоминания. Одно из них – сильнейшая гроза, бурный ливень, а потом – голубое небо, и солнце, и капли, падающие с деревьев. Над Михалковским шоссе – беловатый туман, и в этот туман уезжает пролетка, в которой сидят отец с матерью. И все кругом говорят, что отец едет в Париж на выставку. Действие происходит, следовательно, в 1889 году. Помню затем возвращение отца, привезенную им бронзовую модель Эйфелевой башни и рассказы его об этой башне, поражающие мое воображение.

Парижская выставка 1889 года дает мне возможность датировать чрезвычайно важное событие моей жизни. В то лето приезжала из Ярославля моя сестра Маня с мужем Михаилом Антоновичем, которого я смертельно боялся и которого

ненавидел всею душой за то, что он меня обучал хорошим манерам. Впоследствии я понял, что это хороший и добрый человек, но о педагогике он не имел ни малейшего представления. Он меня дрессировал, как собачку. Дело не в нем, однако. Мне ясно помнится летнее утро и скамеечка на дорожке, идущей от калитки к террасе. Мы с Маней сидим на скамеечке, и сестра учит меня читать. Я уже знаю буквы (когда и как научился – не помню), но слоги мне не даются. В азбуке, по которой мы учимся (теперь я узнал бы ее из тысячи других), как водится, напечатаны маленькие картинки, а под ними – соответствующие слова; нарисовано ухо – под ним стоит: «УХО», нарисованы сани – под ними – «САНИ». Я очень скоро сообразил, что не стоит трудиться разбирать слова, если можно читать, просто смотря на картинку. Мы уже миновали и сани, и ухо, и дом, и многое другое, как вдруг мой прием обнаружился: посмотрев на очередную картинку, я не задумываясь прочел: пчела. Не тут-то было: это была не пчела, а оса. Азбуку заменили другой, без картинок, и мне пришлось учиться читать по-настоящему. Годом к четырем я был уже чтец заправский, и вскоре стал поглощать книжку за книжкой. Брат Миша постепенно составил мне целую библиотеку из сказок и нравоучительных повестей, изданных Обществом распространения полезных книг. «Конька-Горбунка» я вскоре выучил наизусть и очень его полюбил (и люблю до сих пор). Книжечки были тоненькие, в разноцветных обложках. Продавались они по копейке, по две. Вскоре начали мне дарить книжки и подороже. Подарили Пушкина, уверяли, что это очень хорошо, – мне же после «Конька-Горбунка» сказки Пушкина казались незначительны. Подарили мне также Лермонтова, но эту книжку я много лет и раскрыть боялся: картинка, изображающая скелет на кровати (иллюстрация к «Боярину Орше»), навела на меня настоящий ужас. Она снилась мне по ночам.

Я очень рано узнал о смерти, хотя в семье нашей никто не умирал. Я боялся темноты, покойников и особенно – ада, в который Бог отправляет грешников, чтобы их там мучили черти.

Я также знал, что черти иногда появляются на земле, в полночь, а на рассвете проваливаются.

Поэтому, когда брат Стася провалился на экзамене, он стал мне казаться существом весьма подозрительным, тем более, что дома его все ругали и от него сторонились. Это подозрительное отношение особенно усилилось, когда Стася поступил на медицинский факультет, и я узнал, что существует на свете страшное место – *антонический театр*, где лежат покойники и где их режут. Я очень хорошо понял, почему театр называется антоническим: туда попадают люди, у которых случился *Антон-фагонь*, страшная болезнь, от которой (слышал я) нет спасения и после которой одна дорога – в огонь, в ад. Я очень боялся, что и у меня будет Антон-фагонь. Я старался вести себя хорошо, чтобы не случилось со мною такого ужаса.

Не тут-то было: в один прекрасный день мне таки объявили, что вечером меня повезут в театр. Я заорал благим матом и орал так до самого вечера. Наконец мне сказали, что едем мы не в театр, а к няне в деревню. На это я согласился – не без опаски. Наконец, привели извозчика. Меня вынесли, укутанного с головой. Уселись, тронулись. Я впервые был ночью на улице. Большая Дмитровка, освещенная редкими фонарями, в которых плясали и колыхались красные огни, представилась мне бездной, в которую мы проваливаемся. Наконец приехали. Нянина деревня мне показалась красивым, нарядным местом. По стенам было много золота. Множество народа разместилось по всем этажам, на балконах, вдоль которых тянулись черные трубки. Над трубками торчали острые золотые огоньки: Большой театр тогда еще освещался газом. Вдруг огоньки стали синими, вокруг потемнело. Зато справа от меня, вдали и внизу, открылось просторное, светлое пространство, похожее на алтарь в костеле. Какие-то удивительно ловкие и проворные люди там прыгали и плясали, то поодиночке, то парами, то целыми рядами. Одни из них были розовые, как я, другие – черные, арапы. Они мне казались голыми, потому что были в трико, и очень маленькими вследствие отдаления: почти такими же маленькими, как пожарный, что ходит на каланче против дома генерал-губернатора. Замечательно, что музыки я словно не слышал, и

она выпала из моей памяти. Потом вдруг там, где плясали, всё вновь потемнело, а вокруг меня опять стало светло, и в то же мгновение услышал я шум проливного дождя. Но дождя не было, и я, осмотревшись, понял, что шум происходит от того, что много людей одновременно бьет в ладоши. Потом было что-то еще, какая-то смесь огней, людей, лошадей, потом мы очутились дома, и я должен был признаться, что нянина деревня мне очень понравилась, и что я хочу сейчас же ехать туда опять. Мне сказали, что скоро опять поедем, когда там будут «Волшебные пилюли». А сегодня была «Кипрская статуя».

С того дня всё мое детство окрашено страстью к балету и не вспоминается мне иначе, как в связи с ним. Балет возымел решительное влияние на всю мою жизнь, на то, как слагались впоследствии мои вкусы, пристрастия, интересы. В конечном счете, через балет пришел я к искусству вообще и к поэзии в частности. Большой театр был моей духовной родиной. С благоговением и благодарностью вспоминаю его торжественное величие, его облачный и мифологический плафон, его пышную позолоту, алый бархат партера, пурпурный штоф занавесей в его ложах, величавую и строгую пустоту царской ложи, в таинственном мраке которой тускнеет зеркало; в большие дни зажигаются там золотые тяжелые канделябры. Мне до мелочей памятны полукруглые коридоры театра, отшлифованные ступени его каменных лестниц и совершенно особенный, неповторимый, немного приторный запах зрительного зала: он казался мне смесью шоколада, духов и сукна.

Вряд ли мир видел столь юного балетомана. Однако лет с четырех я стал именно балетоманом и благодаря этой ранней сознательности помню такие балетные времена, каких сверстники мои, разумеется, уж не помнят. Очень скоро, без посторонней помощи, силою лишь любви и внимания, научился я отличать друг от друга не только балеты, но и отдельных артистов и даже тонкости их восхитительного ремесла. Уже весьма пожилую, уже сходящую со сцены Гейтен, признаюсь, помню смутно. Зато отчетливо видятся мне и милая Рославлева с мягкой задушевностью ее танца, и хрупкая Джури, с ее игольчатыми движениями, и – вся быстрота и огонь – Федорова 2-ая, и

чистый профиль Домашевой 2-ой (той, что позднее перешла в драму), и первые успехи восходящей звезды – Гельцер.

В годы раннего моего балетоманства обстановочная часть находилась в руках «машиниста и декоратора» Вальца. Впоследствии к ней привлекли настоящих художников. С появлением Клодта и в особенности К. А. Коровина декорации и костюмы, разумеется, много выиграли в отношении художественном. Коровинская «Эсмеральда» была событием. Но должен признаться, что о пресечении вальцевской традиции мне порою хотелось вздохнуть. Постановки Вальца были отчасти безвкусны, но в них было столько таланта и волшебства, в самом безвкусии было столько прелести, а в их наивном натурализме столько нечаянной и прелестной условности, что их всё-таки нельзя не назвать очаровательными. В 1921 году, в Петербурге, случилось мне видеть «Раймонду», поставленную в выцветших, «дореформенных» декорациях того же стиля, – это было необыкновенно хорошо.

Было бы удивительно, если бы увлечение балетом не вызвало с моей стороны попыток самостоятельного творчества в том же роде. И в самом деле – по целым дням вертелся я на ковре в гостиной, импровизируя перед трюмо целые балеты, в которых я был единственным действующим лицом, – так сказать, монобалеты. К кому-то из моих братьев порой заходил артист Большого театра Дмитрий Спиридонович Литавкин. Я смотрел на него с обожанием. Как танцовщик, принадлежал он к числу заметных, но все же второстепенных величин. В «Коньке-Горбунке» и в «Жизни за Царя» танцевал он мазурку в первой паре – это была его коронная роль. Он дал мне несколько уроков или, вернее, показал несколько приемов, благодаря которым мои упражнения перестали быть слишком дилетантскими. По-видимому, способности к танцам у меня были очень большие. Меня показывали знакомым, как чудо-ребенка. Общие одобрения доходили до того, что хоть родители мои были людьми старинных воззрений, всё же весьма серьезно обсуждался вопрос, не следует ли меня впоследствии отдать не в гимназию, а в театральное училище. К этому всё и шло, и я уже воображал

себя на голубой, лунной сцене Большого театра, в трико, с застывшей улыбкой на лице, округленно подняв левую руку, а правой – поддерживающую танцовщицу в белой пачке, усеянной золотыми блестками. Этим мечтам не суждено было исполниться. Лет шести я стал хворать бронхитами. Доктор Смит объявил, что мои легкие не выдержат балетной учебы. Я покорился, потому что был очень послушным ребенком, и потому, что к тому времени начались у меня некоторые другие увлечения, о которых скажу впоследствии. Тем не менее, я и теперь иногда жалею, что не довелось мне стать танцовщиком. Навсегда сохранилась у меня любовь к балету. Я люблю танцовщиков и танцовщиц – хотя бы просто за то, что они избрали себе красивое и утешительное поприще, на котором не довелось мне стать их товарищем. Мне всегда хочется видеть их счастливыми, и смерть кого-нибудь из них меня всякий раз глубоко волнует.

Я забыл сказать, что в балетных своих упражнениях я неизменно изображал танцовщицу, а не танцовщика. Оно и понятно: в классическом балете танцовщице принадлежит роль несравненно более видная и выигрышная. Должно быть, это обстоятельство (в связи с моей хрупкостью) отчасти способствовало тому, что во мне развились черты и склонности женственные. Я не очень любил играть с детьми, но уж если играть, то предпочитал с девочками. К тому же и рос я, так сказать, в гинекее: с мамой, с няней, с бабушкой, с сестрой Женей. Женя же (хоть она и уверяет теперь, будто это неправда) была и осталась отчаянной модницей. Мне нравилось, что она такая наряженная, тоненькая и стройная, что у нее красивые руки и ноги, что даже коричневое гимназическое платье с черным фартуком так хорошо на ней сидит. То и дело она совещалась с мамой и Сашенькой (домашней портнихой), ходила по магазинам, рассматривая модные картинки. Я стал очень недурно разбираться в дамских нарядах, потому что во мне развилось к ним внимание, и уверен, что до сих пор кое-что в этом смысле. Главное же – я сам стал настоящий фронт. Помню дикий скандал, учиненный мною из-за того, что на матросский воротничок нашили мне какой-то мещанский золотокрасный сутажики, тогда как

хороший тон требовал широкой белой или черной тесьмы. Я терпеть не мог дурно одетых дам и любил гулять с Женей, потому что она была хорошо одета. Чаще всего мы ходили в Солдовниковский пассаж, в котором я знал наизусть все магазины: Ускова (матери), Рудометкина (приклад, сейчас же у входа, слева), Семенова (тоже приклад, но ужасно дорого!). Пассаж был местом прогулок, свиданий, ухаживаний. Московские львы в клетчатых серых брюках разгуливали по нему с тросточками или стояли у стен «заглядывая под шляпки», как тогда выражались. Пианист Лабоди, автор популярных вальсов, и крошечный офицер Тишенинов (впоследствии генерал) считались, кажется, первыми сердцеедами. В соседнем пассаже, Голофтьевском (где однажды в год служились молебны, после которых играл оркестр, и публика гуляла по каменным плитам, устланным можжевельником); случилась со мною история. Мама зашла в меховой магазин Михайлова (в тот, у дверей которого дежурили полосатый тигр и бурый медведь с деревянным подносом в лапах), мне же велела ждать, сидя на скамеечке. Через несколько минут нетерпение, вечный враг, стало меня терзать. Я вообразил, что мама обо мне забыла и вышла в противоположную дверь: магазин был сквозной. Не растерявшись, решил я идти домой и стал искать, кто бы мог меня проводить, Наконец, я увидел барышню, достаточно нарядную и хорошенькую блондинку, с которой не стыдно пройти по улице (блондинки мне нравились, я твердо решил жениться на блондинке, которую будут звать Марией). Подойдя к ней, я шаркнул, приподнял шапочку и сказал:

– Проводите меня домой, я потерялся.

Потом мы шли с барышней по Кузнецкому переулку вверх, и я занимал ее рассказами о своих танцах. Дойдя до дому, я заставил свою спутницу подняться по лестнице и позвонить, потому что мне было не дотянуться до звонка. Пока открывали дверь, барышня исчезла. Няня при виде меня обомлела и, закинув меня на плечо, помчалась назад к пассажию. Перед пассажем увидели мы толпу народа, окружавшего маму, которая билась в

истерике. Ей не столько сочувствовали, сколько ее ругали. Встреча была патетическая, но дома меня поставили в угол.

С няней ходил я в Александровский сад, а чаще – в Нарышкинский сквер. Я ехал на трехколесном велосипеде, а няня шла рядом. Узкая полоса тротуара перед выступающим вперед крыльцом университетской типографии была покрыта чугунной плитой с нарезками. Проезжать по ней мне казалось очень опасно и трудно, плита же под колесами велосипеда глухо гремела, и от нарезов по велосипеду бежала жесткая дрожь, от которой в локтях становилось щекотно. В сквере была отгороженная площадка для детских игр. Няньки сидели кругом на лавочках – то был настоящий клуб няnek и гувернанток, а кстати и рекомендательная контора. К няне моей то и дело подходили какие-то женщины в толстых «дипломатах» и непременно – с толстым клетчатым или серым платком на руке. Подсаживаясь, они каким-то льстивым и таинственным голосом говорили:

– Миленькая, не слышали ли местечка?

Это «местечко» казалось мне чем-то таинственным, чем-то вроде сердечка: оно где-то бьется часто и мелко, как часики, – иногда его, вероятно, можно расслышать, но как и где, и почему именно няня могла его слышать, и зачем оно нужно всем этим женщинам?

В 1918 году, когда большевиками овладела мания ставить памятники, на этой площадке водрузили почему-то памятник Генриху Гейне. Какой-то чахоточный господин с бородкой сидел в кресле, а у ног, ластясь, примостилась полуголая баба с распущенными космами – не то Лорелея, не то Муза. Памятник сделан был из какой-то белой дряни и внутри пуст.

Зимой 1921 года я проходил мимо него. У Гейне нос был совсем черный, а у Лорелеи отбили зад, на месте которого образовалась дыра, наполненная грязной бумагой, жестянками и всяким мусором. Детей не было, не было даже ворон на голых деревьях.

Однажды, когда мы с няней шли домой и собирались переходить улицу, городской нас остановил, и в ту же минуту по

коночным рельсам, у самой ограды сквера, в трех шагах от меня, проехала открытая коляска. Толстый кучер правил парой вороных лошадей, шедших тяжелым, медленным «тропцем». В коляске, ближе ко мне, сидела дама, вся в черном, а рядом с ней человек в военном мундире. Кто-то рядом сказал: «Государь!» Няня сдернула с меня шапочку. Я хорошо разглядел и навсегда запомнил повернутое к государыне лицо Александра III, с ровно подстриженной бородой, лицо, показавшееся мне милым и добрым в своей крупной, мясистой мягкости, и тяжелый взгляд из-под бровей, крепко сдвинутых.

Государь мне очень понравился. В тот же день (или на другой день) мы с няней пошли смотреть его на площадь перед генерал-губернаторским домом. Толпа ждала его выхода и долго редела «ура», когда на балкон вышла группа военных, в которой я не успел различить государя. Вечером на Большой Дмитровке горела иллюминация. От фонаря к фонарю на проволоках висели разноцветные шкалики, а на тумбах вдоль тротуара, чадая и шипя, полыхали плашки. Их пляшущие огни делали страшными лица прохожих, и страшными мне казались огромные тени флагов, летавшие по домам.

С осени 1886 года жили мы на Большой Дмитровке, в доме Нейдгардта. В те времена московские дома различались не по номерам, а по фамилиям домовладельцев, которые, впрочем, редко писались над воротами. Обычно, чтобы найти нужный дом, приходилось спрашивать у местных жителей. Это неудобство, однако же, придавало московской жизни своеобразный уют, с которым москвичи не хотели расстаться: вплоть до революции наряду с официальной нумерацией (при которой дом Нейдгардта получил ном. 14) сохранялся обычай звать дома по фамилиям.

Прямо против наших окон приходилось красивое старинное здание, выстроенное в стиле московского ампира. Теперь его уже нет. В нем помещалось нечто вроде кафешантана, носившего имя «Салон де варьете». По вечерам подъезжали к нему коляски, лихачи, тройки; за освещенными окнами виднелась нарядная публика. Место считалось весьма неприличным, и

моей сестре было строго запрещено по вечерам подходить к окну. Я же перед окном в столовой проводил целые часы, то с книгой, то расставляя солдатиков на широком подоконнике, несколько загроможденном горшками с фикусами, филодендронами и другими растениями, бывшими в моде. Всего же чаще я просто глядел на улицу, довольно, впрочем, пустынную: трамвай прошел по Большой Дмитровке много позже, а тогда не было даже конки. Несколько наискосок от нас помещалась пивная, в узкую дверь которой то и дело шмыгали люди в чуйках, рабочие, оборванцы, порою – солдаты с бабами; зимою из двери вырывались клубы занимавшего меня пара. По обеим ее сторонам были синие вывески с пенистыми кружками и надписями: над кружкою – «Кружка пива», а внизу – «5 коп.».

Каждый день ровно в три часа к нашему дому подъезжала шикарная узенькая пролетка без верха, так называемая эгоистка, зимой – такие же узкие сани. Это домовладелец, камер-юнкер Александр Борисович Нейдгардт, красивый молодой господин с русыми усами, в черном пальто с бархатным воротником и в цилиндре либо в бобровой шинели и высокой бобровой шапке, являлся наводить порядок. Старший дворник Антон уже ждал его у ворот, а потом долго ходил за ним по лестницам и дворам, держа шапку в руках: ни в дождь, ни в мороз шапку надевать не дозволялось. Демократическое население дома ненавидело Нейдгардта и называло его Богородицей. Детей, обычно играющих на дворе, перед его приездом дворники разгоняли. Двор пустел.

Как памятен мне этот двор, квадратный, немного покатый к воротам, сперва мощный мелким бульбжником, потом залитый асфальтом. Памятно мне и его население: вдова Горбунова с двумя сыновьями-гимназистами, акушерка Баркова, многосемейный портной Раич, страдающий ревматизмом, зимой и летом ходивший в валенках, Аксинья, торговка яблоками, вечно пьяная старуха, тощая и презлющая, готовая «осрамить» кого хочешь; в пылу перебранки сражает она противника тем классическим аргументом, каким баба Ивана Никифоровича поразила Ивана Ивановича: повернувшись спиной, подымет юбки.

Порою проходят мастерицы модистики Шипулиной – горячки ужасные; в синих коленкоровых платьях и белых пелеринках, с ножницами на поясе, пробегают девочки из модной мастерской Екатерины Алексеевны Ильиной; среди них – Анюта, молочная сестра моя: она за что-то наказана и осуждена всю неделю носить бумажный колпак. Иногда я вывожу из сарая, точно коня, свой велосипед и катаюсь по двору. Иногда мы играем в чижики с маленьким сыном Раича либо с губастым Степкой, сыном шипулинской кухарки.

Интересно бывает следить из окна за всем, что делается на дворе. На подоконник в няниной комнате я поставил скамеечку для ног и сижу на ней. Няня гладит белье. Весна. Окно раскрыто, и я сижу в нем, как в ложе. Подо мною – покатая железная крыша – навес над лестницей в дворницкую, которая находится в подвале. На крыше стоят горшки из-под гиацинтов: от Пасхи до Пасхи мама хранит их луковицы. Мы сами еще не скоро поедем на дачу, а вот какие-то счастливцы уже отправляются: ломовые громоздят мебель на воз: наверное, всё переломают. А вот вынесли клетку с попугаем. Я вытягиваю голову, привстаю – и вдруг двор, который был подо мной, стремительно подымается вверх, все перекувыркивается вверх тормашками, потом что-то ударяет меня по голове, на затылок мне сыплется земля, а я сам, глядя в синее небо, сползаю по крыше вниз, ногами вперед. Рядом со мной с грохотом катится цветочный горшок. Он исчезает за краем крыши, а я утыкаюсь каблуком в желоб и останавливаюсь. Потом нянин крик и занесенная надо мной огромная нянина нога в белом чулке с красной тесемкой под коленом. Меня хватают на руки, и через то же окно мы возвращаемся в комнату. Дома никого нет. Няня меня одевает, и мы на извозчике отправляемся прямо к Иверской. Няня ставит свечу и долго молится, и прикладывается ко всем иконам, и меня заставляет прикладываться. Не зацепись я за желоб, пролетел бы целый этаж и мог сильно разбиться, если не на смерть. Дома няня рассказывает все маме. Мама плачет и бранит то ее, то меня. Крик. Все плачут, все меня обнимают. Потом меня ставят в угол.

Меня наказали за то, что я был неосторожен, и для того, чтобы я был вперед осторожнее. Но такая логика детскому уму недоступна, либо еще хуже – представляется ему лживою казуистикой. По-моему, выходило просто, что меня наказали за то, что я упал из окна. Иными словами – вместо того, чтобы меня жалеть, утешать и даже вознаграждать за Бог весть откуда свалившееся несчастье, – мне причиняют новое, незаслуженное горе. Такие случаи были часты в моем детстве, как вероятно, в детстве каждого из нас. Я их переживал мучительно. Мне казалось не то ужасно, что именно со мною несправедливы, но что вообще – как можно жить в мире, где делается такое? От этих мыслей я как бы внутренне задыхался, захлебывался. Надо еще прибавить, что я был необычайно серьезен (актер Сашин, известный в свое время комик, прозвал меня маленьким старичком) – над серьезностью этой подтрунивали, и тогда я казался себе предметом общего издевательства. Однажды на даче кухарка Агафья резала цыплят. Отрезав цыпленку голову, она выпустила его из рук; истекая кровью и шатаясь, как пьяный, безголовый цыпленок бежал несколько шагов по траве и падал. Какие-то бабы смеялись. Случилось после того, что сестра меня чем-то обидела – я заревел. Она надо мной подшутила. Тогда, свету не взвидев, я высказал всё, что в душе скопилось:

– Да, вот – зарезали петуха и над ним смеетесь!

Как многие дети, я часто задумывался, не подкидыш ли я, и преполнялся к себе жгучею жалостью. Порою после какой-нибудь неприятности я находил наслаждение в том, что изо всех сил бередил эту рану. Я запирался в самом отдаленном и отнюдь не для того предназначенном уголке квартиры, и там, в тесноте, при свете огарка, предавался страшным мечтам. Мне виделись душераздирающие семейные сцены, навеянные чтением Диккенса и Шпилльгагена. Я в них играл роль жертвы, столь несчастной и столь благородной, как только можно себе представить. При этом я думал о себе в третьем лице: «он». Каждый раз все кончалось тем, что «он», произнеся самую сердцещипательную и самую самоотверженную речь в мире, всех примирив, всё устроив, всех сделав счастливыми, падал

жертвою перенесенных страданий: «Сказав это, он приложил руку к сердцу, зашатался и упал мертвым». Далее воображал я уже надгробные о себе рыдания – и сам начинал плакать. То были, однако, сладкие слезы, очистительные, как все, проливаемые над вымыслом. Свое странное убежище я покидал умиротворенный и размягченный сердечно, в некоей духовной приподнятости, и давал себе слово впредь быть именно таким хорошим и великодушным, каким только что себя воображал.

Приступы сих трагических переживаний особенно часты были, когда мне было лет восемь и я уже учился в школе. Постепенно они начали себе находить выражение и отчасти исход в стихах, слагавшихся, впрочем, под влиянием литературных образцов особого рода. Но тут я хочу вернуться немного назад, к самому возникновению писательских моих опытов.

Мне было лет шесть, когда сочинил я первое двустипшие, выражавшее самую сущность тогдашних моих чувств:

Кого я больше всех люблю?  
Ведь всякий знает – Женичку.

Не следует думать, что это двустипшие вовсе лишено рифмы. В основу рифмоида «люблю – Женичку» положено очень верное чувство рифмы и ритма. В книжной поэзии я помню только один случай такой рифмовки дактилического окончания с мужским: «антраша» и «профессорша» у Андрея Белого в «Первом свидании». Она, однако же, часто встречается в народных песнях, от самых старых до современных частушек включительно. Гораздо труднее мне было бы защитить другое стихотворение, сохранившееся в моей памяти. Оно было навеяно вербным торгом, который в то время устраивался на Театральной площади и лишь несколько позже был перенесен на Красную:

Весна! выставляется первая рама –  
И в комнату шум ворвался,  
И благовест ближнего храма,  
И говор народа, и стук колеса.

На площади тесно ужасно,  
И много шаров продают,  
И ездют мимо жандармы,  
И вербы домой все несут.

Недостатки второй строфы очевидны. Первую же, как уже заметил читатель, я взял у Майкова – не потому, что хотел украсть, а потому, что мне казалось вполне естественным воспользоваться готовым отрывком, как нельзя лучше выражающим именно мои впечатления. Майковское четверостишие было мной пережито, как мое собственное. В этом нет ничего удивительного. Одна современная поэтесса по той же самой причине первым *своим* стихотворением считает «Казачью колыбельную песню» Лермонтова.

Тогда же я пробовал силы в драматургии. Симметрия, должно быть, казалась мне основным архитектурным законом драмы. Поэтому в толстой клеенчатой тетради сосчитал я страницы, разделил ее на четыре равные части и в соответствующих местах надписал: «Действие первое», «Действие второе», «Действие третье», «Действие четвертое». Затем тетрадь была заполнена текстом, представлявшим собою комедию «Нервный старик» – подражание какой-то комедии Мясницкого, которую в то время мои братья репетировали для любительского спектакля. За комедией последовала драма «Выстрел». Страницы были отсчитаны, как и в первый раз, но дальше одной сцены дело не пошло. Зато эту сцену я помню в точности: «Гостиная в доме г-жи Ивановой. Г-жа Иванова, г-жа Петрова. Перед поднятием занавеса за сценою слышен выстрел.

*Г-жа Петрова.* Ах, что это такое? Кажется, выстрел!

*Г-жа Иванова.* Не беспокойтесь, пожалуйста. Это мой муж застрелился».

В столь юном возрасте человек развивается быстро. Вскоре я стал писать стихи гораздо более осмысленные. То были четверостишия или шестистишия нравоучительного содержания, вроде апологов Дмитриева, но, разумеется, чрезвычайно наивные. (Впрочем, и Дмитриевские апологи довольно грешат

наивностью: недаром Пушкин с Языковым так потешались над ними). Наконец, от апологов перешел я к чистой лирике, в которой пытался передать сердцещипательные и надрывные свои переживания.

Романы дали толчок содержанию. Форму пришлось заимствовать из другого источника. Сестра, братья, какая-то молодежь, бывавшая в доме, порой напевали романсы, отчасти цыганские, отчасти салонные. «Очи черные», «Глядя на луч пурпурного заката» и тому подобные произведения сделались моими литературными образцами. Романс, начинавшийся словами:

Как прощались,  
Расставались,  
Слезы так текли рекой,  
Но мы вскоре  
Забудем горе,  
Лишь увидимся с тобой,—

казался мне верхом поэтического совершенства. Я стал сочинять любовные романсы самого что ни на есть унылого содержания и порою при этом пускал слезу. Кто-то мне подарил целую пачку карне де баль; то были кусочки разноцветного глянцевого картона, сложенные пополам; на второй странице отпечатано было золотом расписание танцев, а прочие три оставались чистыми. К каждой такой тетрадочке на розовом или голубом шелковом шнурке был привешен тоненький лакированный карандашик, тоже розовый или голубой. Этими-то карандашиками и писал я, покрывая чистые страницы тетрадочек томными стихами, в которых неизменно фигурировали такие поэтические вещи, как ночь, закат, облака, море (которого я никогда не видел) и тому подобное. Моя «поэзия» явно носила оттенок салонный и бальный, сам же я казался себе томным, задумчивым и несчастным юношей, готовым умереть от любви и чахотки. Чахотка мне угрожала действительно. Доктор Смит прописал мне креозот, который я пил в изрядном количестве в молоке прямо из чашки, чем и сгубил навсегда свои зубы.

Сладковатый вкус и дегтярный запах креозота мне очень нравились (и нравятся до сих пор).

В то время (лет восьми) стал я ходить в детское училище Л. Н. Валицкой, на Маросейке. В классе, состоявшем поровну из мальчиков и девочек, поражал я учительниц прилежанием и добронравием. Смирение мое доходило до того, что даже на переменях я не бегал и не шумел с другими детьми, а держался где-нибудь в стороне. Только уроки танцев выводили меня из неподвижности. С необычайной тщательностью выделывал я свои па, а когда доходило дело до вальса, воображал себя на балу и предавался сладостным мукам любви и ревности. Эти муки были небеспредметны. Сердце мое было уязвлено моей одноклассницей, Наташей Пейкер, в самом деле – прелестной девочкой. Не думаю, однако, чтобы я танцевал с ней больше двух или трех раз: до такой степени я перед нею робел, столь недоступной она мне казалась.

Здоровье мое было слабо. Летом 1895 года решено было везти меня не на подмосковную дачу, как всегда, а на Волгу, под Ярославль, где жила старшая из моих сестер. Мы с мамою поселились в восьми верстах от Ярославля, в Толгском монастыре, основанном на берегу Волги в честь явленной иконы Толгской Божией Матери. Мы жили в монастырской гостинице, довольно пустынной, с широкими сводчатыми коридорами, в которых всегда пахло черным хлебом, и с просторными, тоже сводчатыми комнатами. Волга и пароходы мне чрезвычайно нравились. К приходу каждого парохода (из которых только один, «Князь Михаил Тверской», был двухэтажный) я бегал на самолетскую пристань, где всякий раз служились молебны. У самой гостиницы находилось небольшое кладбище с обомшелыми, выросшими в землю плитами. За кладбищем начинался большой монастырский парк, преимущественно состоявший из кедров. Туда я ходил гулять и там понемногу завел знакомства с монахами. Один из них рыжий, как огонь, тощий и горбоносый отец Александр, монастырский живописец, особенно меня любил. Из кедровой коры смастерил он лодочку с парусом – я пускал ее на маленьком пруду в парке. Иногда сам настоятель монастыря

появлялся в аллее. Я подходил под благословение. Случалось – он брал меня за руку, и мы немного гуляли вместе.

В конце лета приехал на Толгу Иоанн Кронштадтский. Под вечер толпа народу встречала его на берегу и провожала в монастырь. На следующее утро служил он обедню – меня с другими детьми поставили впереди. В тот же день, часа в четыре, я по обычаю побежал в парк. О. Иоанн шел с настоятелем и О. Александром. Он благословил меня и спросил, как зовут. Он держался необыкновенно просто и куда менее осанисто, чем многие из знакомых моих монахов. Такое же простое было у него и лицо – оно показалось мне очень женственным и деревенским, и мне было странно, что он окружен таким почитанием. К вечеру он уехал. Толпа народа вновь собралась на берег с иконами и хоругвями. Пароход отчаливал, было ветрено и прохладно. Отец Иоанн стоял один на корме, ветер трепал его рясу и волосы. Так продолжалось, пока пароход не ушел совсем далеко. Толпа не двигалась. Было так тихо, что слышался плеск воды, набегавшей на берег, и так прекрасно и грустно, что я заплакал.

*1933 г.*

## *Московский литературно-художественный кружок*

### I

Чтобы проникнуть в это святилище, пришлось спать черные брюки и к ним – двусмысленную тужурку: не гимназическую, потому что черную, но и не студенческую, потому что с серебряными пуговицами. Должно быть, я в этом наряде похож был на телеграфиста, но всё искупалось возможностью попасть, наконец, на вторник: по вторникам происходили в Кружке литературные собеседования. Говорила о них вся Москва. Гимназистам в Кружок ходу не было.

Первый вторник, на который мне удалось пройти, был посвящен поэзии Фета. Нужно думать, что было это по случаю десятилетия со дня его смерти, т. е. в конце 1902 или в начале 1903 года. Следовательно, мне было шестнадцать лет, я был в седьмом классе гимназии.

Докад читал Брюсов. На освещенной ярко эстраде, за длинным столом, на котором по темно-зеленому сукну были разложены листы бумаги и карандаши, осанисто восседали люди, тогда еще мне неведомые. То были члены литературной комиссии. Брюсов стоял у пишутра, сбоку, и говорил, обращаясь к публике, а не к ним.

«Лицо – зеркало души». Это, конечно, верно. Но так называемая наружность, всё то, что в человеческом облике подвержено обработке при помощи парикмахера и портного – мало сказать: обманчиво. Оно лживо. В Брюсове были замечательны только огненные глаза да голос, – «орлиный клекот», которым выбрасывал он резкие, отрывистые слова. Весь же он, некрасивый, угловатый, в плохоньком сюртучке и в дешевом галстуке, был просто невзрачен по сравнению с олимпийцами, величаво и неблагосклонно ему внимавшими. Оно и понятно: литературная комиссия состояла из видных адвокатов, врачей, журналистов, сиявших достатком, сытостью, либерализмом. В ней председательствовал председатель правления – психиатр Баженов, толстый, лысый, румяный, курносый, похожий на чайник с

отбитым носиком, знаток вин, «знаток женского сердца», в разговоре умевший французить, причмокивать губами и артистически растягивать слова, «русский парижанин», автор сочинения о Бодлере – с точки, зрения психиатрии. Лет тринадцать спустя, во время великой войны, чайник забурлил патриотизмом; очутившись во главе какой-то санитарной организации и будучи в чине действительного статского советника, Баженов облекся в шинель на красной подкладке и в военный генеральский мундир с золотыми бахромчатыми эполетами: кто-то его назвал зауряд-фельдмаршалом. Но тогда, в 1902 г., он с явным неодобрением слушал речь непризнанного декадентского поэта, автора «бледных ног», восторженно говорившего о поэзии Фета, который, как всем известно, был крепостник да к тому же и камергер. Неодобрение разделялось и остальными членами комиссии, и подавляющим большинством публики. Когда начались прения, поднялся некто, имевший столь поэтическую наружность, что ее хватило бы на Шекспира, Данте, Гете и Пушкина вместе. То был Любошиц, фельетонист из «Новостей Дня». Рядом с ним Брюсов имел вид угнетающе-прозаический. Любошиц объявил напрямик, что поэзия Фета похожа на кокетку, скрывающую грязное белье под нарядным платьем. Этот образ имел успех потрясающий. Зал разразился бурей аплодисментов. Правда, говоря о Фете, Любошиц приписал ему чьи-то чужие стихи. Правда, бурно выскочивший на эстраду юный декадентский поэт Борис Койранский тут же и обнаружил это невежество, но его уже не хотели слушать. Ответное слово Брюсова потонуло в общественном негодовании.

После доклада и прений настала самая оживленная часть вечера – в столовой. Когда я вошел, в ней было еще пусто. Лишь за одним столиком, занимая всю ширину его, сидел толстяк в сюртуке. Крахмальная салфетка, засунутая углом за воротник, покрывала его грудь. Огромная светло-русая борода была распущена веером по салфетке. Блестя золотыми очками и лоснясь лицом, толстяк жевал, чмокал, чавкал, посапывал. Столовая наполнялась, к нему подходили знакомые, он молча пожимал руки, продолжая жевать. Ужинали до позднего часа, но и когда

все уже уходили, он всё так же сидел и ел. Я спросил, кто это. Мне ответили: писатель Михеев. По юношеской наивности я счел нужным притвориться, будто он мне известен.

Таких литературных деятелей, как Михеев, в Кружке было видимо-невидимо. В сущности, они даже задавали тон. Не скажу, однако, чтобы Кружок показался мне учреждением ничтожным. Напротив, и тогда, и много еще лет, до самой его кончины в 1917 г., я был, подобно другим, уверен, что в нем совершаются важные литературные события. Сперва нелегально, потом на правах гостя, потом в качестве действительного члена, побывал я на бесчисленном множестве вторников и чьих только докладов не слышал. Бальмонт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Мережковский, Венгеров, Айхенвальд, Чуковский, Волошин, Чулков, Городецкий, Маковский, Бердяев, Измайлов – не припомнишь и не перечислишь всех, кто всходил на эстраду Кружка. В Кружке происходили постоянные бои молодой литературы со старой. Андрей Белый потрясал его стены истерическими филиппиками, во время которых иной раз дирекция приказывала экстренно опустить занавес. Тогда всё это казалось ужасно значительно и нужно – на поверку вышло не так. Действительная литературная жизнь протекала вне Кружка, осаждаясь в нем лишь сумятицей и шумихой, подчас вредном и пошлой. Если случалось кому-нибудь сказать слово действительно ценное, содержательное, – оно тонуло в прениях, в которых участвовать мог любой профессиональный краснобай, любой просто невежда, уплативший полтинник за вход и за право публично высказаться. Для серьезной беседы аудитория Кружка была слишком многочисленна и пестра. На вторники шли от нечего делать иль ради того, чтобы не пропустить очередного литературного скандала, о котором завтра можно будет болтать в гостиных. Эта аудитория влияла и на докладчиков, которые нередко приспособлялись к ее понятиям и вкусам или напротив – старались ее подразнить. На эту тему расскажу анекдот.

Дело было в 1907 году. Одна приятельница моя где-то купила колоссальнейшую охапку желтых нарциссов, которых хвати-

ло на все ее вазы и вазочки, после чего остался еще целый букет. Вечером взяла она его с собой, идя на очередную беседу. Не успела она войти – кто-то у нее попросил цветок, потом другой, и еще до начала лекции человек пятнадцать наших друзей оказались украшенными желтыми нарциссами. Так и расселись мы на эстраде, где места наши находились позади стола, за которым восседала комиссия. На ту беду докладчиком был Максимилиан Волошин, великий любитель и мастер бесить людей. В годы гражданской войны белые багровели от его большевизанства, а красных доводил до белого каления речами вовсе противоположными. В тот вечер вздумалось ему читать на какую-то сугобо эротическую тему – о 666 объятиях или в этом роде. О докладе его мы заранее не имели ни малейшего представления. Каково же было наше удивление, когда из среды эпатированной публики восстал милейший, почтеннейший С. В. Яблоновский и объявил напрямик, что речь докладчика отвратительна всем, кроме лиц, имеющих дерзость открыто украшать себя знаками своего гнусного эротического сообщества. При этом оратор широким жестом указал на нас. Зал взревел от официального негодования. Неофициально потом почтеннейшие матроны и общественные деятели осаждали нас просьбами принять их в нашу «ложу». Что было делать? Мы не отрицали ее существования, но говорили, что доступ в нее очень труден, требуется чудовищная развратность натуры. Аспиранты клялись, что они как раз этому требованию отвечают. Чтобы не разочаровывать человечества, пришлось еще два раза покупать желтые нарциссы.

Вернемся, однако, к докладам. Многие из них были просто плохи. Из песни слова не выкинешь – пора признаться, что самый плохой прочел я: в 1911 году, о Надсоне. Конечно, я был мальчишка, но всё-таки стыдно вспомнить, что это был за претенциозный и пустой набор слов. Да, из песни слова не выкинешь: после доклада настали прения – и тут мне изрядно и поделом влетело от В. Потемкина, недавнего полпреда парижского. Чтобы меня утешить, друзья меня чествовали ужином.

Я бодрился, но на душе было отвратительно: не от провала, но от того, что сам понял, каких слов наговорил.

Была у Кружка библиотека с читальней. И то, и другое было поставлено образцово. В библиотеке имелось много ценных и даже редких изданий, в читальне получались газеты и журналы в большом количестве, русские и иностранные. Однако рядовые члены Кружка сравнительно мало пользовались этими благами, потому что старыми книгами не слишком интересовались, а новые предпочитали покупать, чтобы поскорее быть «в курсе литературы». В читальню заходили редко и главным образом для того, чтобы вздремнуть или подождать, когда соберутся партнеры в винт или в преферанс. В последние годы Брюсов затеял издавать «Известия» Кружка – нечто вроде критического и историко-литературного журнала. Вышло всего книжек десять.

Гораздо более жизни сосредоточено было в Кружковской столовой. Часам к 12 ночи она всегда наполнялась. Съезжалась, действительно, вся интеллигентская и буржуазная Москва – из театров, с концертов, с лекций. Здесь назначались свидания – литературные, деловые, любовные. Официально считалось, что цель столовой – предоставить дешевые ужины деятелям театра, искусства, литературы, но на самом деле было не так. Действительно нуждающихся в столовой Кружка никто, кажется, не видал, а дешевые ужины зашивались дорогими винами. Вина и люди естественно распределялись по столикам. Золотые горла бутылок выгладывали из серебряных ведер со льдом – на столиках Рябушинских, Носовых, Гиршманов, Востряковых. Здесь ужинали не шумно и не спеша. Шум, говор, приходы, уходы, писание стихов и любовных записок, тревога, порой истерика – господствовали за столиками «декадентов», где коньяк и мадера считались «национальными» напитками; коньяк принято было пить стаканами, иногда – на пари: кто больше? Поодаль располагались «знаниевцы» и «реалисты», в большинстве – поклонники Удельного Ведомства. Почему-то всегда мне казалось, что как гимназисты хотят быть похожими на индейцев, так «реали-

сть» – на охотников (может быть – в честь Толстого и в память Тургенева). Им не хватало только собак и ружей.

Некоторые плохо умели обращаться с ножом и вилок и пускали в ход натуральные пятерни – быть может опять-таки из желания быть ближе к природе. С этого столика поминутно доносилось: «Лев Николаевич», «Антон Павлович» или коротко – «Леонид»: все старались прихвастнуть близостью к Толстому, Чехову, Леониду Андрееву. Изредка появлялся сам Леонид Андреев – в зеленой бархатной куртке, шумный, тяжелый, с тяжелым взглядом. Перед ним заискивали – он был похож на своего «Человека», окруженного «Гостями». Однажды видел я там Скитальца – как бы живое удешевленное издание Максима Горького: те же сапоги, блуза, ремённый пояс, но на лице – незначительность даже замечательная. Около часу ночи появлялся А. М. Лопатин, и тогда как бы начинал бытие свое стол профессорский, тихий, скучный, с бутылкой «благоразумного Бордо» и многими бутылками сельтерской. Журналисты смешивались с артистами, с писателями, с профессорами, семеня от столика к столику и стараясь показать, что они везде – свои люди. Иногда вваливался Дорошевич, изображавший барина и европейца. Нюхая табак и всех хлопая по плечу, всем говоря «ть», походкой Тараса Бульбы, лысый и сивоусый, прохаживался милый старик Гиляровский, стараясь придать свирепое выражение добрейшему своему лицу. Были еще столы общественных деятелей. За ними порой появлялись именитые гости, члены Государственной Думы, приезжавшие из Петербурга, чтобы, подобно былым гусарам,

...явиться, прогреметь,  
Блеснуть, пленить и улететь.

За этими столиками говорилось, должно быть, столько же, сколько за всеми остальными вместе. Речи были предерзкие и чуть ли не революционные, но не надобно было пугаться их. Вновь говоря словами поэта,

Сначала эти заговоры  
Между Лафитом и Клико.  
Всё это были разговоры,  
И не входила глубоко  
В сердца мятежная наука.  
Всё это было только скука –  
Безделье молодых умов,  
Забавы взрослых шалунов.

Часам к четырем ночи жизнь в столовой начинала замирать, но бурно еще продолжалась в самой живой части Кружка – в карточных комнатах. Но прежде, чем покинуть Кружок, заглянем в нижний этаж, туда, где узенький коридор ведет мимо кассы в бильярдную. Здесь полумрак, но освещены зеленые плоскости бильярдных. Тихо, никого уже нет. В углу дремлет маркер. М. П. Арцыбашев, автор «Санина», один поцелкивает шарами.

## II

Помню, как сейчас. Я сижу между Толстым и Достоевским. Толстой ставит в банк три рубля, я открываю восьмерку, он пододвигает мне карту и зеленую трешницу. Я оставляю ее в банке. «Карту», – говорит Достоевский, и тоже открывает восьмерку. Тотчас, однако, он брезгливо приподымает трешницу, держа ее за угол кончиками ногтей, и цедит сквозь зубы.

– Такую грязную бумажку я не приму.

Остолбенев, я не успеваю ему ответить, как Толстой вмешивается:

– Эту бумажку я пустил.

*Достоевский:* В таком случае, вы ее и перемените.

*Толстой:* Даже не подумаю, я ее не сам делал.

*Достоевский:* Весьма вероятно. Но может быть вы ее сами замуслили?

Разгорается ссора, во время которой Толстой грубит, а Достоевский язвит и нервничает, покрываясь красными пятнами.

Всё это – не ложь и не бред. Просто, действие происходит в игорной зале Литературно-художественного кружка, в 1907 или

1908 году, и участвуют в нем не *те самые* Толстой и Достоевский, а их сыновья, впрочем – уже пожилые: Сергей Львович и Федор Федорович. Кончается всё тем, что окружающие, потеряв терпение, зовут дежурного директора, который решает спор в пользу Толстого. Достоевский встает и уходит. Игра продолжается.

Огромное помещение (особняк Востряковых на Большой Димитровке, куда Кружок переехал, кажется, в 1904 году), большой штат служащих, литературные и исполнительные собрания, спектакли, елки, библиотека, благотворительная деятельность – всё это далеко не покрывалось членскими взносами, входной платой с гостей и доходами от буфета. Как ни было это конфузно, Кружок жил и мог жить только картами – да не какими-нибудь невинными коммерческими играми, а «железкой». Железка начиналась часов в десять вечера и продолжалась до семи утра, а в некоторые периоды даже до часу следующего дня. После половины второго ночи за пребывание в игорной зале взимался прогрессивный налог, так называемый «штраф», начинавшийся с тридцати копеек и к пяти часам утра достигавший тридцати с чем-то рублей с персоны. Штрафами Кружок существовал и даже богател. Под конец располагал он значительным капиталом.

Ежевечерне составлялось, в среднем, по десяти столов. За каждым сидело десять или двенадцать игроков, окруженных плотной стеной понтеров «со стороны». В общем, за ночь через игорную залу проходило, должно быть, человек триста. Столы были серебряные, за которыми минимальная ставка была в один рубль, золотые, где счет шел на пятерки, и один стол – бумажный, со счетом на двадцатипятирублевки. За бумажным играли московские богачи, изредка – профессионалы. Тут игра шла тихо, сосредоточенно, почти без участия посторонних, «стоячих» игроков. Шум и жизнь бурлили вокруг столов золотых и серебряных. Между столами важно расхаживал в зеленом фраке своем, толстый, рыжий «карточник» Василий. На обязанности его было – составлять столы, то есть: записывать желающих играть и созывать их, когда соберется достаточное количество, он

же приносил и распечатывал карты (каждый вечер на каждый стол подавалось по десяти новых, нераспечатанных колод) и брал за них плату, по два рубля с человека. Проигравшись, можно было занять у него до завтра несколько сот рублей – под великою, но общеизвестною тайной от дирекции и под колоссальную «благодарность». Его удалили, когда он уже был богатым человеком.

Игра была в общем мирная, патриархальная. Стычки, вроде вышеописанной, случались редко. Когда случались, – являлся из своего кабинета удивленный и заспанный дежурный директор, который всё быстро улаживал. Надо заметить, что играли хоть и азартно, но для удовольствия, а не для денег, как вообще в России, где профессионалов, людей, живущих картами, было гораздо меньше, чем, например, в Западной Европе. Самый характер игры был несравненно более благородный, спортивный.

Шулеров было совсем мало. За всё время существования Кружка поймали там лишь одного человека с «накладкой», да и тот был, в сущности, заблудший дурак, брат небезызвестного адвоката К. Из жалости к брату дело замяли, лишь на год запретив младшему К. вход в Кружок. Мальчишка оказался нахал: ровно в двенадцать часов ночи того дня, когда срок истекал, он явился в Кружок с самым развязным видом. Поймал его некий А. Я. Зайдеман, который при этом погорячился и дал К. пощечину. За это и Зайдеману, на какой-то срок, запретили вход. Публика, по обыкновению всё пугавшая, говорила, будто попался сам Зайдеман. Такие слухи очень волновали его, потому что, хоть и профессионал-игрок, был он человек исключительно порядочный, к тому же умный и добрый. Игра была его стихией. Иногда, в мертвый сезон, ездил он за границу и дважды возвращался из Монте-Карло на казенный счет: как известно, тем, кто много проиграл, в Монте-Карло дают необходимую сумму для возвращения домой. Играл Зайдеман широко, в отличном стиле. Банков не продавал, мечта до последней карты. Выигрывая, не радовался. Если очень уж не везло, он впадал в легкую меланхолию и тогда декламировал стихи Баратынского, которого знал, кажется, всего наизусть. Он и вообще хорошо

знал русскую поэзию и понимал ее. По-видимому, ничего, кроме стихов и карт, он и не хотел понимать – зато сам, можно сказать, был поэтом игры. Лет восемь тому назад он умер в Париже.

Глубоко рознился от него другой профессионал Кружковский – Павел Иванович Крюков. Маленький, белокурый, безусый и безбородый, имел он в лице что-то скопческое, в движениях – автоматическое. Это был, можно сказать, аскет и подвижник игры. Кроме карт, не было у него ни страстей, ни помыслов (как, впрочем, и подобает истинному игроку). На моей памяти было у него два или три периода везения, в течение которых он выигрывал тысяч по двести рублей и более. Затем он всё спускал до копейки. Но и в эпохи подъема, как в эпохи упадка, ни в чем не менял он своих привычек, почти ничего на себя не тратя и смотря на деньги единственно как на оборотные средства для игры (как и подобает, опять-таки, благородному игроку). Жил он у Манежа, в гостинице «Петергоф», где занимал крошечный номер. Зимой и летом, в мороз и зной, всё в том же пальтишке песочного цвета, с дешевой железной тросточкой, размеренным шагом, как заводной, шел он вечером в Кружок, а под утро – из Кружка. Так проходила вся его жизнь. Человек он был тихий, и никаких слов, кроме необходимых, я от него не слышал. В глазах его была легкая, светлая сумаспешинка.

Третий профессионал был некий Иван Иванович – фамилии не помню, да и не назвал бы ее. В сущности, профессионалом он был только наполовину, потому что была у него какая-то торговлишка. Карты служили ему подспорьем. Играл он с неслыханной выдержкой, с самым отвратительным прижимом, какой мне случалось видеть. Везло ему замечательно, но он всё время хныкал – карта слезу любит. Открывая восьмерку, неизменно говорил убитым голосом, по-вожски окая: «Ну вот, всего только восьмерочка, а ведь у вас, поди, девять? Нету девяти? Ну, значит, пожалуйста денежки». Высокий, худой, небритый, на самом конце длинного носа носил он ржавые сломанные очки,

перевязанные ниточкой. В каждом его движении было спокойное, сознательное хамство, которым он нарочно дразнил партнеров, заставляя их нервничать и – проигрывать. Ровно в половине второго ночи он уходил, чтобы не заплатить тридцати копеек штрафу. «Курочка по зернышку клюет», – говорил он, унося каждый раз несколько сот рублей. Вопреки завету Некрасова – никогда не понтировать против лично несимпатичных игроков, – я против него понтировал бессмысленно и упорно. То же самое делали другие, и это нам дорого стоило.

К профессионалам примыкали люди, засосанные игрой, то есть в сущности профессионалы-неудачники. Этим было очень много. Из их числа помню инженера Г., ко времени революции превратившегося чуть ли не в босяка, присяжного поверенного П., пытавшегося на скачках наверстать потерянное в Кружке и кончившего растратой клиентских денег, а затем исключением из сословия. Помню несчастную старуху Р., кривобокую, крошечную, глухую. Учительница музыки по профессии, принужденная содержать бездельника-мужа, из бывших красавцев, и подрастающего сына, картами пыталась она добыть недостающие средства. Играла мелко, опасливо; под бумажный рубль подкладывала золотую пятерку, которую открывала в случае выигрыша и тихонько брала назад, если проигрывала. Все это знали, даже ее жалели, но эти приемы сбивали счет ставок (крупье в Кружке не было, ставки подсчитывал сам банкомет) – и старуху старались как-нибудь отогнать от стола. Иногда просто говорили: «Уйдите пожалуйста», – она не слышала. Ей кричали в ухо, она делала вид, что не слышит.

Некогда страсть к игре владела многими русскими писателями, в том числе не только выдающимися, но и великими. Достаточно вспомнить Пушкина, Достоевского, Толстого, Державина, Некрасова. Последние два в известные периоды своей жизни были даже профессиональными игроками. Наружной полиции Пушкин знаком был именно в качестве «известного банкомета» и под сим титулом значился в ее списках. К моему времени эта традиция прервалась. Более или менее постоянными посетителями карточной залы Литературно-

художественного кружка были только поэт Семен Рубанович, поэт-самоучка Иван Белоусов, беллетристка Нина Петровская, переводчик В. А. Высоцкий, критик Абрамович (когда приезжал в Москву). Теперь эти имена никому уже ничего не говорят, да их и немного. Из людей известных могу назвать только Брюсова и В. В. Каллаша, историка литературы. По совести говоря, все они играли невдохновенно и неумело, а между тем, азартная игра, совершенно подобно поэзии, требует одновременно вдохновения и мастерства. Меня всегда удивляло, до какой степени Брюсов, прекрасный игрок в преферанс и винт, становился беспомощен и бездарен, лишь только дело доходило до железной дороги, в которую, впрочем, он и играл сравнительно редко. Даже темперамент, ему присущий, куда-то исчезал, лишь только он садился за круглый стол. Из литераторов, которых встречал я в Кружке, некоторый врожденный талант к игре был только у Каллаша и у Высоцкого, но и этого таланта не умели они обработать и в конце концов в их игре всегда было что-то дилетантское. Другие, однако, были не в пример хуже их. На игру Белоусова, едва ли не самого постоянного из названных игроков, просто грустно было смотреть. Ему нередко везло, но он выигрывал, кажется, еще бездарнее, чем проигрывал.

Как всегда бывает, у кружковских игроков было много суеверий: некоторые носили с собой разные талисманы; общепризнано было, что г-жа Р., о которой рассказано выше, приносит несчастье; проигравшиеся ждали «утренников», то есть счастливых банков, которые, по их мнению, любят случаться под утро. Не знаю, так ли это, но действительно и у меня был один «утренник» вполне замечательный: я убил подряд двадцать три карты. Увы, счастливицы уже разошлись по домам, ни у кого из остающихся не было денег, и я, начав с двадцати пяти рублей, снял меньше тысячи. Теоретически, двадцать третья карта дает больше двухсот миллионов. Было это около одиннадцати часов утра... Нередко случалось мне досиживать до такого часа, когда в высоких окнах кружковской залы мутнело зимнее утро или сияло летнее, когда буфет уже был закрыт,

игроки в складчину посылали за ветчиной, маслом и горячими калачами, а последний дежурный официант за свой страх и риск поставлял бодрящий напиток, Европе неведомый, – кофе с ванилью. Наконец, побледневшие, постаревшие за ночь женщины и обросшие бородами мужчины, спускались в прихожую. На них накидывали пальто. На крыльце свежий утренний воздух тяжело ударял в голову. Один за другим подкатывали знакомые кружковские лихачи и, не спрашивая адресов, развозили по домам тех, кого, как поэтов, «сладостный союз» связует издревле.

*1937 г.*

## *Законодатель*

К концу 1917 года мной овладела мысль, от которой я впоследствии отказался, но которая теперь вновь мне кажется правильной. Первоначальный инстинкт меня не обманул: я был вполне убежден, что при большевиках литературная деятельность невозможна. Решив перестать печататься и писать разве лишь для себя, я вознамерился поступить на советскую службу.

В январе 1918 года покойный мой брат, присяжный поверенный, предложил мне стать секретарем только что учрежденных третейских судов при комиссариате труда московской области. Я согласился.

Фабрики и заводы тогда еще не были национализированы. Третейские суды должны были разбирать тяжбы рабочих и служащих с предпринимателями. По каждому делу составлялся суд из трех лиц. Одного судью выбирал предприниматель, другого – рабочие. Эти судьи в свою очередь выбирали третьего, супер-арбитра, но выбор их был ограничен: они должны были избрать одного из уполномоченных комиссариатом. Уполномоченных таких было два: присяжный поверенный Алексей Николаевич Васильев и мой брат.

Как водится, судьи, выбранные рабочими и предпринимателями, в сущности, были их поверенными. Действительным судьей оказывался супер-арбитр, голос которого и решал тяжбу. Так как супер-арбитр принадлежал к составу комиссариата, то в конечном счете, эти суды были правительственные, с назначением от правительства судьей. Зачем нужно было придавать им видимость выборности и называть третейскими, и зачем они были учреждены при комиссариате труда, а не входили в состав комиссариата юстиции – это выяснится из дальнейшего.

Впервые придя на службу, я был поражен внешним видом учреждения. Впоследствии все к таким вещам привыкли, но по началу зрелище мне показалось чудовищным. Комиссариат помещался где-то возле Ильинки (если не ошибаюсь – в Хрустальном переулке), в огромном, опустошенном здании, разумеется – нетопленом. Нижние этажи стояли почти пустые.

То был ряд колоссальных зал с разбитыми окнами. Снег, врывавшийся в окна и заносимый на сапогах, оттаивал на полу, мешаясь с грязью. Кое-где устроены были переборки из свежих досок; образовались крошечные закутки с печурками, ворохами бумаг и пишущими машинками. В верхних этажах было уютнее. Но и тут снова – перегородки, пестреющие приколотыми, прикнопленными, приклеенными бумажками, с чернильными, карандашными (черными, красными, синими) и машинными надписями. Всё это – инструкции, объявления, расписания, разъяснения, правила, циркуляры, декреты и прочее. Но несмотря на инструкции, расписания и разъяснения, никто ничего не понимает: ни посетители, ни служащие. Правила противоречат друг другу, разъяснения ничего не разъясняют, и объявления ничего не делают явным. Неисчислимые отделы и канцелярии поминутно переезжают из этажа в этаж, выбрасывая из поломанных шкафов «чужие» дела и захватным порядком овладевая чернильницами. Где вчера было одно, там уже нынче другое, и отыскать вчерашнее невозможно. И вчерашний чиновник пропал, и должность его упразднили, и у кого вчера была ручка со ржавым пером, – у того утащили ее, а новую негде взять: самому надо стащить у кого-нибудь. И бумаги, оставленные в столе – глядишь, на завтра уехали со столом – неизвестно куда. Посетители пристают в коридорах, на лестницах:

– А где здесь, товарищ, комната № 84?

– А где мне, родимый, справочку получить насчет сына. На войне он...

– А что, господин товарищ, хлебные карточки здесь выдаются?

– Шапку вы тут не видели? Вот сейчас положил – и нету.

Мимо всего этого надо скорей пробежать в свою комнату. У нас, в отделе третейских судов, очень мало служащих, а потому есть некоторый порядок.

Обязанности мои: вести протоколы заседаний и составлять третейские записи. Первое – дело не хитрое. Но второе – мучительно.

Приходят ко мне представители сторон (само собой разумеется – всегда с опозданием: ждут друг друга часами). Я проверяю доверенности и мандаты. После этого надо составить такую бумагу: «Мы, такие-то, представители такого-то предпринимателя, и такие-то, представители таких-то рабочих и служащих, согласились разрешить наш спор путем третейского разбирательства при таком-то составе суда. Вопросы, подлежащие разрешению, заключаются в том-то и том-то. Решению суда обязуемся подчиниться безусловно за себя и за своих доверителей».

И вот начинается выяснение и формулировка вопросов, подлежащих решению. Поверенный предпринимателя – почти всегда адвокат. С ним легко. Но рабочие присылают наиболее «сознательных» товарищей. Эти, прежде всего, никак не хотят понять, что составление записи – еще не суд, а я не судья. Они спорят по существу, остановить их немислимо. На то, что я не хочу их выслушивать, они негодуют. Когда раз двадцать, на все лады, объяснишь им в чем дело, – начинается бесконечный спор о формулировке вопросов. «Сознательные» не понимают простейших редакций, которые предлагаю им я. Зато они требуют, чтобы вопросы ставились в их редакции, которую, кроме них, понять не сможет никто на свете. Наконец, иногда после нескольких «сеансов», после того, как рабочие по несколько раз возвращаются к себе на завод за инструкциями своих доверителей – запись составлена и подписана. Представители «капитала» отдуваются и вытирают потные лбы. С облегчением вздыхаю и я, хотя предчувствую, что сейчас произойдет еще одно осложнение. И оно почти всякий раз происходит. После торжественной паузы, переглянувшись с товарищами, кто-нибудь из рабочих выступает вперед и заявляет мне веско, медленно:

– Я, товарищ, должен теперь же вперед сказать, по уполномочию товарищей, что если решение суда будет не по-нашему, то мы ему не подчинимся.

Начинаю объяснять, что такое суд; говорю о том, что его определение никем не может быть предрешиено; что решения третейского суда безапелляционны. Объясняю всё это в простейших терминах, не торопясь, заставляя продумывать каждую

мою фразу. Подвигаемся медленно – и приходим, наконец, к выводу, что каково бы ни оказалось решение суда, – надо будет ему подчиниться. И так, всё улажено. Рабочие мною очень довольны и на прощание говорят мне дружески, как своему человеку:

– Ну, до свидания, спасибо. Будь, значит, по-вашему. Подчинимся значит, решению суда. Только вот напи-то навряд подчинятся. Нас-то ведь трое, а на фабрике – пятьсот человек.

Представитель кровожадного капитала смотрит на меня с ужасом. Канитель начинается сызнова. Объясняя рабочим значение их мандатов, говорю, что они подписались не только за себя лично, но и за всех. Слушают, кивают головами, поддакивают, но между собой переглядываются с таким видом, что мне становится ясно: ни к чему все мои уговоры.

Повторяю – подписание третейских записей почти никогда не происходило без этих сцен. Два раза мне так и не удалось добиться согласия на подчинение суду. Рабочие уходили, не сторговавшись со мной. Куда обращались они потом и что дальше происходило, – не знаю.

Заседания суда происходили столь же не гладко. Рабочие обязались приводить свидетелей. Ради этого откладывались заседания, но свидетели не являлись. Это не мешало рабочим требовать, чтобы суд считался с показаниями, которых не слышал. Явившиеся свидетели зачастую лгали с поразительной откровенностью. Их уличали – они даже не смущались. Припугнуть их нельзя было ничем – присяги не существовало.

Моральная обстановка суда была тяжелая: предприниматели не верили в его беспристрастие, считая, что он – большевицкий: большевики в это самое время кричали на всех перекрестках, что они учреждают свой, классовый, пролетарский суд. Рабочие суда не уважали, считая, что он должен быть их слугой. Грозили. Напоминали: мы вас поставили, мы вас и скинем. Не будучи уверены в своем авторитете, арбитры старались не решать дел перевесом своего голоса, а добиваться решения единогласного. Другими словами – стремились найти компромисс и закончить дело миром – уже после разбирательства и судебного

рения. Совещания суда превращались в торг между поверенными сторон, которые, впрочем, проявляли немало уступчивости: представитель хозяина опасался, что пожалуй, по решению «большевицкого» арбитра, потеряешь больше. Судья же, приведенный рабочими, всегда помнил, что в крайнем случае его доверители просто не станут считаться с решением суда.

Когда невозможно было добиться единогласия, арбитр постановлял решение сам. Тут-то и происходило самое любопытное.

Арбитр, назначенный большевиками, судит рабочих с предпринимателями. Казалось бы – ясно, как будут решаться дела: именно так, как ожидают стороны, то есть непременно в пользу рабочих. Однако в действительности выходило не так, и вовсе не потому, что судьи были людьми какой-то исключительной независимости. Назначенные большевиками, они бы и не могли проявлять беспристрастия вопреки большевицкой воле, потому что их в этом случае просто сместили бы. Разгадка их беспристрастия лежала глубже.

Большевики действовали демагогически. Поэтому третейским судам старались они придать в глазах рабочих видимость «хороших», «пролетарских» судов, то есть направленных против предпринимателей. Для того-то и состояли они при комиссариате, ведающем охраной труда, для того-то и супер-арбитр назначался большевиками, чтобы рабочие были уверены, будто это их собственный «классовый» суд, которому они могут приказывать и грозить. После всего, что они слышали на митингах, рабочие имели основания ожидать и требовать такого суда.

Однако, ставши хозяевами в стране, большевики были теперь заинтересованы в сохранении хотя бы того, что еще можно сохранить. Комиссариат труда рекомендовал при решении дел исходить из той преюдиции, что претензии рабочих вздуты или совсем вздорны. Рекомендовалось по возможности решать дела в пользу предпринимателей. Само собой, эта инструкция хранилась в глубокой тайне.

Чтобы примерно показать, до чего простирались требования рабочих, расскажу об одном деле. Правда, оно и тогда казалось исключительным.

Россия была покрыта сетью магазинов, мастерских и агентств компании Зингер. В каждом городке, в каждом большом селе, в каждом железнодорожном или рабочем поселке были агенты по продаже зингеровских швейных машин в расрочку. Всех рабочих, служащих и агентов Зингера было не помню сколько: какое-то пятизначное число. В начале 1918 года вся эта армия предъявила к компании Зингер иск, по которому требовала: 1) колоссальной какой-то доплаты к жалованию – за все время с начала войны, притом не только для тех, кто оставался на работе, но и для тех, кто был мобилизован; 2) семьям всех убитых на войне или умерших во время войны – вознаграждение в размере полного заработка за время с начала войны по 1918 год, плюс еще за десять лет вперед, то есть по 1928 год; 3) то же самое – всем раненым, вне зависимости от степени утраты трудоспособности; 4) процентов на все эти суммы – с начала войны по день уплаты. Был и еще ряд требований, не менее фантастических, но в чем они заключались, уже не помню.

Суперарбитром по этому делу был мой брат. Миром кончить не удалось. Он отложил решение, и мы тем временем попробовали подсчитать, какая получилась бы сумма, если бы претензию удовлетворить полностью. К сожалению, точная цифра улетучилась из моей памяти, но, во всяком случае, дело шло приблизительно о двух миллиардах золотых рублей, то есть приблизительно о двадцати пяти миллиардах нынешних франков.

Обычно от предъявления вздорных исков удерживает перспектива уплатить судебные издержки в пользу ответчика. Разумеется, большевики ввели правило, согласно которому издержки возлагались на предпринимателей независимо от исхода дела. Рабочим это давало большое нравственное удовлетворение, а хозяева не роптали: сумма издержек определялась

совершенно ничтожная: обычно – рублей 15–20 по многотысячному делу.

Из сказанного понятно, чего достигали большевики своей политикой. Разжигая «классовое сознание» рабочих, они не препятствовали требовать с предпринимателей что угодно. Но фактически эти требования не удовлетворялись. Правда, рабочие в подавляющем большинстве случаев оставались решением суда недовольны, но большевиков винить в этом не могли: ведь суды были третейские, а не государственные. Если бы те же дела разбирались учреждениями Комиссариата юстиции, большевикам пришлось бы или всегда и полностью удовлетворять иски рабочих (что по тем временам было еще невыгодно), или же принимать на себя всю ответственность перед «негодующим пролетариатом», что было бы еще тяжелее. Система же «третейских судов» давала большевикам возможность достигать желательных результатов, не вызывая нареканий со стороны рабочих.

Предприниматели, разумеется, подчинялись решениям суда беспрекословно. Рабочие, несмотря на все увещания, которыми сопровождалось составление третейских записей, – отнюдь не всегда. Исполнительной власти, которая могла бы их понудить к этому, в распоряжении третейских судов не было. Исполнительная власть находилась в руках районных Советов, которые сами поддерживали рабочих в их нежелании подчиниться решению суда. Делалось это по разным причинам: во-первых – по демагогическим расчетам большевиков, во-вторых – потому что члены Советов в большинстве были сами люди того же правосознания, как рабочие. Сюда же надо прибавить и тот сепаратистский восторг, которым были охвачены районные Советы: они ощутили себя «властью на местах» и всякому скольконибудь «центральному» учреждению старались не подчиняться из чувства собственного достоинства и ради сохранения престижа. Это была эпоха борьбы районных Советов с городским, а городского – с Совнаркомом. Доходило до чудовищных курьезов. По какому-то делу Комиссариат труда послал несколько бумаг Рогожскому совдепу, требуя, чтобы тот принял меры к

исполнению решения, которым рабочие были недовольны. Все было напрасно. Наконец я позвонил по телефону в Совет, и мне оттуда ответили:

– Вы, товарищ, лучше отступитесь, а то мы против вас движем воинскую часть.

Не располагая в тот момент ни артиллерией, ни танками, я был вынужден не настаивать.

Месяца через полтора после начала моей службы я вызван был к В. П. Ногину, который стоял во главе комиссариата труда. Это был рыжий, вихрастый человек в очках, средних лет, вполне порядочный – типичный представитель низовой интеллигенции. Он предложил мне покинуть третейские суды и заняться не более и не менее, как кодификацией декретов и постановлений, изданных по комиссариату труда, за всё время, с начала советской власти. Другими словами – составить кодекс законов о труде для первой в мире республики трудящихся. Чувствовалось, что эта идея пришла ему в голову внезапно.

Мне было очень трудно не засмеяться. Выходило, что, хотя всего лишь на время «переходного периода», но всё-таки мировой пролетариат победил для того, чтобы я мог, наконец, дать ему законы. «За что боролись?» – подумал я.

Еще забавнее было то, что когда я указывал Ногину на ничтожность моих юридических познаний, он не хотел и слушать:

– Справитесь, – повторял он, – ей Богу справитесь. Нам это не к спеху.

Однако, я наотрез отказался стать новым Ликургом или Соломоном. Мы с Ногинным помирились на том, что я составлю сводку изданных постановлений, словом, займусь подготовительной работой для будущей кодификации.

Провозившись над ворохом бумаг, постановлений, декретов и распоряжений несколько дней, и поняв из разговоров с Ногинным, что ни разъяснений, ни указаний, ни недостающих материалов мне ждать неоткуда, я подал в отставку. Она не была принята. Тогда я просто перестал ходить в комиссариат. Реше-

ние «созрело» однажды утром. Я встал, выпил чаю – и понял вдруг, что идти в комиссариат не могу. До такой степени не могу, что нет сил пойти туда хотя бы за портфелем, который остался в ящике моего стола. Отличный был портфель, светло-коричневой кожи, с великолепными застёжками. Но я за ним не пошел, завидуя Фоке, который всё же унес от Демьяна кушак и шапку.

*1936 г.*

## *Пролеткульт*

Сейчас вся Россия готовится к торжественному чествованию памяти Пушкина. Несомненно, что составленные грандиозные планы далеко не будут выполнены во всем объеме, что разными мелкими властями и властелинами будет проявлено немало головотяпства. Однако нельзя не признать, что теперешние «веяния» глубоко разнятся от всех первоначальных, «революционных», которыми были отмечены годы военного коммунизма, когда и сам Пушкин, и наука о нем были взяты на подозрение, когда русской литературой при помощи безвольного Луначарского управлял Каменев.

Невольно мне вспоминаются те времена и мои бессильные попытки «продвинуть в массы» именно Пушкина.

Осенью 1918 года мне предложили читать лекции в литературной студии московского Пролеткульта. В конце сентября состоялось собрание, на котором лекторы впервые встретились со своими слушателями. Студийцев собралось человек шестьдесят. Было в их числе несколько пролетарских писателей, впоследствии выдвинувшихся: Александровский, Герасимов, Казин, Плетнев, Полетаев. Собрание, как водится, вышло довольно сумбурное. Удалось, однако, установить, что систематические «курсы» были бы для слушателей на первых порах обременительны. Решено было, что каждый лектор прочтет курс эпизодических лекций, объединенных общемою темой. Я выбрал темою Пушкина. Мне предложили читать по два часа раз в неделю. Назначены были дни и часы чтений.

Занятия вскоре начались. Тотчас же пришлось натолкнуться на трудности. Из них главная заключалась в том, что аудитория в смысле подготовленности была очень пестра. Некоторые студийцы, в особенности женщины, оказались лишены самых первоначальных литературных познаний. Другие, напротив, удивили меня запасом сведений, а иногда и умением разбираться в вопросах, порою довольно сложных и тонких. На совершенно неподготовленных пришлось сразу махнуть рукой: было

ясно, что вскоре они отпадут, потому что им место не в литературной студии, а в начальной школе. Но и с той частью, которой, видимо, суждено было удержаться, надо было приноровлять лекции так, чтобы они были не слишком элементарны для одних и не слишком затруднительны для других.

Начиная с первой же лекции, мои слушатели стали в антрактах обращаться за разъяснениями: одним хотелось точнее уяснить непонятное, другие, напротив, просили несколько углубить и расширить то, о чем в лекции говорил я слишком для них элементарно. Эти кулуарные разговоры позволили ближе ознакомиться со студийцами. На основании этого знакомства я могу засвидетельствовать ряд прекраснейших качеств русской рабочей аудитории – прежде всего ее подлинное стремление к знанию и интеллектуальную честность. Она очень мало склонна к безобразному накоплению сведений. Напротив, во всем она хочет добраться до «сути», к каждому слову, своему и чужому, относится с большой вдумчивостью. Свои сомнения и несогласия, порой наивные, она выражает напрямик и умеет требовать объяснений точных, исчерпывающих. Общими местами от нее не отделаешься.

Занятия шли успешно, но это именно и не нравилось верховным руководителям Пролеткульта. С их точки зрения, мои слушатели, из которых должны были составляться кадры пролетарской литературы, должны были перенять у Пушкина «мастерство», литературную «технику», но ни в коем случае не поддаваться обаянию его творчества и его личности. Следовательно, мои чтения представлялись им замаскированной контрреволюцией, тогда как в действительности одурачиванием рабочей аудитории, то есть настоящей контрреволюцией, занимался именно совет Пролеткульта. К этому прибавились мотивы личного характера: в то время, как лекции «буржуазных специалистов» собирали по 30–40 слушателей (некоторые лекции Андрея Белого до 60-ти), слушать коммунистических «руководителей» приходило человек по пятнадцати. Чувствуя, что студийцы всё более поддаются влиянию «спецов», главари Пролеткульта решили с этим бороться. Удалить нас вовсе – значило

бы признать свое бессилие, раскрыть карты и восстановить слушателей против совета Пролеткульта. Поэтому нам начали просто мешать. Для начала придумали такой трюк: мне было объявлено, что лекционная система оставляет студийцев слишком пассивными: надо привлечь их к активной работе по Пушкину, то есть перейти на семинарий. Сколько я ни возражал, что семинарий требует регулярной посещаемости, в тогдашних условиях недостижимой, – мне был один ответ: совет Пролеткульта постановил. Делать нечего, я перешел на систему семинария. Мне пришлось сразу указать слушателям на то, что новая система требует от них постоянного присутствия и некоторой домашней работы, без которой семинарий немислим. Мне ответили – постараемся, но голоса были неуверенные.

Случилось то, чего надо было ожидать. Уже на второе собрание семинария не явилась часть бывших на первом, зато явились новички, которым пришлось объяснять всё сызнова. Студийцы смущались, конфузились передо мной и друг перед другом – «активное участие» приходилось из них вытягивать чуть не клещами, добывая его в микроскопических дозах. В конце концов всё сводилось к тому, что я один, надсаживаясь, «играл» и за руководителя, и за весь семинарий.

Когда всё-таки студийцы начали кое-как втягиваться в работу, последовал новый приказ: отменить семинарий и читать систематический курс: «Жизнь и творчество Пушкина».

По существу это было даже лучше семинария. Но я видел, что новая перемена вызвана не заботой о пользе дела, а желанием снова ему помешать. Как раз в это время произошел случай, несколько испортивший мои отношения со студийцами. При Пролеткульте решено было издавать журнал «Горн», под редакцией самих студийцев. Меня попросили написать статью о книжке стихов Герасимова. Он был не совсем новичок в литературе: в 1915 году я довольно сочувственно отзывался о нем в «Русских Ведомостях». Я согласился и написал о Герасимове то, что думал, т. е. что человек он даровитый, но пока еще целиком зависит от своих учителей-символистов, преимущественно от Блока и Брюсова. Велико было мое удивление, когда я получил

первый номер «Горна» и увидел, что из статьи выброшены все мои упреки Герасимову, а похвалы оставлены, так что статья стала гораздо более хвалебной, нежели была в рукописи. На мои протесты было отвечено, что о литературных достижениях пролетариата надо писать «отчетливей», т. е. кричать о хорошем и замалчивать слабое, и что даже в таком виде, как статья напечатана, она всё-таки Герасимову (одному из редакторов «Горна») не нравится. «Вы его мало похвалили». Действительно, я заметил, что Герасимов перестал посещать мои лекции. Всё это мне не нравилось: в те времена кумовство, даже и в «гнилой» буржуазной критике, не поощрялось – ему только еще предстояло расцвести в эмиграции.

В одно из воскресений зашел я в качестве гостя на исполнительное собрание, где студийцы читали стихи и между собой обсуждали прочитанное. Читались стихи посредственные, а то и вовсе плохие. Но – с какой юмористической почтительностью говорили чтецы и слушатели друг о друге! Сколько хитрости было в похвалах, расточаемых для того, чтобы самому получить такую же похвалу в ответ! В довершение всего некий Семен Родов имел наглость при мне прочитать свою большевицкую поэму, которую перелицевал из антибольшевистской, читанной мне больше года тому назад, когда автор был еще просто студентом и не носил пролетарской кожаной куртки.

Я ушел с тяжелым чувством. Я видел, как в несколько месяцев лестью и пагубной теорией «пролетарского искусства» испортили, изуродовали, развратили молодежь, в сущности, очень хорошую. В таком настроении предстояло мне приступить к чтению курса. Дело шло к весне, и я предложил отложить его до осени. Куда! Мне с важностью заявили, что «у пролетариев нет каникул». Я начал читать. Лекции по-прежнему стали собирать человек по сорок слушателей, т. е. больше, чем семинарий, на который не приходило больше пятнадцати. То же самое происходило у других «буржуазных» лекторов, хотя им, как и мне, всячески мешало начальство. К руководителям Пролеткульта по-прежнему ходило мало народа. Было ясно, что «контрреволюции» вскоре будет нанесен решительный удар. И

в самом деле, придя на четвертую лекцию, на которой я должен был говорить о петербургской жизни Пушкина по выходе из Лицея, я вдруг узнал, что все лекции отменены, а студийцы отправлены на фронт. В опустелых залах я встретил кое-кого из них. Эту отправку они ощущали как почетную ссылку, были злы на совет Пролеткульта, но недовольны и лекторами, навлекшими на них такую напасть.

С осени я в Пролеткульт не вернулся, да и ученики мои, вернувшись с войны, вышли из Пролеткульта, чем недвусмысленно выказали свое отношение к его начальству. Литературная студия навсегда прекратила существование, а ее основное ядро организовалось в группу пролетарских поэтов, получившую название «Кузница». Она просуществовала несколько лет. Ничего выдающегося она не сделала, именно потому, что ее участникам не дали возможность пополнить свое литературное образование. Постепенно сошли на нет и исчезли со страниц советской печати ее участники, как даровитые, вроде Казина и Герасимова, так и не обладавшие талантом, вроде Александровского. Не только не состоялась пролетарская литература, но и были загублены люди, несомненно, достойные лучшей участи. Бессовестно захваленные, но не вооруженные знанием дела, они не выдержали конкуренции попутчиков.

На этом кончилась моя первая попытка ознакомления «широких масс» с Пушкиным. Вторая относится к более позднему времени – к весне 1921 г. Я жил в Петербурге. Подголодаывал. Однажды вечером – стук в дверь. На пороге какая-то женщина – пришла приглашать меня читать лекции о Пушкине в клуб имени Подбельского. По началу я отказался, наученный московским опытом, но женщина привела доводы неопровержимые: столько-то фунтов черного хлеба и фунт повидла в неделю. Оказалось к тому же, что и клуб находится недалеко – поблизости от Мариинского те-театра (я жил на углу Мойки и Невского). Кончилось тем, что я согласился. Моими слушателями оказались служащие почтового ведомства, в огромном большинстве – женщины. Три раза я им рассказывал о Пушкине. Слушали хорошо, вникали, после лекции забрасывали

вопросами, в большинстве случаев – очень дельными. Я уже начал даже испытывать некоторое удовольствие от этих занятий. Как вдруг, в один прекрасный день, получаю вызов к клубному комиссару, которого никогда не видел и о самом существовании которого до тех пор не подозревал. Являюсь. Обыкновенный комиссар, как все; гимнастерка, растрепанная бородка, пенсне, револьвер. Он мне сказал:

– На будущей неделе мы празднуем двухлетний юбилей курсов. Пускай кто-нибудь из ваших слушательниц прочтет доклад о Пушкине.

Я почтительно доложил, что никто из слушательниц этого сделать не может, ибо познания их еще слишком ограничены.

– А между тем надо, – сказал комиссар. – Будет начальство, пресса.

– К сожалению, невысказано.

– Тогда вы сочините, а она пускай прочитает. Понимаете? Вечер должен быть показательный.

Я очень спокойно объяснил ему, что есть большая разница между «показательным», когда показывают то, что есть, и «показным», когда показывают то, чего нет. Мое объяснение ему не понравилось. Он рассердился и объявил, что больше я у них не служу.

Больше о Пушкине я не читал, но пригласили меня еще раз – при обстоятельствах столь неправдоподобных, что, вероятно, читатели мне не поверят. Мне было кем-то предложено читать популярно-научные и литературные лекции (в частности – о Пушкине) в кружке для самообразования, который начальство предписало устроить при... Российской Академии Наук. Я сперва думал, что речь идет о сторожах и уборщицах, но мне пояснили, что посещение кружка будет обязательно для всех без исключения работников Академии. Перспектива объяснять Хвольсону, отчего бывает гром и молния, Павлову рассказывать о системе кровообращения, а Модзалевскому сообщать, что Пушкин родился в 1799 г., меня ужаснула. Я отказался.

*1937 г.*

### *Книжная палата*

Уже при Временном Правительстве московский цензурный комитет претерпел глубокие изменения. После октябрьского переворота он был превращен в «подотдел учета и регистрации» при отделе печати московского совета. Из прежних функций за ним сохранились две: регистрация выходящих изданий, во-первых, и распределение так называемых «обязательных экземпляров» по государственным книгохранилищам, во-вторых. К этим двум функциям, полезным и даже необходимым, была прибавлена третья. Национализировав типографии и взяв на учет бумажные запасы, советское правительство присвоило себе право распоряжаться всеми типографскими средствами. Для издания книги, журнала, газеты отныне требовалось получить особый «наряд» на типографию и бумагу. Без наряда ни одна типография не могла приступить к набору, ни одна фабрика, ни один склад не могли выдать бумагу. Выдача этих нарядов была сосредоточена в руках новоиспеченного учреждения. Во главе его с лета 1918 года стал Валерий Брюсов.

Ввести прямую цензуру большевики еще не решались – они ввели ее только в конце 1921 года. Но, прикрываясь бумажным и топливным голодом, они тотчас получили возможность прекратить выдачу нарядов неудобным изданиям, чтобы таким образом мотивировать их закрытие не цензурными, а экономическими причинами. Все антибольшевистские газеты, а затем и журналы, а затем и просто частные издательства были постепенно уничтожены. Отказы в выдаче нарядов подписывал Брюсов но, разумеется, директивы получались им свыше. Не будучи советским цензором «де юре», он им всё-таки очутился на деле. Ходили слухи, что его служебное рвение порой простиралось до того, что он позволял себе давать начальству советы и указания, кого и что следует пощадить, а что прекратить. Должен, однако, заметить, что я не знаю, насколько такие слухи были справедливы и на чем основывались. Несколько забегаю вперед, скажу, что впоследствии, просматривая делопроизвод-

ство подотдела, никаких письменных следов такой деятельности Брюсова я не нашел.

Еще в 1918 году подотдел учета и регистрации был переведен из прежнего помещения цензурного комитета в дом гостиницы «Петергоф», на углу Моховой и Воздвиженки. Однако, в октябре или ноябре 1919 года, весь этот дом был полностью предоставлен центральному комитету коммунистической партии. Подотделу приказали немедленно выселиться – и он не без труда нашел себе пристанище на Девичьем Поле, где ему отвели две комнаты в доме Архива Министерства Юстиции. Брюсов, живший на 1-ой Мещанской, очутился в необходимости ездить на службу через весь город. Ни автомобиля, ни лошади ему не полагалось по штату, а трамваи почти не действовали. Брюсов к тому же был болен и иногда по целым неделям лежал в постели: у него был фурункулез – по-видимому, на почве интоксикации (уже двенадцать лет он был морфинистом). В конце года он подал в отставку. Мне предложили занять его место.

В ту пору советские учреждения еще переживали эпоху, которую можно назвать эпохой перманентного становления. Крут деятельности каждого из них непрестанно менялся, так же, как его права и обязанности. Происходило это главным образом вследствие неутихавшей борьбы местных советов с органами центрального правительства. Неудивительно, что и цензурные функции рано или поздно были отняты у московского совета и переданы куда-то выше, – куда именно, я уже не помню. Произошло это, вероятно, в середине 1919 года. Таким образом, когда мне предложили занять место Брюсова, одиозная часть его прежних обязанностей отпала. Самый подотдел учета и регистрации к этому времени стал называться Московской Книжной Палатой. Всё дело ее заключалось в том, чтобы вести библиографическую регистрацию выпускаемых типографиями печатных произведений и получать с типографий так называемые «обязательные экземпляры». Число таких экземпляров к этому времени было доведено до двадцати пяти. Двадцать два из них Книжная Палата должна была рассылать по книгохранилищам, имеющим государственное значение: прежде всего в Публичную

Библиотеку, в Румянцевский и Исторический музеи, в библиотеку Академии Наук, в университетские библиотеки и т. д.

Штат Книжной Палаты был невелик: кроме меня, состоял он из секретаря, регистратора, машинистки и курьера Янчука – человека ворчливого и кудластого, уже пожилого, весьма довольного новыми порядками: он служил еще в цензурном комитете и достался Книжной Палате, так сказать, по наследству, вместе с мебелью и многочисленными фотографиями старых цензоров. Фотографии эти, в деревянных рамочках, он развесил в моем кабинете и тщательно стирал с них пыль тряпкой. На меня он сперва косился – потом мы подружились.

Работы, в сущности, было немного, но она осложнялась мучительно: не было письменных принадлежностей, лент для машинки, не было даже оберточной бумаги и веревки для перевязки книг, рассылаемых по библиотекам. Всё это приходилось добывать с великим трудом. Посылки нужно было доставлять в главный почтамт, на Мясницкую – Янчук раздобыл салазки и раза два в неделю впрягался в них. В помещении Палаты было градуса три тепла, не больше. Руки у регистратора опухали и трескались от холода: книги на холоде не лучше железа. Работали все в перчатках.

Эти трудности, порядка технического, были, однако же, не главной бедой. Еще труднее обстояло дело с типографиями. По декрету, грозившему самыми строгими карами, книги должны были доставляться в Палату из типографий немедленно по выходе. На деле они запаздывали. Случалось, что книга давно уже появлялась в продаже, а в Палату она всё еще не поступала. В один прекрасный день (это было, помнится, в самом конце 1919 года) я нашел у себя на столе обрывок бумаги, на котором карандашом было нацарапано: «Больше газет доставлять не буду – больно вы далеко забрались». Это послание исходило от рассыльного бывшей сытинской типографии, на Тверской, где печатались «Известия» и «Правда». И действительно, с этого дня доставка газет прекратилась. Ни «Известия», ни «Правда» не доставлялись в Палату около трех месяцев. В конце марта или в начале апреля я раздобыл автомобиль и отправился сам на склад, за комплектами недоставленных номеров. Однако, мне

удалось добыть всего два или три комплекта, и то потрепанных и подмоченных: Я «присудил» один из них Публичной Библиотеке, другой – Румянцевскому музею, третий – если только он был – Историческому музею. Только в этих хранилищах и можно по сию пору получить комплекты «Известий» и «Правды», за первые три месяца 1920 года. Больше их нигде нет – и не будет.

Немалое количество страданий мне причинили также и «безнарядные» книги. Дело в том, что, при известных связях и за известную мзду, можно было иногда добывать бумагу без всякого наряда, и без наряда же печатать книги в типографиях. Такие книги появлялись на рынке, я порою отлично знал, кто их издатель; порою авторы мне их дарили с дружескою надписью. На этих книгах имелись самые фантастические обозначения места издания: Амстердам, Антверпен, Филадельфия и т. д. Типография, разумеется, не была обозначена никогда. В Палату такие книги, естественно, не доставлялись и, таким образом, в государственных книгохранилищах образовался пробел. Издание, которое можно было купить в любой книжной лавке, не попадало в Румянцевский музей.

Зато немалым мне развлечением служило рассмотрение книг, проходивших через Палату. Книг и журналов, отпечатанных довольно фантастическим образом, довелось мне видеть не мало. Они поступали, главным образом, из провинции, но иногда выпускались в самой Москве. Тут были книги, отпечатанные на обоях, на оберточной бумаге и даже на оборотной стороне каких-то казенных бланков и ведомостей, – немножко напоминавшие письмо городничего к Анне Андреевне.

Наконец довелось мне быть наблюдателем презанятных библиографических историй.

С какой из них начать – я не знаю: хронологическая их последовательность улетучилась из моей памяти, а если бы и сохранилась – всё равно была бы несущественна. Поэтому начну наугад, с истории, в которой, собственно говоря, никакой «истории» даже не было, а просто была безалаберщина, бестолковщина, характерная, впрочем, для той эпохи. Дело же всё заключалось в том, что Госиздат вздумал выпустить

календарь-альманах на 1920 год – нечто вроде блаженной памяти гатцуковского «Царя-Колокола», но, разумеется, на советский лад. Началось с того, что календарь, как водится, запоздал: вышел не то в марте, не то в апреле. Отличительной и «революционной» его чертой было то, что названия христианских праздников были из него выброшены, вместе со святцами. Вместо праздников было означено просто: «День отдыха», а вместо святцев указывалось, какое революционное событие и в каком году происходило в данный день. Всё это было вполне естественно, и составители могли рассчитывать на благоволение начальства. Но, на беду свою, забыли они проставить только одно – дни недели. Календарь появился без понедельников, вторников и т. д. Конечно, с точки зрения вечности, это было даже хорошо, – он годился на любой год. Но в то же время он не годился ни на какой, и его спешно отправили на бумажную фабрику – шинковать. А издан он был в количестве нескольких десятков тысяч экземпляров – и это во времена бумажного голода.

В другой истории проштрафилась – и серьезно – сама ВЧК. Жил был в Москве некто Павел Никитич Макинциан. Знал я его потому, что несколько лет до того, еще во время войны, был он организатором известного сборника «Поэзия Армении», выпедшего под редакцией Брюсова. В этом сборнике я участвовал в качестве одного из переводчиков. Тот же Макинциан давал уроки армянского языка Брюсову и его жене. Им же была устроена поездка Брюсова по Кавказу. В сотрудничестве с Брюсовым он же редактировал и «Армянский сборник» издательства «Парус» – в этом сборнике тоже были мои переводы. Затем, уже при большевиках, нередко заходил он ко мне во «Всемирную Литературу» по каким-то делам. То было время гражданской войны. Я разговаривал с Макинцианом на темы самые рискованные вполне откровенно, как со старым знакомым. Однажды пришел он ко мне, когда я уже заведовал Книжной Палатой, и сказал, что ему нужна книга, которой уже нет в продаже, но которая ему необходима для работы – не на время, а на вечную собственность, так как ему придется ее изрезать.

Он слышал, что в Книжной Палате имеются запасные экземпляры всех поступающих книг, и хотел бы получить один такой экземпляр. Я ответил, что без письменного разрешения Отдела Печати выдать книгу ему не могу. Через несколько дней он принес мне такое разрешение, в котором было сказано, что книга может быть выдана *сотруднику* ВЧК Макинциану для очередной работы. Я вспомнил свои с ним разговоры и мне стало не по себе. Через некоторое время появилась известная «Красная Книга ВЧК», на обложке которой было указано, что она составлена Макинцианом. В ней было, должно быть, страниц триста, а то и больше. В ней рассказывалась история нескольких организаций и заговоров, раскрытых ВЧК. Нельзя отрицать, что работа велась сотрудниками ВЧК с замечательной ловкостью. Этим-то ВЧК хотела похвастаться в своем издании, но не сообразила того, что слишком откровенно разоблачает свои приемы. Кончилось тем, что книга была экстренно изъята из продажи, а затем вновь появилась, но уже сокращенная по крайней мере на две трети. Кажется, из нее выбросили всё, кроме истории взрыва в Леонтьевском переулке. После этого звезда Макинциана закатилась, а полное издание «Красной Книги» стало библиографической редкостью.

Третья история произошла с моим покойным учителем и другом М. О. Гершензоном. Однажды он мне сказал: «Я нашел настоящую *скрижаль Пушкина* – его философию искусства, его credo». Будучи несколько скрытен в том, что касалось его текущей работы, он на расспросы мои ответил только, что это – всего лишь одна страница, которая давно напечатана, но на нее не умели обратить должного внимания и даже не включили ни в одно собрание сочинений Пушкина. Прошло сколько-то времени. Однажды утром (кажется, это было в начале 1920 года) Гершензон занес мне в подарок только что выпешдшую свою книгу «Мудрость Пушкина». На первом месте, почти без комментариев, напечатана была «Скрижаль Пушкина» – тот самый отрывок, о котором он мне говорил. В тот же день я был занят, книгу не раскрывал, а вечером пошел в гости к Георгию Чулкову, которого застал в радостном возбуждении.

Ну что, «Скрижаль Пушкина» видели?

Нет еще, – сказал я.

В таком случае – полюбуйтесь.

Чулков протянул мне книгу. Пока я читал, он смотрел на меня испытующе, а затем спросил:

– Что, похоже на Пушкина?

Я был в замешательстве. То, что я прочитал, по существу *могло* выражать эстетику Пушкина, во всяком случае, не противоречило ей.

Но самое изложение до чрезвычайности мало было похоже на пушкинское. Я сказал Чулкову, что по-моему это – не Пушкин.

– Ну, ваше счастье, – сказал Чулков, – а то сели бы вы в калошу вместе с вашим Гершензоном. Сейчас я видел Сакулина. Он в ужасе. Заметка-то ведь не Пушкина, а Жуковского – Пушкин только зачем-то списал ее для себя. Гершензон нашел ее в шляпкинском описании бумаг Пушкина и вообразил, что это – сам Пушкин.

«Ужас» Сакулина был напускной и радостный, так же, как ужас Чулкова. Оба они терпеть не могли Гершензона и теперь злорадствовали вместе со многими другими. Сакулин, впрочем, поступил честно: если не ошибаюсь, он сам отправился к Гершензону и всё ему разъяснил. Гершензон был почти в отчаянии от своей ошибки. Тотчас же он бросился на склад «Книгоиздательства Писателей», велел остановить рассылку книги по магазинам и заставил мальчика, служащего на складе, вырезать из всех экземпляров тот листок, который был занят «Скрижалью Пушкина», то есть страницы пятую и шестую. В таком виде книга и поступила в продажу – без первой статьи, означенной однако же, в оглавлении. Затем прибежал он ко мне с просьбой, чтобы прежде рассылки книги по библиотекам я приказал вырезать из нее тот же злосчастный листок. В сущности, я не имел на то права, но, видя отчаяние Гершензона, пообещал ему это сделать. К несчастью, придя в Палату, я узнал, что книга уже разослана. Таким образом, по музеям и библиотекам она пошла в полном виде.

Эти библиотечные экземпляры с сохраненным листком должны были бы стать библиографической редкостью, потому

что вслед затем Гершензон обратился ко всем знакомым, которым успел послать книгу, с просьбой вырезать и вернуть ему этот листок. На деле из этого всё-таки ничего не вышло: Гершензон получил листки, но некто Ш., по роду занятий философ, по характеру весельчак и бурш, умудрился купить у мальчишки из книгоиздательства изрядное количество вырезанных листков и раздавал их направо и налево всем желающим. В результате образовалось очень большое количество экземпляров «Мудрости Пушкина» с вырезанным и обратно вклеенным листком.

В заключение расскажу еще об одной книжной драме, разыгравшейся на сей раз в Кремле. Бухарин только что выпустил свою «Экономику переходного периода». Его отношения с Лениным были в ту пору натянуты, и в самой книге имелись какие-то более или менее замаскированные выпады против Ленина. Несмотря на это (или, быть может, именно поэтому), Бухарин решил проявить по отношению к вождю величайший наружный пиетет. Вслед за титульным листом в книгу вклеены были еще два листка: на первом из них, на меловой бумаге, отпечатан был портрет Ленина (впоследствии довольно известный — за письменным столом, лицом к зрителю); второй представлял собой кусок мягкого, розоватого картона с искусственно оборванными краями — вроде тех, что употребляются для свадебных приглашений; на этом картоне крупнейшим, замысловатым шрифтом (тоже вроде употребляющихся в матримонимальных случаях) отпечатано было посвящение Ленину; Ленин очень хорошо понял бухаринскую хитрость и приказал немедленно вырезать из книги и портрет свой, и посвящение. Так и было сделано. Однако же, некто Щелкунов, библиофил, небезызвестным своим собранием эротических книг и рисунков, сделал примерно то самое, что с книгою Гершензона сделал философ Ш. Он задешево приобрел в Госиздате штук пятьдесят бухаринской книги с портретом и посвящением, а затем постепенно распродал эти экземпляры из-под полы в качестве библиографической редкости по высокой цене. На этом деле он, говорят, хорошо заработал, в отличие от Ш., который действовал бескорыстно, единственно ради злой шалости.

*10 и 17 ноября 1932 г.*

## *Белый коридор*

### **I. У ЛУНАЧАРСКОГО В БЕЛОМ КОРИДОРЕ**

К концу 1918 года, в числе многих московских писателей (Бальмонта, Брюсова, Балтрушайтиса, Вяч. Иванова, Пастернака и др.) я очутился сотрудником Тео, т. е. театрального отдела Наркомпроса. Это было учреждение бестолковое, как все тогдашние учреждения. Им заведывала Ольга Давыдовна Каменева, жена Льва Каменева и сестра Троцкого, существо безличное, не то зубной врач, не то акушерка. Быть может, в юности она игрывала в любительских спектаклях. Заведывать Тео она вздумала от нечего делать и ради престижа.

Писатели в Тео были только вкраплены. Основное ядро составляли какие-то коммунисты, рабочие, барышни, провинциальные актеры без ангажемента, бывшие театральные репортеры, студенты, художники. Они неизвестно откуда являлись и неизвестно куда пропадали, высказав свое мнение. В Тео преимущественно заседали, но, вероятно, не было и двух заседаний с одинаковым составом участников. Поэтому ни один вопрос не ставился точно и ни одно дело не доводилось до конца. Впрочем, никто и не знал, что надо делать. Говорили преимущественно «к порядку дня» и перманентно «организовывались», неизвестно, с какою целью. Однако заседали секционно, коллегиально и пленарно, писали проекты, составляли схемы, инструкции и мандаты, а больше всего почему-то переезжали из этажа в этаж, из комнаты в комнату огромного здания на Неглинной улице. Всё пересаживались, как крыловский квартал.

Были разные секции. Вячеслав Иванов, например, заведывал историко-театральной, а Балтрушайтис (он еще не был тогда литовским посланником) стоял во главе репертуарной, в которой сидел и я. Мы составляли репертуарные списки для театров, которые не хотели нас знать. Мы старались протациить классическим репертуар: Мольера, Шекспира, Гоголя, Островского. Коммунисты старались заменить его революционным, которого

не существовало. Иногда приезжали какие-то «делегаты с мест», и, к стыду Каменевой, заявляли, что пролетариат не хочет смотреть ни Шекспира, ни революцию, а требует водевилей: «Теща в дом – всё вверх дном», «Денщик подвел» и тому подобное. Нас заваливали рукописями новых пьес, которые мы должны были отбирать для печатания – в остановившихся типографиях, на несуществующей бумаге. В зной, в мороз, в пиджаках, в зипунах, в гимнастерках, матросских фуфайках, в смазных сапогах, в птблетах, в калошах на босу ногу и совсем босиком шли к нам драматурги толпами. Просили, требовали, грозили, ссылались на пролетарское происхождение и на участие в забастовках 1905 года. Бывали рукописи с рекомендацией Ленина, Луначарского и... Вербицкой. В одной трагедии было двадцать восемь действий. Ни одна никуда не годилась.

Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в Тео, дурели в канцеляриях, слушали вздор в заседаниях, потом шли в нетопленные квартиры и на пустой желудок ложились спать, с ужасом ожидая завтрашнего дня, ремингтонов, мандатов, г-жи Каменевой с ее лорнетом и ее секретарями. Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним своим присутствием в Тео и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись.

Однажды в Тео, на лестнице, я встретил Андрея Белого. Перед тем мы не виделись месяца два. На нем лица не было. Кажется, мы даже ничего не сказали друг другу – только посмотрели в глаза. Через несколько дней, возвратясь домой с рынка, где пытался купить муки, я застал его у себя. Он писал мне записку: – один молодой поэт выхлопотал нам аудиенцию у Луначарского, который готов выслушать писателей: аудиенция завтра в восемь часов вечера, встреча у Троицких ворот Кремля.

\* \* \*

Усталые, голодные, назаседавшиеся на заседаниях и настаивавшие в очередях, мы встретились в темноте у манежа. Пришли: Гершензон, Балтрушайтис, Андрей Белый, Пастернак,

Георгий Чулков, еще кто-то. Никто не опоздал. Двинулись по мосту, к воротам. У кого-то в руках – пропуск на столько-то человек. Часовой каждого трогает за плечо и считает вслух: «Один, другой, третий»... – гуськом пропускает нас в темную щель ворот. В Кремле тишина, снег, ночь.

Сейчас же за Троицкими воротами, к арке, соединяющей Большой дворец с Оружейной палатой, идет узкая улица. Заходим налево, в комендатуру. Опять проверка – и новые пропуска: в *Белый коридор*. Минуем Потешный дворец и входим в большую дверь, почти под Оружейной палатой. За дверью темно, только где-то в глубине здания, в полуподвале, виднеется смутно освещенный гараж. Подымаемся по темной лестнице. На поворотах стоят часовые. Наконец, – площадка, тяжелая дверь, а за ней ярко освещенный коридор.

Не знаю, большевики ли дали ему это имя или он так звался раньше, – но коридор, действительно, белый: типичный коридор старого казенного здания – прямой, чистый, сводчатый. Гладкие белые стены, белые двери справа и слева, как в гостинице. Широкая красная дорожка стелется до конца, где коридор упирается в зеркало.

В ту пору Белый коридор был населен сановниками. Там жили Каменевы, Луначарские, Демьян Бедный. Каждый апартамент состоял из трех-четырёх комнат. Коридор жил довольно замкнутой жизнью, не лишенной уюта и своеобразия. Сюда не допускался простой народ и здесь можно было не притворяться. На этой почве случались маленькие конфузы. На утро после взрыва в Леонтьевском переулке, когда весь Кремль был охвачен паникой, когда (по тогдашнему выражению Каменева) все думали, что «уже началось», Ольге Давыдовне было необходимо куда-то ехать. Она шла по коридору. Теща Демьяна Бедного, простая женщина, увидала ее, подбежала, и наспех перекрестила.

Мы вошли к Луначарскому. Просторная комната; типично-дворцовая мебель восьмидесятых годов, черная, лакированная, обитая пунцовым атласом. Вероятно, до революции, здесь жили дворцовые служащие.

Поздоровавшись, сели мы как-то нескладно, чуть ли не в ряд. Луначарский сел против нас, посреди комнаты. Позади его помещался писатель Иван Рукавишников, козлородый, рыжий, в зеленом френче. Когда мы вошли, он уже сидел в большом кресле, с которого не поднялся ни при нашем появлении, ни потом. Он только слегка кивнул головой, что-то промывчав. Его присутствие, так же, как неподвижность, слегка удивили нас. Но позже всё объяснилось.

Луначарский откинулся назад, сверкнул пенсне, внимательно осмотрел нас (мне показалось – пересчитал), молча пожевал губами, а потом сказал речь. Он говорил очень гладко, округленно, довольно большими периодами, чрезвычайно приятным голосом. По его писаниям я знал, что он не умен, самовлюблен и склонен к вычурам. Против ожидания, он говорил совсем просто. Любование собой сказалось только в чрезвычайной пространности его речи, а ее плавности мешало непрерывное подрыгивание ног.

Подробностей того, что сказал Луначарский, я, конечно, не помню. В общем, это была вполне характерная речь либерального министра из очень нелиберального правительства, с приличной долей даже легкого как бы фрондирования. Всё, однако, сводилось к тому, что, конечно, стоны писателей дошли до его чуткого слуха; это весьма прискорбно, но, к сожалению, никакой «весны» он, Луначарский, нам возвестить не может, потому что дело идет не к «весне», а совсем напротив. Одним словом, рабоче-крестьянская власть (это выражение заметно ласкало слух оратора, и он его произнес многократно, с победоносным каждый раз взором) – рабоче-крестьянская власть разрешает литературу, но только подходящую. Если хотим, мы можем писать, и рабочая власть желает нам всяческого успеха, но просит помнить, что лес рубят – щепки летят.

Всё это, повторяю, было высказано очень складно и длинно, но не оставляло сомнений в том, что летящие щепки (это выражение мне запомнилось в точности) – это и есть писатели. Видя, должно быть, наши вытянутые физиономии, Луначарский захотел нас утешить. В заключение он прибавил, что ему

известно, как тяжело нам служить в учреждениях, и что, разумеется, дело писателей – писать, а не заседать, но это можно облегчить, если устроить еще одно учреждение, а именно литературный отдел Наркомпроса, в параллель к театральному. Он даже пообещал, что вскоре начнется обширнейшая серия заседаний на тему об организации такого отдела, и мы будем привлечены к участию в этих заседаниях.

После этих слов стало уже окончательно ясно, что с ним говорить не о чем и не к чему. Однако, мы все ощущали такой стыд за него, что не имели сил просто встать и откланяться. Мы переглянулись между собою, и наконец, кто-то ему ответил несколько слов, ничего не значущих. Казалось, аудиенция кончена. Но тут Иван Рукавишников зашевелился, сделал попытку встать с кресла, затем рухнул в него обратно и коснеющим языком произнес:

– Пр-рошу.... сслова...

Пришлось остаться и битых полчаса слушать вдребезги пьяную ахиною. Отдуваясь и сопя, порой подолгу молча жуя губами, Рукавишников «п-п-п-а-азволил п-п-предложить нашему вниманию» свой план того, как вообще жить и работать писателям. Оказалось, что надо построить огромный дворец на берегу моря или хотя бы Москва-реки... м-м-дааа... дворец из стекла и мррра-мора... и ал-л-люми-иния... м-м-мда-а... и чтобы все комнаты и красивые одежды... эдакие хитоны, – и как его? Это самое.... – коммунальное питание. И чтобы тут же были художники. Художники пишут картины, а музыканты играют на инструментах, а кроме того замечательнейшая тут же библиотека, вроде Публичной, и хорошее купание. И когда рабоче-крестьянскому пр-р-равительству нужна трагедия или – как ее там? – опера, то сейчас это всё кол-л-лективно сочиняют з-з-звучные слова и рисуют декорацию, и все вместе делают пластические позы и музыку на инструментах. Таким образом ар-р-ртель и красивая жизнь, и пускай все будут очень сча-а-астливы. Величина театрального зала должна равняться тысяча пятистам сорока восьми с половиной квадратным сажением, а каждая комната – восемь сажень в длину и столько же в ширину. И в каждой комнате обязательно умывальник с эмалированным тазом.

Луначарскому, видимо, было неловко, он смущенно на нас поглядел, но у нас лица были каменные. Когда Рукавишников затих, мы встали и ушли, молча пожав руку Луначарскому. С Рукавишниковым не прощались. У подъезда стояли сани с медвежьей полостью. Кто-то спросил туго-набитого кучера:

– Это за кем лошадь?

– За товарищем Рукавишниковым.

Тот же часовой, те же Троицкие ворота, за ними – тьма. Прочитав пропуск, часовой гуськом выпускает нас в узкую щель и считает вслух: «Один, другой, третий»... Каждого трогает за плечо. Так слепой циклоп Полифем, боясь упустить Одиссея со спутниками, считал и щупал своих баранов у выхода из пещеры.

Проходим по мосту. Молча идем дальше. Почти всем по пути: на Арбат, на Смоленский бульвар, в Хамовники...

\* \* \*

Рукавишников, плодовитый, но безвкусный писатель, был родом из нижегородских миллионеров. Промотался и пропился он, кажется, еще до революции. Он был женат на бывшей цирковой артистке, очень хорошенькой, чем и объясняется его положение в Кремле. Вскоре Луначарский учредил при Тео новую секцию – цирковую, которую и возглавил госпожой Рукавишниковой. После этого какие-то личности кокаинного типа появились в Тео, а у подъезда, рядом с автомобилем Каменевой, появился парный выезд Рукавишниковой: воронные кони под синей сеткой – из придворных конюшен. Тут же порой стояли просторные розвальни, запряженные не более и не менее, как верблюдом. Это клоун и дрессировщик Владимир Дуров явился заседать тоже.

Иногда можно было видеть, как по Воздвиженке или по Моховой, взрывая снежные кучи, под свист мальчишек, выбрасывая из ноздрей струи белого пара, широченной и размашистой рысью мчался верблюд. Оторопелые старухи жались к сторонке и шептали:

– С нами крестная сила!

## II. ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР У КАМЕНЕВЫХ

Однажды мы в Театральном отделе прозаседали часов до пяти. Я сидел далеко от Каменевой. Вдруг получаю от нее записку. Пишет, что заседание затянулось, а между тем у Балтрушайтиса есть две ирландские пьесы, которые необходимо экстренно прочесть и обсудить в репертуарной секции. Так вот – свободен ли я сегодня после девяти часов вечера? Отвечаю на той же записке: «Да» – и спустя несколько минут получаю от секретаря полоску бумаги с красной печатью и подписью Каменевой: пропуск в Кремль. Секретарь шепчет:

– Ольга Давыдовна просит собраться у нее на дому, потому что здесь нетоплено и нельзя задерживать низших служащих.

Я подумал, что и впрямь уж лучше слушать ирландские пьесы в тепле, чем в холоде. С Неглинной пошел по сугробам к себе на Девичье Поле, а вечером – с Девичьего Поля в Кремль.

Дверь Каменевых – в самом конце Белого коридора, направо. Постучав, попадаю в столовую. Посредине комнаты – большой круглый стол. Несколько стульев. В углу, слева от входа – камин. Стены голые, коричнево-серые. Вообще у комнаты вид нежилой, казарменный. Кроме входной, в ней еще две двери, из которых левая закрыта. Хозяйка ведет меня в правую, в кабинет Каменева.

Войдя, вижу, что «наших», из репертуарной секции, никого еще нет. Каменев в новом, еще не обмятом костюме из коричневой кожи, беседует с двумя или тремя людьми большевицкого типа. Знакомимся, но, по русскому обычаю, фамилии так произносятся, что не разобрать их. Немного поговорив со мной, Ольга Давыдовна исчезает. Каменев продолжает разговор со своими гостями. Зачем они здесь? Впрочем, они вероятно уйдут, когда начнется наше заседание.

От тепла я давно отвык. В толстом свитере, в кожаной куртке на байковой подкладке, в валенках – мне становится слишком жарко, размаривает. Чтобы не задремать, разглядываю комнату. Ковер, большой письменный стол, телефон. Мягкая мебель – точно такая, как у Луначарского: очевидно, весь Белый коридор

ею обставлен. Выделяется только книжный шкаф, новый, темно-зеленый. Подхожу, вижу за стеклами корешки, улыбаюсь.

В ту пору Книжная Лавка Писателей, где работал и я, почти одна торговала на всю Москву. Мы хорошо знали рынок. Огромный спрос был на философию, на стихи и на художественные издания, в особенности на последние. Новый покупатель кинулся на них жадно. Шел к нам «за искусством» и сознательный рабочий, и молодой пролеткультовец, и партиец. Но всего больше – попросту спекулянт, забронированный сорочка мандатами, спешащий превратить падающие советские деньги в более прочные ценности. Конечно, золото, камни, валюта – лучше, но хранить их опасно. А книги пока еще разрешаются. Ну, конечно, и украшение для жилища, культурный лоск. Помню, один подкатил к лавке с разобранным книжным шкафом американской системы.

– Вот, купил шкаф по случаю. Теперь надо в него книг набрать.

Бенуа, Грабарь, издания Общины св. Евгении, всевозможные монографии о художниках. «Царская и императорская охота», Ровинский, Мутер, Рейнак, книги вел. кн. Николая Михайловича, издания «Скорпиона», «Грифа», «Альционы», «Золотое Руно», «Аполлон», «Старые Годы», даже «роскошное» Сытинское издание «Войны и мира», всё это было нарасхват, вместе со словарем Брокгауза и с изданием классиков. Требовалось всё видное, переплетённое, многотомное.

Все эти Грабари, Бенуа, «Скорпионы» да «Альционы» глянули на меня из-за стекла каменевского шкафа. Много книг, и многое, вижу, не разрезано. Да и где же так скоро прочесть всё это? Видно, что забрано тоже впрок, ради обстановки и для справок на случай изящного разговора. В те дни, советские дамы, знавшие только «Эрфуртскую программу», спешили навести на себя лоск. Они одевались у Ламановой, покровительствовали искусствам, ссорились из-за автомобилей и обзаводились «салонами». По обязанности, они покровительствовали пролетарским писателям, но «у себя», на равной ноге, хотелось им принимать «буржуазных».

Меж тем, собралась «наши». Пришел Балтрушайтис с папкой в руках (вот они где, ирландские пьесы!), за ним – Чулков, Иван Новиков, Волькенштейн. Пришел Сураварди, о котором надо сказать особо. Родом индус, он приехал в Россию из Оксфорда, в 1916 г., в качестве туриста. Побывал в Петербурге, в Киеве, в Крыму, а к концу 1917 года очутился в Москве. С изумительной быстротой научился он русскому языку и вскоре в литературной и театральной Москве стал всеобщим любимцем. Бывал всюду, работал в Художественном театре, основательно ознакомился с русской литературой и сумел полюбить не только ее, но и самую Россию, полюбить бескорыстно, в самые тяжкие годы ее. С нами он голодал, холодал, с нами же очутился и в репертуарной секции Тео. В 1920 г. он бежал из Советской России (его не хотели выпустить) и долгие годы жил в Праге, в Берлине, в Париже, жизнью русского эмигранта. Сейчас он в Индии.

Вдруг появился Вяч. Иванов, с ним еще кто-то из секции историко-театральной. Их неожиданный приход я старался объяснить себе тем, что, должно быть, на этот раз решено расширить состав «присутствия»: должно быть ирландские пьесы этого требуют... Так ли, иначе ли, но, по-видимому, все, наконец, в сборе. Можно и заседать, скоро десять. Однако, Каменев со своими знакомыми не уходит.

Сураварди мне шепчет:

– Кажется, нас заманили в гости?

Я пожимаю плечами:

– Надеюсь, нет.

Вдруг шум, восклицания, смех в столовой – и разом вваливается целая кавалькада: Иван Рукавишников в своем зеленом френче, за ним Луначарский, сияющий, оживленный, между двух дам: одна – жена Рукавишникова, в черном шелковом платье, с бесчисленными оборками, с огромным вырезом на груди, другая – секретарша Луначарского, с длиннейшим, словно приклеенным носом. Вполне придворная тонкость: она в точно таком же платье, как госпожа Рукавишникова, только вырез гораздо меньше. Очевидно, эту компанию ждали. В комнате

прибавляют света, мужчины осанятся, дамы щебечут. Теперь я уже и сам начинаю думать, что Сураварди прав: мы действительно угодили в гости. Хочу спросить Балтрушайтиса, в чем дело, но в эту минуту Луначарский, усевшись к письменному столу, громко спрашивает:

– Итак, можно приступить к чтению?

Все занимают места. Я смотрю на Балтрушайтиса: разве не он будет читать? В руках у него по-прежнему папка с ирландскими пьесами. Луначарский говорит:

– Я предложу вашему вниманию две пьесы Ивана Васильевича.

Как? Пьесы Рукавишникова? А ирландские? Но дело сделано: очевидно, за наше жалованье мы обязаны не только служить в Тео, но и составлять литературный салон Ольги Давыдовны.

Луначарский начинает читать. Час от часу не легче! Он читает по книге! Значит, мы должны слушать рукавишниковские пьесы, да еще не новые, а давно напечатанные, которые, даже если бы было нужно, мы могли бы прочесть сами. Это значит: нас заманили, чтобы фактом нашего присутствия чтение старых пьес мужа г-жи Рукавишниковой превратить в литературное событие.

Рукавишников был не бездарен, но пошл. Пьесы его, довольно вульгарная смесь из Бальмонта, Леонида Андреева, Метерлинка и еще всякой всячины, были написаны стихами попеременно с прозой. В первой рассказывалось о каком-то таинственном часовщике, в котором, кажется, скрывался сам дьявол. Луначарский читал по всем правилам драматического искусства, за разных лиц – на разные голоса. Видимо, к чтению он заранее подготовился. Слушать его кривляние было тяжело. «Часовщик» тянулся долго. Надоел припев, повторявшийся много раз и, кажется, очень нравившийся Луначарскому. Слегка раскачиваясь и поблескивая пенсне, он произносил стремительной скороговоркой:

– Быстро, быстро, быстро, быстро.

потом обрывал, выдерживал паузу и медленно говорил:

Мчится время...

и опять, после паузы, поскорее.

...в мастерской часовщика.

Когда оно этак промчалось раз десять, пьеса кончилась. Но так как в Кремле время мчится не так быстро, как в мастерской часовщика (и как нам хотелось бы), то всем надоело. Хозяин пригласил пить чай.

Стол в столовой не только был «сервирован», но и так сказать – маскирован. Сервирован узкими фаянсовыми чашками с раструбом кверху. К чаю, как всем известно, такие не полагаются: они служат для шоколада. Но возможно, что Каменевым только такие при дележе и достались: это – дворцовые чашки, с тонким золотым ободком и черным двуглавым орлом. На таких же тарелочках лежали ломти черного хлеба, едва-едва смазанного топленым маслом, а в сахарнице – куски грязного, так называемого «игранного» сахару: свое название он получил от того, что покупался у красноармейцев, которые им расплачивались, играя друг с другом в карты. В этом и заключалась маскировка: скудостью угощения хотели нам показать, что в Кремле питаются так же, как мы.

Общий разговор не налаживался. «Они» – между собой, «мы» – между собой. Один Вячеслав Иванов сумел найти общую тему с хозяевами. Меж тем близилась полночь, а впереди предстояла еще целая пьеса.

Опять перешли в кабинет. Во второй пьесе дело происходило на мельнице, где живет разная нечистая сила и между собой разговаривает. Есть на мельнице inferнальный кот. Он не говорит, но на протяжении всей пьесы то и дело кричит «мяу». Луначарского давно уже нет на свете и как-то неловко сейчас вспоминать его долгое, звучное, истомное мяуканье с руладами. Но тогда было невыносимо смешно смотреть, с каким артистическим увлечением мяукал министр народного просвещения. И главное – невозможно было отделаться от забавной мысли о том, как он это мяуканье репетировал – может быть, вместе с автором.

После чтения принято говорить о слышанном. Всем было ясно, что для советского театра вся эта вычурная декаденщина не подходит и что пьесы читаны только для того, чтобы потешить авторское самолюбие Рукавишников. Поэтому разговор сразу принял общий характер. Большевики говорили что-то большевицкое, но некстати, потому что какие же классовые интересы у мельничной нечисти? Потом сам Луначарский произнес что-то длинное и красивое, с разными звучными именами – вплоть до Агриппы Нетесгеймского. Наконец, – не могу этого утаить – кое-кто из писателей тоже счел долгом высказаться. Таким образом, цель вечера была достигнута: о «творчестве» Рукавишников говорили, как будто всерьез, и его имя, хоть без восторгов, но всё же произносилось наряду с разными высокими именами: дескать, Гете полагал вот что, а Рукавишников – вот что, Новалис смотрел вот так, а Иван Рукавишников – иначе. Так что даже и сам Рукавишников, видимо, был доволен и иногда издавал эдакое задумчивое и многозначительное «э-э» или «угу» или уже вовсе без обиняков: «mmm». Дело в том, что он был, по обыкновению, пьян.

Был второй час на исходе. Стали прощаться. Хозяева уговаривали побывать еще. Вячеслав Иванов сказал с улыбкой:

– Нет, пора. Хорошо вам, вы остаетесь в Акрополе, а нам еще идти в город.

Простившись с обитателями Акрополя, мы вышли. Опять у подъезда лошади Рукавишниковых. Опять Полифем у ворот считает нас, трогая за плечо: «Один, другой, третий... Проходи!» Ночь. Мороз. Впереди – Воздвиженка – непроглядная. Кажется, что нехватит сил дойти до дому.

Ничего, дойдем. Бог нас не оставит.

### III. У КАМЕЛЬКА В СЕМЬЕ КАМЕНЕВЫХ

К началу 1920 г. я уже не служил в Театральном отделе, зато заведовал двумя маленькими учреждениями: московским отделением издательства «Всемирная Литература» и Московской Книжной Палатой. Одно помещалось на Знаменке, другое – на Девичьем Поле. Оба находились под вечной угрозой уплотнения и выселения. Лично я тоже мучился, живя в полуподвальном этаже, в квартире, нетопленной больше года. С улицы, сквозь гнилые рамы, текли в комнаты потоки талого снега. Стекла были на палец покрыты льдом. Я стал мечтать о том, чтобы сразу избавиться от всех трех кризисов, отыскав такую квартиру, в которую можно было бы поместить и оба мои учреждения, и себя самого. Весь январь и половина февраля ушли на бесплодные поиски.

Приближение болезни я почти всегда ощущаю заранее. Так было и в этот раз. Чувствовал, что уже больше месяца на ногах мне не продержаться: слягу от изнурения и истощения. Однако, решил напярять последние силы. Ходил из конца в конец города, осматривая разгромленные квартиры – без окон, без дверей, без обоев, с ваннами, полными заледеневших нечистот, с полами, прожженными до земляного наката, потому что на них перед этим разводились костры. Никуда нельзя было въехать без ремонта, о котором при тогдашних обстоятельствах нечего было и думать.

Между тем, я слабел с каждым днем. Наконец, я решил идти к Каменеву, как председателю Московского совета: пусть он мне даст письмо в центральный жилищный отдел. Я позвонил к нему по телефону; он мне назначил свидание вечером, у себя на дому.

Я пришел в условленный час, но его еще не было. Ольга Давыдовна, у которой к тому времени почему-то отняли Театральный отдел и дали в заведывание отдел социального обеспечения, сидела в столовой за круглым столом со своим подчиненным – коммунистом Дивильковским. Случайно я кое-что знал о нем. Это был старый большевик, честный человек,

не сумевший сделать карьеры; по-видимому он страдал горловой чахоткой, был тощ, зелен лицом, очень беден и обременен семейством. Кстати сказать, это отец того Дивильковского, который впоследствии состоял при Воровском и был ранен в Лозанне, когда Воровской был убит. Другой сын, лет двенадцати, в ту зиму захворал туберкулезом; его поместили в санаторий, где находился один мой родственник; бедный мальчик мечтал иметь монте-кристо, случайно у меня было такое ружьишко, которое я ему и послал – в подарок от неизвестного.

Ольга Давыдовна долго мытарилась Дивильковского разговором о съезде каких-то работниц, близоруко ныряла в портфель, доставала оттуда бесчисленные листы ремингтонированной бумаги и без умолку тараторила: энергично проводила какую-то кампанию. Дивильковский кашлял и смиренно с ней соглашался. Я сидел у камина и, как в прошлое посещение, меня разморило от непривычного тепла.

Наконец, насытись программами и проектами, она спросила у Дивильковского:

– Как ваш мальчик?

– Плох. Доктор велел давать портвейну или коньяку с молоком – да где ж их достанешь?

Я думаю, что это было сказано не без тайной надежды: вся Москва знала, что именно у Каменевых вино водится в изобилии. В частности, «каменевский» коньяк, которым они кое-кого угощали, даже славился.

Казалось, Ольга Давыдовна была тронута:

– Бедный мальчик, я дам ему рису. Кажется, у нас и вино найдется.

Потом опять пошли разговоры, потом пришел Каменев, потом Ольга Давыдовна выбежала из комнаты и вернулась с крошечным мешочком – не более полуфунта.

– Вот рис для вашего сына.

А вино? Вино было забыто, затараторено. Дивильковский взял рис, низко кланялся, благодарил, ушел.

Я изложил Каменеву свое дело. Он долго молчал, а потом ответил мне так:

– Конечно, письмо в жилищный отдел я могу вам дать. Но поверьте – вам от этого будет только хуже.

– Почему хуже?

– А вот почему. Сейчас они просто для вас ничего не делают, а если вы к ним придете с моим письмом, они будут делать вид, что стараются вас устроить. Вы получите кучу адресов и только замучаетесь, обходя свободные квартиры, но ни одной не возьмете, потому что пригодные для жилья давно заняты, а пуствуют такие, в которые вселиться невыносимо.

Я молчу, но сам чувствую, как лицо у меня вытягивается. Каменев после паузы продолжает:

– Конечно, у них есть припрятанные квартиры. Но ведь вы же и сами знаете, что это – преступники, они торгуют квартирами, а задаром их вам никогда не укажут.

Снова молчание.

– Если вы непременно хотите, я дам письмо, – повторяет Каменев, – только ведь вы меня же потом проклянете.

Молчу. Надо поблагодарить и уйти, но подняться почти нет сил, потому что я болен, а главное – потому что после Каменева уже обращаться некуда. Покуда я здесь – вдруг что-нибудь еще наклонится? Если же я уйду, всё будет кончено, и надеяться больше не на что. Должно быть всё это написано у меня на лице, и Каменев неожиданно спрашивает, не без легкого раздражения:

– Ну, а что бы вы *раньше* сделали в таком случае?

– *Раньше* – я бы купил «Русское Слово» и снял бы квартиру по объявлению.

Каменев не ответил; он уходит в свой кабинет и возвращается в шубе с бобровым воротником и в бобровой шапке. Прощается. Я тоже хочу уйти, но Ольга Давыдовна меня удерживает:

– Посидите, пожалуйста, я с вами хотела посоветоваться по одному делу.

Опять сажусь у огня и к стыду своему чувствую, что я рад остаться: в ушах шумит, сердце тяжело бьется, к ногам и рукам привязаны пудовые гири. Тащиться домой через всю Москву нет сил.

Из просителя я превращаюсь в знакомого. Мы с Ольгой Давыдовой коротаем вечер. Она в черной юбке и в белой батистовой кофточке. Должно быть, за день она тоже немного устала, прическа ее рассыпалась. Она меланхолически мешает угли в камине и развивает свою мысль: поэты, художники, музыканты не рождаются, а делаются; идея о прирожденном даре выдумана феодалами для того, чтобы сохранить в своих руках художественную гегемонию; каждого рабочего можно сделать поэтом или живописцем, каждую работницу – певицей или танцовщицей; дело всё только в доброй воле, в хороших учителях, в усидчивости...

Этой чепухи я уже много слышал на своем веку – и от большевиков, и не только от них. Возражаю лениво, не для того, чтобы переубедить ее, а для того только, чтобы не вводить в заблуждение мнимым согласием. Боже мой! Что за странная женщина! Дала бы мне спокойно отдохнуть и посидеть в тепле! Не тут-то было, ей нужно перемалывать «культурные» темы! Вместо того, чтобы самой отдохнуть, она произносит передо мной целую речь – интересно знать, которую за сегодняшний день?

После всевозможных окопесниц, для меня становится ясно, что Ольга Давыдовна не хочет примириться с утратой Театрального отдела. Ей непременно нужно вмешиваться в дела художественные. Поэтому она затевает новую организацию, нечто вроде покойного Пролеткульта, но не Пролеткульт. В чем состоит разница, мне не ясно, да и не интересно, но нельзя сомневаться, что Ольга Давыдовна намерена собрать писателей, музыкантов, артистов, художников, чтобы сообща обсудить проект. Это значит – опять будут морить людей заседаниями, в которых я лично могу не участвовать, потому что у меня две службы, но в которых заставят участвовать тех, у кого нет службы и кого можно за неучастие обвинить в саботаже. Мне хочется выгородить товарищей, и я начинаю доказывать Ольге Давыдовне, что писателей звать не стоит, что они могут читать лекции по своей специальности, когда всё будет готово, но организовывать они ничего не умеют, это не их дело. Между

прочим, оно так и есть в действительности, но Ольга Давыдовна мечтает именно хорошенько позаседать. К счастью, в эту минуту входит толстая баба в валенках – прислуга. Она зовет Ольгу Давыдовну к сыну. Ольга Давыдовна убегает.

В ожидании, пока она вернется, я прогуливаюсь по комнате. Подхожу к окну, возле которого стоят высокие деревянные козлы. На них – картонная модель театральной сцены, замеченная мною еще в прошлое посещение. Она потрепалась, покрылась пылью, занавес висит косяком. Заглядываю внутрь и вижу пустую сцену без декораций, посредине которой лежит желтая кобура револьвера. Тогда это зрелище показалось мне олицетворением театральной деятельности Ольги Давыдовны, и я улыбнулся. Теперь вспоминаю его, как предзнаменование гораздо более мрачное.

Ольга Давыдовна возвращается и говорит сокрушенным голосом:

– Что за несчастный мальчик! Хворает уже больше месяца! Совсем уже было поправился – а вот сегодня опять ему хуже. А ведь какой способный! Прекрасно учится, необыкновенно живо всё схватывает, прямо на лету! Всего четырнадцать лет (кажется, она сказала именно четырнадцать) – а уже организовал союз молодых коммунистов из кремлевских ребят... У них всё на военную ногу.

Если не ошибаюсь, этот потешный полк маленького Каменева развился впоследствии в комсомол. О сыне Ольга Давыдовна говорит долго, неинтересно, но мне даже приятно слушать от нее эти человеческие, не из книжек нахватанные слова. И даже становится жаль ее: живет в каких-то затверженных абстракциях, схемах, мыслях, не ею созданных; недаровитая и неумная, всё-то она норовит стать в позу, сыграть какую-то непосильную роль, вылезть из кожи, прыгнуть выше головы. Говорит о работниках, которых не знает, об искусстве, которого тоже не знает и не понимает. А вероятно, если бы взялась за посильное и подходящее дело – была бы хорошим зубным врачом... или просто хорошей хозяйкой, доброй матерью. Ведь вот есть же в ней настоящее материнское чувство...

И вдруг...

Вдруг – отвратительно, безобразно, постыдно, без всякого перехода, без паузы, как привычный следователь, который хочет поймать свидетеля, Ольга Каменева опарашивает меня вопросом:

– А как по-вашему, Балтрушайтис искренне сочувствует советской власти?

Этот шпионский вопрос вдвойне мерзок потому, что Балтрушайтис, как всем известно, личный знакомый Каменевых. Он бывает у них запросто, а между тем, Ольга Давыдовна шпионит о нем окольными путями. И этот вопрос еще вчетверо, вдесятеро, в тысячу раз мерзок тем, когда и как задан. Оказывается, она говорила о больном сыне для того только, чтобы неожиданной подцепить меня. Конечно, это уж очень нехитрый прием, пригодный разве только для уловления уж очень простых и неподготовленных людей. И конечно, – Ольга Давыдовна знает, что вряд ли я на него попадусь. Тем не менее, вслед за вопросом о благонадежности Балтрушайтиса она спрашивает о Бальмонте, о Брюсове, о целом ряде писателей. При этом, то щураясь, то поднимая к глазам лорнетку, она изо всех сил смотрит мне в лицо. Ни оборвать, ни замять этот разговор нельзя, потому что это для нее будет значить, что тема о любви писателей к советской власти кажется мне рискованной. И вот я поддерживаю этот разговор, как ни в чем ни бывало, и мы беседуем, перебирая знакомых одного за другим, и выходит по моим сведениям, что всё это люди с точки зрения преданности советской власти отменнейшие. Похоже на разговор Чичикова с Маниловым. Вся трудность для меня заключается в том, что о каждом человеке надо сказать по-разному, но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-нибудь показался Ольге Давыдовне менее благонадежным, чем другие.

После небольшой паузы, глядя в огонь и рассеянно мешая кочергой уголья, Ольга Давыдовна полунебрежно, но в то же время не скрывая легкой досады, спрашивает:

– А вы, значит, по-прежнему заведуете московским отделением «Всемирной Литературы»?

– Да, – отвечаю я, но этот вопрос заставляет меня снова насторожиться.

Дело в том, что идея этого издательства принадлежала Максиму Горькому, который и стоял во главе его. В то же время мне было известно, что между семьями Горького и Каменева идет вражда. Когда в Москве учреждался Театральный отдел, на заведывание им претендовала жена Горького, М. Ф. Андреева, бывшая артистка Художественного театра. По разным причинам кандидатура Андреевой в Москве провалилась, и вместо всероссийского Театрального отдела ей дали в заведывание маленький петербургский отдел, а управлять всероссийским посадили г-жу Каменеву. Андреева, однако же, не сдавалась и, говорят, вела под Каменеву подкопы. Ольга Давыдовна всячески защищалась и, между прочим, на помощь призвала Мейерхольда. В начале 1919 года, будучи в Петербурге, я даже от нечего делать симпровизировал на эту тему целую былинку в народном духе. В квартире Горького она имела большой успех. Теперь я помню из нее лишь несколько строк:

Как восплачется свет-княгинюшка:  
Свет-княгинюшка, Ольга Давыдовна,  
«Уж ты гой еси Марахол Марахолович,  
Славный богатырь наш, скоморошина!  
Ты седлай своево коня борзого,  
Ты скачи ко мне на Москва-реку».  
Седлал Марахол коня борзого,  
Прискакал тогда на Москва-реку.  
А и брал он тую Андрееву  
За белы груди да за косыньки,  
Подымал выше лесу синего,  
Ударял ее о сыру землю... – и т. д.

Памятуя всё это, я предвидел, что вопросы мне будут заданы каверзные и решил держать ухо востро. Ольга Давыдовна, всё тем же небрежным тоном, как бы стараясь дать мне понять, что предмет разговора не особенно ее занимает, сказала:

– Говорят, Горький по уши ушел в свою «Всемирную Литературу», так что сам уже даже ничего и не пишет. Это верно?

– Не знаю, откуда у вас такие сведения, – отвечал я. – Мне, напротив, показалось, что он делами издательства интересуется даже меньше, чем можно было ожидать.

Это была правда. Кроме того, я думал, что лишаю Ольгу Давыдовну возможности злословить дальше. Поэтому я был очень доволен своим ответом, но радость моя была преждевременна. Оказалось, что тут-то я и попался. Ольга Давыдовна словно ждала моих слов – и тотчас же оживилась:

– А значит верно мне говорили, что «Всемирная Литература» устроена только для того, чтобы такие-то (она назвала мне фамилии, которые я здесь опускаю) могли мошенничать за счет государства? Ну, разумеется! Я просто не понимаю, как можете вы работать в издательстве Горького. Это же гнездо мошенников, потому что он сам мошенник и покровитель мошенников!

К счастью моему, в эту самую минуту, не стучась, в комнату ввалились два красноармейца с винтовками. Снег сыпался с их шинелей, – на улице шла метель. У одного из них в руках был пакет.

– Товарищу Каменеву от товарища Ленина.

Ольга Давыдовна протянула руку.

Товарища Каменева нет дома. Дайте мне.

– Приказано в собственные руки. Нам наемдни попало за то, что вашему сынку отдали.

Ольга Давыдовна долго и раздраженно спорит, получает-таки пакет и относит его в соседнюю комнату. Красноармейцы уходят. Она снова садится перед камином и говорит:

– Экие чудаки! Конечно, они исполняют то, что им велено, но нашему Лютику можно доверить решительно всё, что угодно. Он был совсем еще маленьким, когда его царские жандармы допрашивали – и то ничего не добились. Знаете, он у нас иногда присутствует на самых важных совещаниях, и приходится только удивляться, до какой степени он знает людей! Иногда сидит, слушает молча, а потом, когда все уйдут, вдруг возьмет да и скажет: «Папочка, мамочка, вы не верьте товарищу такому-то.

Это он всё только притворяется и вам льстит, а я знаю, что в душе он буржуй и предатель рабочего класса». Сперва мы, разумеется, не обращали внимания на его слова, но когда раза два выяснилось, что он был прав относительно старых, как будто самых испытанных коммунистов, – признаться, мы стали к нему прислушиваться. И теперь обо всех, с кем приходится иметь дело, мы спрашиваем мнение Лютика.

«Вот тебе на! – думаю я. – Значит, работает человек в партии много лет, сидит в тюрьмах, может быть – отбывает каторгу, может быть – рискует жизнью, а потом, когда партия приходит, наконец, к власти – проницательный мальчишка чуть ли не озаренный свыше, этакий домашний оракул, объявляет его “предателем рабочего класса” – и мальчишке этому верят».

Тем временем, Ольга Давыдовна тараторит:

– А какой самостоятельный – вы и представить себе не можете! В прошлом году пристал, чтобы мы его отпустили на Волгу с товарищем Раскольниковым. Мы не хотели пускать – опасно, всё-таки – но он настоял на своем. Я потом говорю товарищу Раскольникову: «Он наверное вам мешал? И не рады были, что взяли?» А товарищ Раскольников отвечает: «Что вы! Да он у вас молодчина! Приехали мы с ним в Нижний. Там всякого народа ждет меня по делам – видимо-невидимо. А он взял револьвер, стал у моих дверей никого не пустил!» Вернулся наш Лютик совсем другим: возмужал, окреп, вырос... Товарищ Раскольников тогда командовал флотом. И представьте – он нашего Лютика там, на Волге, одел по-матросски: матросская куртка, матросская шапочка, фуфайка такая, знаете, полосатая. Даже башмаки – как матросы носят. Ну – настоящий маленький матросик!

Слушать ее мне противно и жутковато. Ведь так же точно, таким же матросиком, недавно бегал еще один мальчик, сыну ее примерно ровесник: наследник, убитый большевиками, ребенок, кровь которого на руках вот у этих счастливых родителей!

А Ольга Давыдовна не унимается:

– Мне даже вспомнилось: ведь и раньше бывало детей одевали в солдатскую форму или в матросскую...

Вдруг она умолкает, пристально и как бы с удивлением глядит на меня и я чувствую, что моя мысль ей передалась. Но она надеется, что это еще только ее мысль, что я не вспомнил еще о наследнике. Она хочет что-нибудь поскорее добавить, чтобы не дать мне времени о нем вспомнить, — и топит себя еще глубже.

— То есть я хочу сказать, — бормочет она, — что, может быть, нашему Лютику в самом деле суждено стать моряком. Ведь вот и раньше бывало, что с детства записывали во флот...

Я смотрю на нее. Я вижу, что она знает мои мысли. Она хочет как-нибудь оборвать разговор, но ей дьявольски не везет, от волнения она начинает выбалтывать как раз то самое, что хотела бы скрыть, и в полном замешательстве она срывается окончательно:

— Только бы он был жив и здоров!

Я нарочно молчу, чтобы заставить ее глубже почувствовать происшедшее.

Пауза. Потом она встает, поправляет волосы и говорит естественным голосом, как на сцене:

— Что же это Лев Борисович не приходит? Мы бы все вместе выпили чаю.

Но я встаю и прощаюсь. Опять часовой, мост, башня-Кутафья. За башнею — тьма: Воздвиженка, Арбат, Плющиха. Иду, натываясь на снеговые сугробы, еле волоча ноги, задыхаясь и обливаясь потом от слабости.

Две недели спустя я слег — на три месяца, но начавшаяся болезнь мучила меня с перерывами восемь лет.

В Белом коридоре я больше никогда не был — Бог миловал.

*1937 г.*

## *Здравница*

*Из московских воспоминаний*

Было мне лет пятнадцать, когда старший брат (он был на много старше меня) однажды положил передо мною книгу в зеленой обложке и сказал:

– На-ка, прочти. В наше время было запрещено.

Некрасивыми буквами на обложке стояло: «Н. Г. Чернышевский. Что делать?».

В гимназии в это время читал я Гомера, Овидия, Тита Ливия, Слово о Полку Игореве. Дома зачитывался Шекспиром, декламировал монологи Ричарда III и знал наизусть «Гамлета» в переводе Полевого. В кругу таких чтений Чернышевский сразу показался мне каким-то провинциалом. Мысленно я вводил Ричарда или Кориолана в круг персонажей «Что делать?» – и мне представлялся образ орла в курятнике. После прозы Ливия или Слова о Полку доморощенная проза Чернышевского была жалка. Прочитав страниц восемь-десять, я вернул книгу брату. В тот день я узнал, что в мировой литературе существует свое захолустье.

Впоследствии я научился снисходительнее соразмерять свои требования, но «Что делать?» ни разу не мог дочитать до конца. Роман остался в моем сознании образцом литературно-общественного плюсквамперфектума. И уж никак я не ожидал, что почти через двадцать лет после первого знакомства с «Что делать?» доведется мне лично встретиться с его героиней – да еще жить с ней под одной кровлей.

\* \* \*

Марья Александровна Сеченова, вдова знаменитого ученого, увековеченная в «Что делать?» под именем Верочки, Веры Павловны Лопухиной, всего лишь на днях скончалась в Москве, в убежище для престарелых деятелей медицинской науки.

Летом 1920 года я прожил в этом убежище около трех месяцев. В то время оно еще называлось «здравницей для переутом-

ленных работников умственного труда». Впрочем, уже тогда здравницу предполагалось обратить в постоянное убежище для медиков.

В здравницу устроил меня Гершензон, который тогда сам отдыхал в ней, так же, как Вячеслав Иванов. Находилась она между Плющихой и Смоленским рынком, в 3-м Неопалимовском переулке, в белом двухэтажном доме. Внизу помещалась обширная столовая, библиотека, кабинет врача, кухня и службы. Вверху жили пансионеры. Было очень чисто, светло, уютно. Среди тогдашней Москвы здравница была райским оазисом.

Мне посчастливилось: отвели отдельную комнату. Гершензон с Вячеславом Ивановым жили вместе. В их комнате, влево от двери, стояла кровать Гершензона, рядом – небольшой столик. В противоположном углу (по диагонали), возле окна, находились кровать и стол Вячеслава Иванова. В углу вечно мятежного Гершензона царил опрятный порядок: чисто постланная постель, немногие, тщательно разложенные вещи на столике. У эллина Вячеслава Иванова – всё всклокочено, груды книг, бумаг и окурков под слоем пепла и пыли; под книгами – шляпа, на книгах – распоротый пакет табаку.

Из этих-то «двух углов» и происходила тогда известная «Переписка». Впрочем, к моему появлению, она уже заканчивалась. Гершензон вскоре и вовсе покинул свой угол, а несколько позже и Вячеслав Иванов.

В первый же день, за несколько минут до обеда, Гершензон повел меня в столовую и показал прикнопленную к стене картину. То была целая хартия, аршина в три шириной, вышиной вершков в десять. Вдоль хартии протекала синяя акварельная река. Розовые голые человечки, в неизъяснимом количестве, теснясь и толкаясь, местами погуще, местами пореже валялись и лезли в воду. Иные уже в ней барахтались – особенно старики и младенцы. По берегу стояли столбы с цифрами: 1–4, 5–15, 81–90 и т. п. Гершензон пояснил, что сия «река времен» принадлежит кисти профессора Г., гинеколога, который сейчас появится. Изображает картина сравнительную смертность в различных возрастах – потому и цифры на столбах. Река же есть смерть. А

показал мне Гершензон картину затем, чтобы я чего-нибудь не «брякнул» при авторе. Я поклялся не брякать. Автор явился, волоча правую ногу и раз навсегда подняв левую бровь. Он был высок, бородат, сед, худ, важен.

Он сел на председательское место и отнесся ко мне неодобрительно: поэтов не уважал. Но через несколько дней мы сдружились. Дело в том, что профессор был автором двухтомной и предпочтенной «Оперативной гинекологии», а я как раз за год до того эту книжищу вынужден был проштудировать для одной предполагавшейся работы (которую до конца не довел). Узнав об этом, профессор весьма удивился, приятно осклабился и признал за мной право на существование. С тех пор мы частенько беседовали о прорезывании головки, о повороте на ножку и на прочие тому подобные темы.

Был профессор суров, прям, не оставлял иллюзий, называл вещи своими именами и говорил со словоерсами. Если кто-нибудь за столом замечал, что утка с душком, он тотчас откликнулся:

– Не беда-с, хорошо, что дают хоть тухлую-с. Дичь, будучи изжарена в начале процесса разложения, может быть употребляема в пищу без опасений.

Здравницу он откровенно называл богадельней, от чего многих коробило. Если кто был печален, он утешал:

– Богадельня – это вам не свадебное путешествие-с. Отсюда дорога – на кладбище-с.

Зато великий оптимист был наш врач, мужчина бодрый, веселый, в соку и в расцвете лет. За отсутствием медикаментов, лечил он термометром и взвешиванием. Чтобы не расстраиваться, он, подобно алхимикам, подбрасывавшим в составы своего настоящего золота, любил взвешивать пациентов один раз «после стула», а в следующий – тотчас после обеда. И результатами утешался, записывая их в книгу.

\* \* \*

Население здравницы было текуче. За отсутствием гостиницы, служила она иногда пристанищем для ученых, приезжав-

ших в Москву по делам. Так, останавливался в ней Н. Н. Фирсов, казанский профессор, специалист по пугачевщине, тот самый, который в Академическом издании «Истории Пугачевского бунта», как дважды два доказал, что девяносто лет тому назад Пушкину неизвестны были нынешние методы исторического исследования... Приезжали и другие.

Из числа постоянных обитателей, кроме Г., вспоминается мне г-жа Б., одна из старейших женщин-врачей, горбатая, с тонким и грустным еврейским лицом, умная, добрая. Ей посчастливилось уехать в Ригу, к сыну, и все за нее радовались. Ее место заняла Л. И. Аксельрод-Ортодокс, привезенная из Тамбова, по приказанию Ленина, но безжалостно им забытая в здравнице. Бедная Л. И. всё томилась: призовут ее в Кремль или не призовут? Наконец, призвали и поручили читать какие-то лекции. Кроме нее, были еще две политические дамы, но уже вышедшие в тираж, совсем дряхлые. Обе по столько-то лет отсидели в тюрьмах, а ныне кончали век в «богадельне». Одна была маленькая и толстая, другая – высокая, тощая, стриженная, с неприятным подергиванием лица и к тому же гундосая. Как повелось еще в древности и как в свое время заметил Брейгель, толстая ненавидела тощую, а тощая – толстую. Они жили в одной комнате. Нападала толстая, потому что от тощей будто бы нестерпимо пахло какими-то мазями, которые та запускала в нос свой. А главное потому, что тощая по ночам храпела чрезмерно и на все лады, даже до присвиста. Они помирились на том, что тощая разрешила к большому пальцу правой ноги своей привязать веревочку, другой конец которой был привязан к кровати толстой. Просыпаясь от храпа тощей, толстая дергала за веревочку, тощая просыпалась и на время храп обрывался. Таким образом, партийная связь двух дам была как бы закреплена вещественным образом.

Профессор М., специалист по судебной медицине, жил поблизости у себя дома, а в здравницу приходил только обедать и ужинать. На своем веку вскрыл он какое-то невероятное количество трупов. Говорят, во время войны старший сын его был на фронте и писал отцу письма. Внезапно однажды ночью

профессор разбудил домашних и объявил, что сын только что убит. Никакие уговоры не подействовали. На утро М. купил гроб и поехал в ту часть, где служил его сын. Приехав, узнал, что прапорщик М. действительно был убит в ту самую ночь, когда отец видел сон. Похоронив сына, М. вернулся в Москву и с тех пор обратился к религии.

Жизнь его протекала между церковью и анатомическим театром. В обхождении был он мягок, доброжелателен и всё как-то странно задумывался, поглаживая бороду или потирая ладонью лоб.

Странные разговоры водили все эти люди, сходясь за обедом или ужином. Каждый громко говорил о своем, никого не слушая и ни к кому не обращаясь. Особенно языки развязывались за десертом.

– Вот скоро от вас уеду, – говорила г-жа Б. – в Ригу поеду, к сыну...

– Вы представьте себе, – бормотал М. – пять лет страдал человек головными болями, вчера помер. Я его нынче вскрыл и в правом мозговом полушарии нашел глисту. Вот история!

– В семидесятых годах, – говорил Г. – гинекологическая клиника была на Рождественке. Диваны были клеенчатые. А знаете вы, чем пахло? – внезапно покрикивал он, обращаясь ко мне. – Чем пахло?

Я решительно не знал, чем пахло пятьдесят лет тому назад в гинекологической клинике.

– А первородным калом-с! Вот чем-с!

Маркс... Маркс... Маркс... Энгельс... Плеханов... Богданов... Ленин... – как телеграф, выстукивала г-жа Ортодокс. – Каутский... Мартов... Ленин... Маркс... Маркс...

Мария Александровна Сеченова за столом молчала. Была она маленькая, сухонькая старушка, очень моложавая. Никак я не думал, что было ей уже восемьдесят пять лет. Одевалась чрезвычайно опрятно, даже не без щегольства. Чуть ли не ежедневно являлась в чистой английской кофточке с удачно подобранным галстучком.

Странное обстоятельство нас довольно часто соединяло. В здравнице жила молодая дама, приезжая из Крыма женщина-врач. Старушки ее любили и называли Белочкой. Ничем она не выделялась, кроме того, что была моложе других. Мы с ней довольно часто беседовали. И вот Сеченовой пришло в голову, что разговоры наши весьма опасны для Белочки. В воображении Сеченовой развертывался роман, в котором я играл роль коварного соблазнителя, а тридцатилетняя Белочка – роль невинной жертвы. Чтобы не допустить Белочку до «непоправимого шага», «после которого всё уже будет напрасно», Сеченова старалась не оставлять нас одних.

Я сначала был этим доволен, потому что незамысловатые беседы веселее вести втроем, чем вдвоем. Кроме того, я надеялся что-нибудь выведать у старушки о временах прошедших. Надежды не оправдались. Сеченова была незанимательна. Ни разу не рассказала ничего любопытного. Сидела накрахмаленная, сухая, с чисто вымытыми морщинками маленьких рук, и почти ничего не говорила. На лице ее не было написано ничего, кроме мужественного упорства, с которым человек должен переносить скуку жизни.

Лето было жаркое, и мы с Белочкой иногда ходили подышать воздухом на Девичье поле. Сеченова ходила с нами. Сиделись мы на скамеечку, в сквере. Голодные, ободранные ребятишки из советских приютов, под управлением голодной барышни, водили бесконечные хороводы:

Как для Ванюшки-Ванюши  
Испекла я каравай.  
Вот такой вышины,  
Вот такой низины...  
Каравай, каравай,  
Кого хочешь выбирай.

Однажды зашла речь о человеке, который недавно отравился цианистым калием. Сеченова спросила:

- Он сразу действует?
- Сразу.

Потом говорила о чём-то еще. И вдруг – Мария Александровна:

– А его очень трудно достать?

Пошли к дому. Дети всё пели песню свою с единственным вариантом:

Как для Ванюшки-Ванюши  
Испекла я каравай.  
Вот такой ширины,  
Вот такой узины...  
Каравай, каравай,  
Кого хочешь выбирай.

\* \* \*

Осенью Белочка уехала. Я прочитал всю библиотеку здравницы: «Исторический Вестник» за три года и полное собрание сочинений Дениса Давыдова. Люди сменялись. Поселился Юлий Алексеевич Бунин (старший брат И. А.), человек всей Москве знакомый и всю Москву любимый. Был он не столько болен, сколько угнетен. Знали мы давно друг друга, но только тут как-то вдруг сжились. Несмотря на разницу лет, взглядов, вкусов, здесь, в здравнице, мы оказались самыми близкими людьми, он – мне, я – (смею думать) ему. Вот и коротали вместе и дни, и вечера. Говорили об общих знакомых, вспоминали Литературно-художественный кружок, который сам по себе, без Юлия Алексеевича, не вспоминается. Если мне удалось в те дни несколько развлечь тоску этого бесконечно доброго и благородного человека – я за то благодарен судьбе.

Поздней осенью я покинул здравницу, а потом затеял перебраться в Петербург. 16 ноября, накануне отъезда, что-то вдруг потянуло меня в здравницу, еще раз проститься с Буниным. Я совершенно уверен был, что более его не увижу. Я прибежал в здравницу в десятом часу вечера. Юлий Алексеевич лежал на кровати, одетый, под одеялом. Мы немного поговорили и обнялись на прощанье. Через несколько месяцев его не стало.

Уходя, в коридоре, я встретил Сеченову. Она куда-то спешила, семеня мелкими шажками. Вот теперь умерла и она. Представляю себе, как из белого дома в 3-м Неопалимовском переулке выносили ее маленький гробик. Она завещала похоронить себя без церковного обряда: до девяноста четырех лет осталась верна идеям юности.

О прочих обитателях здравницы я ничего не знаю.

*1929 г.*

## *О торговле*

Перед, так называемыми интеллигентными профессиями, особенно перед всякими художествами, торговля имеет то неоспоримое и высокое преимущество, что на сем скромном поприще люди и вещи называются настоящими своими именами, а деяния имеют естественные последствия. Честный человек называется честным человеком, а мошенник мошенником, и если ему даже удастся ускользнуть от правосудия, то с ним, по крайности, избегают иметь дело. Вот почему всё более тянет меня к коммерции, и почему всё более радужными красками расцветиваются мои воспоминания о немногих случаях, когда доводилось мне заниматься торговлей.

Мне было лет шесть, мы жили на даче в Богородском, возле Сокольников. Там свел я дружбу с Алешей и Колей Щенковыми, детьми С. В. Щенкова, гласного московской городской думы. Отличные были мальчики, настоящие краснокожие, национально мыслящие могокане. Им подарили лоток с весами и гирьками. На лоток положили мы лопухов, изображавших капусту, какой-то пушистой травки, олицетворявшей укроп, еще чего-то – и превратились в разносчиков. Кухарки, няньки и матери должны были разыгрывать покупателяниц. Часа через два мы им совершенно осточертели. Тогда я (именно я, на этом настаиваю!) придумал дело более прочное и занятное. В складчину образовали мы оборотный капитал примерно копеек в сорок. Купили на пятак подсолнухов, плитку шоколада за пятак, десяток папирос за шесть копеек, несколько карамелек – и открыли торговлю в парке, на широкой аллее, ведущей к танцулке. Мы продавали каждую папиросу за три копейки, каждую карамельку за пятак, одну треть шоколадной плитки за пятак же – и так далее. День был воскресный. Гуляющая публика так и теснилась вокруг нас – приходилось то и дело бегать в лавочку за новым товаром. Словом, у нас было уже рублей семь денег к тому горестному моменту, когда стоустая молва о нашей фирме дошла до слуха родителей. Всё кончилось грубою реквизицией товара, конфискацией капитала и трехголо-

сым ревом. Видит Бог, мы ревели не оттого, что лишились денег. Не жадность нас окрыляла, но высокое спортивное чувство. Не мечта о богатстве, но сказочный рост самого предприятия – вот что восхищало нас, возбуждая любовь к труду, изобретательность, предприимчивость. Увы, современники нас не оценили...

Четверть века спустя, в 1918 году, довелось мне вновь стать за прилавок – в московской Книжной Лавке Писателей. Подробно о ней рассказывать не буду, потому, что на сей счет существует уже целая литература, страдающая, на мой взгляд, сильными преувеличениями в сторону «идейности». Судя по тому, что писалось о Книжной Лавке, можно подумать, будто это было какое-то необыкновенно возвышенное предприятие, ставившее себе единственно культурные цели, – чуть ли не луч света в темном царстве военного коммунизма. Не отрицаю, что кое-какую культурную роль лавка сыграла, но, разумеется, ее сознание определялось бытием, а не наоборот, то есть попросту говоря, возникла она потому, что писателям нужно было жить, а писать стало негде.

После этого торговал я еще два раза, но уже торговля моя носила характер эпизодический. В первый раз дело было так. В ноябре 1920 г., собираясь переселиться в Петербург, я обнаружил, что валенки у меня есть, а сапог нет, и что, следовательно, весной в Петербурге наступит кризис. Не надеясь на легкое разрешение его, постановил я обзавестись башмаками заблаговременно и с этой целью отправился к Луначарскому. Наркомпрос находился тогда в здании Лицея, у Крымского моста. В ту пору была война, и вся Москва покрыта была плакатами с надписью: «Не сдадимся, выдержим, победим». Такой плакат красовался и над дверью в кабинет Луначарского, отличаясь от прочих тем, что на нем слово «сдадимся» было написано через «з»: «не *здадимся*». Луначарский принял меня как нельзя более любезно и тотчас продиктовал машинистке записку, куда следовало, о том, что он просит оказать мне содействие в приобретении башмаков. В благодарность я вывел Луначарского из кабинета и обратил его внимание на плакат, который над дверью в кабинет

министра народного просвещения имел вид уж очень компрометантный. Луначарский всполошился, созвал секретарш и приказал плакат переделать, либо убрать. Мы простились.

На другой день я отправился на Мясницкую, в учреждение, ведавшее распределением обуви. Путешествовать туда с Девичьего Поля, где я жил, было нелегко. Доплелся я до места измученный вдребезги – и узнал, что на моей записке недостает какой-то печати или еще чего-то. Пришлось опять идти к Луначарскому, опять часа два дежурить в его приемной – и опять часа два любоваться на тот же плакат, который остался совершенно таким же, как был прежде, только висел теперь не над дверью, а рядом с ней. Луначарский велел написать мне новую записку и я ушел, на сей раз уже ничего не сказав о плакате.

При втором посещении сапожного центра я там выстоял в двух очередях часа по три в каждой. Зато добился важного результата: узнал, что фактически обувь имеется только в «распределителе № 1», куда и необходимо получить ордер, ибо, если я получу ордер на «любой распределитель», то буду безрезультатно ходить по городу до скончания века. Уж не помню, какими чудесами и происками, но получил я ордер именно в этот заветный «распределитель № 1». Одновременно со мной такой же ордер получил человек замечательного и неожиданно вида: это был старик огромного роста, лысый, без шапки, с высоченным посохом, с иконою на груди и – в веригах, которые на нем гремели при всяком движении. Таких классических странников немного случалось мне видеть и в прежние времена. Каким образом он уцелел и через кого получил свой ордер – не представляю себе.

Мы вместе вышли на улицу и вместе отправились в распределитель, который был не что иное, как бывший «Английский магазин» Шанкса на Кузнецком мосту – самый фешенебельный из московских магазинов. Теперь в нем была ледяная пустыня. В витринах ничего не было. В какой-то дальней комнате мы нашли несколько обувных коробок и скучающего приказчика, который со старорежимной вежливостью преклонил пред нами колени. Я снял свои валенки; странник, скинув лапти, принялся

разматывать онучи. Выбор был не велик: кроме лакированных полуботинок американской фирмы «Вера», ничего не оставалось. Размеров было лишь два – самый большой и самый маленький. Старик взял большой и ушел, стуча по паркету посохом и лакированными туфлями. Я взял маленькие. Они мне жали, но я про себя уже решил в Петербурге обменять их.

В последний год его жизни случилось Пушкину, выйдя из дому, повернуть налево, пройти по набережной Мойки до Полицейского моста и повернуть налево еще раз, по Невскому. Тут же, в угловом доме с колоннами, принадлежавшем Голландской церкви, находился книжный магазин Фердинанда Беллизара. Впоследствии принадлежал он фирме Мелье, под именем которой (перейдя уже, впрочем, к третьему владельцу, С. Н. Трофимову) просуществовал до 1918 г. В 1920 г. дом был необитаем. У подъезда его день и ночь толклись папиросники – мальчишки и девчонки, наперебой кричавшие: «А вот, а вот харьковская махорка! А вот, а вот «Ира»! А вот, а вот старая толстая «Сафо»!» (Говорят, одна пожилая писательница, проходя мимо, была очень обижена, приняв последнее восклицание на свой счет).

После налетчиков, папиросники были самыми богатыми людьми того времени. В московском цирке ежевечерне заполняли они все ложи и первый ряд. Клоуны Бим и Бом, выходя на арену, отвешивали им поклон: «Именитому московскому купечеству – наше нижайшее!» В Петербурге был у них ночной клуб на Михайловской площади – с ликерами и шампанским. Я жил у Полицейского моста – как раз по диагонали от магазина Мелье. С папиросниками у меня были отличные отношения. Я предложил им туфли, но покупателя не нашел. Мне дали, однако ж, дельный совет: поискать «шкета», то есть малолетнего сутенера. С этой категорией граждан папиросники были тесно связаны: почти все девочки-папиросницы занимались и проституцией. Я отправился на рынок, и действительно, через каких-нибудь четверть часа туфли были мной проданы парню с неслыханно великолепным коком, выбивавшимся из-под

касметки, и в таких широченных «клепах», что издали можно было принять их за юбку.

В последний раз торговал я весной 1922 года.

Раз в неделю я брал холщевый мешок и отправлялся на Миллионную, в Дом Ученых, за писательским пайком. Получающие паек были разбиты на шесть групп – по числу присутственных дней. Мой день был среда. Пайек выдавался в подвале, к которому шел длинный коридор; по коридору выстраивалась очередь, представлявшая собой как бы клуб. Здесь обсуждались академические и писательские дела, назначались свидания. К числу «средников» принадлежали, между прочим, Ю. Н. Тынянов, Б. В. Томашевский, Виктор Шкловский, а из поэтов – Гумилев и Владимир Пяст. Случалось, что какой-нибудь пайковой статьи (чаще всего – масла и сахару) не выдавали по нескольку недель, возмещая ее чем-нибудь другим (увы, подчас, – просто лавровым листом и корицей). Однажды, сильно задолжав перед получателями пайков, Дом Ученых выдал нам сразу по полпуда селедочек. Предстояла, следовательно, задача продать селедки и на вырученные деньги купить масла. Дня через два я отправился на Обводный канал. Рынок шумел. Я выбрал место, поставил на землю мешок, приоткрыв его, чтобы виден был мой товар, и стал ждать покупателей. Конечно, надо было бы кричать: «А вот, а вот свежие голландские сельди! А вот они, сельди где!» – или что-нибудь в этом роде. Но я чувствовал, что из этого у меня ничего не выйдет. Меж тем, отсутствие рекламы, сего двигателя торговли, давало себя знать. Люди шли мимо, не останавливаясь. Глядя по сторонам довольно уныло, шагах в двадцати от себя я увидел высокую, стройную женщину, так же молча стоявшую перед таким же мешком. Это была Анна Андреевна Ахматова. Я уже собирался предложить ей торговать вместе, чтобы не скучно было, но тут подошел покупатель, за ним другой, третий – и я расторгнулся. Селедки мои оказались первоклассными. Чтобы не прикасаться к ним, я предлагал покупателям собственноручно их брать из мешка. Потом руками, с которых стекала какая-то гнусная жидкость, пропитавшая и весь мешок мой, они отсчитывали деньги,

которые я с отвращением клал в карман. Несмотря на высокое качество моих селедок, некоторые покупатели (особенно – женщины) капризничали. Еще со времен Книжной Лавки Писателей я усвоил себе золотое правило торговли, применяемое и в парижских больших магазинах: «Покупатель всегда прав». Поэтому я не спорил, а предлагал недовольным тут же возвращать товар или обменивать, причем заметил, что только что забракованное одним, приходилось как раз по душе другому. Впрочем, должен отметить и другое мое наблюдение: покупатели селедок несравненно сознательней и толковее, нежели покупатели книг.

Распродав всё и купив масло, я уже не нашел Ахматовой на прежнем месте и пошел домой. День был веселый, солнце уже пригревало, я очень устал, но душа радовалась. Впереди меня шла нарумяненная проститутка, в блестящих туфельках, с папирсой в зубах. На ходу она крепко, ритмически раскачивала тугими бедрами, причем правым как-то особенно поддавала с некоторой задержкой, так что в общем походка ее слагалась в ритмическую фигуру, образуемую анапестом правого бедра и ямбом левого. Идя за нею, невольно в лад сочинил я стихи – как бы от ее имени:

Ходит пес  
Барбос,  
Его нос  
Курнос,  
Мне вчерась  
Матрос,  
Папирос  
Принес.

Так долго мы шли, пока, на каком-то перекрестке, не разошлись пути наши.

*1937 г.*

## «Дом искусств» («Диск»)

### I

В 1920–1922 годах общество «Старый Петербург» (впрочем, его официальное название было, кажется, не совсем таково) переживало эпоху расцвета, который поистине можно было назвать вдохновенным. Причин тому было несколько. Одна из них, простейшая и так сказать материальная, заключалась в том, что коллекции общества внезапно и резко стали пополняться: в них поступило большое количество предметов из частных собраний и архивов. Однако, мне кажется, что еще большую роль тут сыграли обстоятельства более отвлеченного характера. Во-первых, по мере того, как жизнь уходила вперед, всё острее, всё пронзительней ощущалась членами общества близкая, и неминуемая разлука с прошлым – отсюда возникало желание как можно тщательнее сберечь о нем память. Во-вторых (и это может показаться вполне неожиданным для тех, кто не жил тогда в Петербурге), именно в эту пору сам Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть и никогда. Люди, работавшие в «Старом Петербурге», отнюдь не принадлежали к числу большевиков. Некоторые из его руководителей впоследствии были расстреляны – достаточно назвать хотя бы П. П. Вейнера. Но, как и все другие, обладавшие чувством, умом, пониманием, они не могли не видеть, до какой степени Петербургу оказалось к лицу несчастье.

Москва, лишенная торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалка. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками, с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы. Петербург обезлюдел (к тому времени в нем насчитывалось лишь около семисот тысяч жителей), по улицам перестали ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта, либо гудел автомобиль, – и оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрел ничего

нового, – но он утратил всё то, что было ему не к лицу. Есть люди, которые в гробу хорошеют: так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом.

Эта красота – временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании ее есть невыразимое, щемящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинало касаться и Петербурга: там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломилась рука у статуи. Но и этот еле обозначающийся распад еще был прекрасен, и трава, кое-где пробивавшаяся сквозь трещины тротуаров, еще не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плющ украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной. По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей.

В этом великолепном, но странном городе жизнь протекала своеобразно. В смысле административном Петербург стал провинцией. Торговля в нем прекратилась, как всюду. Заводы и фабрики почти не работали, воздух был ясен и пахло морем. Чиновный, торговый, фабричный люд отчасти разъехался, отчасти просто стал менее виден, слышен. Зато жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступила наружу с небывалой отчетливостью. Большевики уже пытались овладеть ею, но еще не умели этого сделать, и она доживала последние дни свободы в подлинном творческом подъеме. Голод и холод не снижали этого подъема, – может быть, даже его поддерживали. Прав был поэт, писавший в те дни:

И мне от голода легко,  
И весело от вдохновенья.

Быть может, ничего особенно выдающегося тогда не было создано, но самый пульс литературной жизни был приметно повышен. Надо прибавить к этому, что и общество, у которого революция отняла немало обывательских навыков и пред которым поставила ряд серьезных вопросов, относилось к литературе с особым, подчеркнутым вниманием. Доклады, лекции,

диспуты, вечера прозы и стихов вызывали огромное стечение публики. Между тем, культурная жизнь Петербурга сосредоточивалась вокруг трех центров: «Дома Ученых», «Дома Литераторов» и «Дома Искусств», которые для нее служили прибежищами не только в отвлеченном, но и в самом житейском смысле, потому что при каждом из них были общежития, где разместились многие люди, сдвинутые революцией с насиженных мест. Каждый из трех «Домов» имел свой особый уклад и быт. Я расскажу о том, который мне был знаком особенно близко и непосредственно – о «Доме Искусств», или о «Диске», как иногда его называли. Рассказ мой коснется, однако, лишь внешних черт его жизни: для изображения внутренних, очень своеобразных, нужна бы иная, вероятно – беллетристическая форма.

Помещался «Диск» в том тёмно-красном доме у Полицейского (в старину – Зеленого) моста, что выходит тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую. До середины XVIII столетия на этом месте находился деревянный Зимний Дворец. Отсюда Екатерина двинулась со своими войсками в Ораниенбаум – свергать Петра III. Дом этот огромный, состоящий из нескольких домов, строенных и перестроенных, вероятно, в разные эпохи. Перед революцией в нем помещался «Английский магазин», а весь бельэтаж со стороны Невского занимал банк, название которого я не упомяну, хоть это неблагородно с моей стороны (почему – будет сказано ниже).

Под «Диск» были отданы три помещения: два из них некогда были заняты меблированными комнатами (в одно – ход с Морской, со двора, в другое – с Мойки); третье составляло квартиру домовладельца, известного гастрономического торговца Елисева. Квартира была огромная, раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр «Диска». Здесь был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам – концерты. К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуей работы Родэна, к которому хозяин питал пристрастие – этих Родэнов у

него было несколько. Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний; в ней же Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам своих студий – переводческой и стихотворной. После лекций молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем холле – Гумилев в этой возне принимал деятельное участие. Однажды случайно я очутился там в самый разгар веселья. «Куча-мала!» – на полу барахталось с полтора десятка тел, уже в шубах, валенках и ушастых шапках. Фрида Н., маленькая поэтесса, показала мне пальцем:

– А эта вот – наша новенькая студистка, моя подруга.

– А как фамилия?

– Б-ва.

– Да которая же? Тут и не разберешь.

– А вот она, вот, в зеленой шубке. Вот, видите, нога в желтом ботинке? Это ее нога.

К гостиной примыкала столовая, отделанная дубовой резьбой, с витражами и камином – как полагается. Обеды в ней были дорогие и скверные. Кто не готовил сам, предпочитал ходить в столовую «Дома Литераторов». Однако, и здесь часов с двух до пяти было оживленно: сходились сюда со всего Петербурга ради свиданий – деловых, дружеских и любовных. Тут подавались пирожные – роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них всё, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак – весь состав своего пайка, за исключением сахара, сахар он оставлял себе.

Пройдя из столовой несколько вглубь, мимо буфетной, и свернув направо, попадали в ту часть «Диска», куда посторонним вход был воспрещен: в коридор, по обеим сторонам которого шли комнаты, занятые старшими обитателями общежития. Здесь жил кн. С. Ухтомский, один из хранителей Музея Александра III, немного угрюмый с виду, но обаятельный человек, впоследствии арестованный и расстрелянный вместе с Гумилевым; жил пушистый седой старик Липгардт, говоривший всегда по-французски, историк искусства, известный великой щедростью по части выдачи «сертификатов» на старинные картины. Ходил анекдот о том, как некто, владелец какого-то очередного

шедевра, просил Липгардта удостоверить, что картина принадлежит кисти Греко. «Ну, зачем Греко? – будто бы сказал Липгардт, – это же дутая величина! Уж давайте, я вам напишу, что это Тициан!»

Из своей комнаты в кухню и обратно то и дело с кастрюлькой шмыгала маленькая старушка – М. А. Врубель, сестра художника. Соседкой ее была Е. П. Леткова-Султанова, свояченица К. Е. Маковского, в молодости знавшая Тургенева, Достоевского, сама писавшая в «Русском Богатстве», Жил еще в том же коридоре Аким Вольтинский, изнемогавший в непосильной борьбе с отоплением. Центральное отопление не действовало, а топить индивидуальную буржуйку сырыми петросоветскими дровами (по большей части еловыми) он не умел. Погибал от стужи. Иногда целыми днями лежал у себя на кровати в шубе, в огромных калошах и в меховой шапке, которой прикрывал стынувшую лысину. Над ним по стенам и по потолку, в зорях и облаках, вились, задирая ножки, упитанные амуры со стрелами и гирляндами – эта комната была некогда спальней г-жи Елисейевой. По вечерам, не выдержав, убегал он на кухню, вести нескончаемые беседы с сожителями, а то и просто с Ефимом, бывшим слугой Елисейевых, умным и добрым человеком. Беседы, однако же, прерывались долгими паузами, и тогда в кухне слышалось только глухое, частое топотание копыт; это ходил по кафельному полу поросенок – воспитанник Ефима.

Коридор упирался в дверь, за которой была комната Михаила Слонимского – единственного молодого обитателя этой части «Диска». Здесь была постоянная толчея. В редкий день не побывали здесь – Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Константин Федин, Николай Никитин, безвременно погибший Лев Лунц и семнадцатилетний поклонник Т. А. Гофмана – начинающий беллетрист Венямин Каверин. Тут была колыбель «Серационовых братьев», только еще мечтавших выпустить первый свой альманах. Тут происходили порою закрытые чтения, на которые в крошечную комнату набивалось человек по двадцать народу: сидели на стульях, на маленьком диване, человек шесть – на кровати хозяина, прочие – на полу. От курева нельзя

было продохнуть. Сюда же в дни дисковских маскарадов и балов (их было два или три) укрывались влюбленные парочки. Богу одному ведомо, что они там делали, не смущаясь тем, что тут же, на трех стульях, не раздеваясь, спит Зощенко, которому большое сердце мешает ночью идти домой.

Комната Воынского потому еще была холодна в особенности, что она примыкала к библиотеке, которая ничем не отапливалась. Книги в ней были холодны, как железо на морозе. Однако, их было довольно много, и они были недурно подобраны, так что обитатели «Диска» порой могли наводить нужные справки, не выходя из дому.

Наконец, в том же коридоре помещалась ванная, излучавшая пользу и наслаждение, которые трудно оценить в достаточной мере. Записываться на ванну надо было у Ефима, и ждать очереди приходилось долго, но зато очутиться, наконец, в ней и смотреть, как вокруг, по изразцовой стене, над иссиня-черным морем с белыми гребнями носятся чайки – блаженства этого не опишешь!

Раз в неделю приходил парикмахер, раскидывавший свою палатку в той же ванной, и тогда тотчас образовывался маленький клуб из бреющихся, стригущихся и ожидающих очереди. Пришел парикмахер и в самый тот день, когда начался штурм Кронштадта. Георгий Иванов, окутанный белым покрывалом, предсказывал близкий конец большевиков. Я ему возражал. Прибежала молодая поэтесса Ирина Одоевцева, на тоненьких каблучках, с черным огромным бантом в красновато-золотых волосах. Повертелась, пострекотала, грассируя, – и убежала, пообещав подарить мне кольд-крему. Кольд-крема этого, впрочем, я и по сей день не дождался... О, люди!

## II

Пройдя через кухню и спустившись этажа на два по чугунной винтовой лестнице, можно было очутиться еще в одном коридоре, где день и ночь горела почерневшая электрическая лампочка. Правая стена коридора была глухая, а в левой имелось четыре двери. За каждой дверью – узкая комната в одно окно, находящееся на уровне тесного, мрачного колодеобразного двора. В комнатах стоял вечный мрак. Раскаленные буржуйки не в силах были бороться с полуподвальной сыростью, и в теплом, но спертom воздухе висел пар. Всё это напоминало те зимние помещения, которые в зоологических садах устраиваются для обезьян. Коридор так и звался «обезьянником». Первую комнату занимал Лев Лунц – вероятно, она-то отчасти и сгубила его здоровье. Его соседом был Грин, автор авантюрных повестей, мрачный, туберкулезный человек, ведший бесконечную и безнадежную тяжбу с заправилами «Диска», не водивший знакомства почти ни с кем, и, говорят, занимавшийся дрессировкой тараканов. Последнюю комнату занимал поэт Всеволод Рождественский, в ту пору – скромный ученик Гумилева.

Между Грином и Рождественским помещался Владимир Пяст, небольшой поэт, но умный и образованный человек, один из тех романтических неудачников, которых любил Блок. Пяст и был Блоку верным и благородным другом в течение многих лет. Главным несчастьем его жизни были припадки душевной болезни, время от времени заставлявшей помещать его в лечебницу. Где-то на Васильевском Острове жила его жена с двумя детьми. Весь свой паек и весь скудный заработок отдавал он семье, сам же вел существование вполне нищенское. Высокий, довольно плотный, с красивым, несколько «дантовским» профилем (высокий лоб, нос с горбинкой, слегка выдающийся подбородок), носил он шапку с наушниками и рыжий короткопольный тулуп, не доходивший ему до колен. Из-под тулупа видны были знаменитые серые клетчатые брюки, известные всему Петербургу под именем «пястов». На ногах – прикрученные

веревками остатки какой-то обуви, столь, однако же, гремевшей при ходьбе, что гроыхание пястовских шагов всегда слышно было за несколько комнат. Подобно Вольнскому, он не умел управляться со своею печуркой, а впрочем, кажется, нечем было и управляться, потому что он и дрова свои отдавал семье. Томимый морозом, голодом и тоской, до поздней ночи, а то и всю ночь, он бродил по «Дому искусств», порой останавливаясь, ломая руки и скрежеща зубами. Когда все укладывались, он отправлялся в концертный зал, гроыхал по нему так, что звенели подвески хрустальных канделябров, и голосом, отдававшимся в рояле, читал стихи, которые вскоре переходили в дикие, одному ему понятные импровизации. Кончилось тем, что зал стали запира́ть на ночь. Тогда разыгралась маленькая история, которую не следовало бы рассказывать, потому что она до крайности жалка, но которую я расскажу, потому что самая жалкость в ней покрывается безысходным человеческим страданием. Дело в том, что после концертного зала Пяст нашел себе прибежище в помещении, совершенно противоположном по размерам и назначению. Находилось оно в том коридоре, где жили дисковские «нотабли». В нем было тепло, но оно было рядом с комнатой Султановой и поблизости от комнаты Вольнского. Вой Пяста не давал спать всему коридору. Состоялся военный совет, на котором было постановлено «помещение» запира́ть, а ключ класть в условное место. В первую же ночь Пяст долго туда ломился, потом понял, в чём дело, и впал в подлинное отчаяние. С воплями он помчался по всему «Диску», по двору, выбежал на Морскую, пробежал по Невскому на угол Мойки и взлетев на третий этаж очутился там, где жил я. С хлопаньем дверей, с грохотом, остановился он в передней и, обливаясь слезами, ломая руки, закричал:

– Окаянные! Что они со мной сделали! Одно место у меня было, одно место осталось на всей земле – отняли, заперли! О, проклятые!

Та часть «Дома искусств», где я жил, была когда-то занята меблированными комнатами, вероятно, низкосортными. К счастью, владельцы успели вывезти из них всю свою рухлядь, и

помещение было обставлено за счет бесчисленных елисейских гостиных: банально, но импозантно, и уж во всяком случае чисто. Зато самые комнаты, за немногими исключениями, отличались странностью формы. Моя, например, представляла собою правильный полукруг. Соседняя комната, в которой жила художница Е. В. Щекотихина (впоследствии уехавшая за границу, здесь вышедшая замуж за И. Я. Билибина и вновь увезенная им в советскую Россию), была совершенно круглая, без единого угла, — окна ее выходили как раз на угол Невского и Мойки. Комната М. А. Лозинского, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глаголя, а соседнее с ней обиталище Осипа Манделштама представляло собою нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам, это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, леность с прилежностью, заставлявшей его буквально месяцами трудиться над одним неудающимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим — и т. д. Не любить его было невозможно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставлявшего друзей расхлебывать его бесчисленные неприятности. Свой паек, как я уже говорил, он тотчас же выменивал на сладости, которые поедал в одиночестве. Зато, в часы обеда и ужина появлялся то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание хозяев, вдруг объявлял:

— Ну, а теперь будем ужинать!

Соседями нашими были: художник Милашевский, обладавший классическими гусарскими штанами, не менее знаменитыми, чем «пясть», и столь же гусарским успехом у прекрасного пола; поэтесса Надежда Павлович, общая наша с Блоком приятельница, круглолицая, черненькая, непрестанно занятая своими туалетами, которые собственноручно кроила и шила — вкривь и вкось — одному Богу ведомо из каких материалов, а также О. Д. Форш, начавшая литературную деятельность уже в очень позднем возрасте, но с великим усердием, страстная

гурманка по части всевозможных идей, которые в ней непрестанно кипели, бурлили и пузырились, как пшеничная каша, которую варить она была мастерица. Идеи занимали в ее жизни то место, которое у других женщин занимают сплетни: напештававшись «о последнем» с Ивановым-Разумником, бежала она делиться философскими новостями к Эрбергу, от Эрберга – к Андрею Белому, от Андрея Белого – ко мне, и всё это совершенно без усталости. То ссорилась, то мирилась она теософов с православными, православных – с сектантами, сектантов – друг с другом. В особенности любила всякую религиозную экзотику. С упоением рассказывала об одном священнике, впоследствии примкнувшем к т. н. «живой церкви».

– Нет, вы подумайте, батька-то наш какое коленце выкинул! Отпел панихиду по Блоку, а потом вышел на амвон, да как грохнет:

Я послал тебе черную розу в бокале  
Золотого, как небо, ай!

Это с амвона-то! Вы подумайте! Ха-ха-ха, ну и прелесть!

Достоинством нашего коридора было то, что в нем не было центрального отопления: в комнатах стояли круглые железные печи доброго старого времени, державшие тепло по-настоящему, а не так, как буржуйки. Правда, растапливать их сырыми дровами было нелегко, но тут выручал нас банк. Время от времени, в его промерзшие залы устраивались экспедиции за картонными папками от регистраторов, которых там было какое-то неслыханное количество. Регистраторы эти служили чудесной растопкой, как и переплеты столь же бесчисленных копировальных книг. Папиросная же бумага, из которой эти книги состояли, шла на кручение папирос. Этой бумагой «Диск» снабжал весь интеллигентский Петербург. На нее же порой можно было выменять пакетик махорки у мальчишек и девчонок, торговавших на Невском. Один листок этой бумаги сохранился у меня по сей день.

С этими маленькими торговцами (предшественниками будущих беспризорников, которых я не застал и не видел) связано у меня одно воспоминание, не столь идиллическое. Как я уже говорил, во дворе елисейского дома некогда находились еще одни меблированные комнаты. Их помещение тоже принадлежало «Диску», но им почти не пользовались по той причине, что оно уже было кем-то разгромлено и загажено. По человеческой жестокости поселили там одну старую, тяжело больную хористку Мариинского театра. Она день и ночь лежала в своей конуре, под грудой тряпья, ожидая смерти. Ей по очереди носили еду. Весной 1921 г. приехал в Петербург из Казани поэт Тиняков, начавший литературную деятельность еще лет восемнадцать тому назад, но давно спившийся и загрязнивший себя многими непохвальными делами. Ходили слухи, что в Казани он работал в чрезвычайке. Как бы то ни было, появился он без гроша денег и без пайка. Голодал начисто. Не без труда удалось устроить его соседом к умирающей певице. Вскоре он сумел пустить корни (опять по сомнительной части), раздобылся деньжонками и стал пить. Девочки, торговавшие папиросами, почти все занимались проституцией. По ночам он водил их к себе. Его кровать тонкой перегородкой в одну доску, да и то со щелями, с которых сползли обои, отделялась от кровати, на которой спала старуха. Она стонала и охала, Тиняков же стучал кулаком в стену, крича:

– Заткнись, старая ведьма, мешаешь! Заткнись, тебе говорю, а то вот сейчас приду и тебя задушу...

Прежде чем закончить этот очерк, вернемся еще раз в елисейскую квартиру. Было в ней несколько комнат, расположенных в разных этажах и как бы выпадающих из основного плана. Так, из главного коридора шла деревянная винтовая лестница в верхний этаж. Поднявшись по ней и миновав нечто в роде маленькой гимнастическом зала, попадали в бывшую спальню домовладельцев, занятую Виктором Шкловским. Этажом ниже коридора, в просторной, но несколько мрачной комнате, отделанной темным дубом, жила бар. В. И. Иксуль, к которой не всем был доступ, но которая умела угостить посетителя и хоро-

шим чаем, и умной беседой – по большей части воспоминаниями о своей долгой и хорошо наполненной событиями жизни. Не раз я ее уговаривал записать или продиктовать хоть отрывки, но она только махала рукой и отмалчивалась с горьковатой улыбкой. В противоположном конце квартиры имелась русская баня с предбанником; при помощи ковров ее превратили в уютное обиталище Гумилева. По соседству находилась большая, холодная комната Мариэтты Шагинян, к которой почему-то зачастил старый, седобородый марксист Лев Дейч. Мариэтта была глуха. С Дейчем сживали они, тесно сдвинув два стула и накрывшись одним красным байковым одеялом. «Я его учу символизму, а он меня – марксизму», – говорила Мариэтта. Кажется, уроки Дейча оказались более действительны.

Так жил «Дом искусств». Разумеется, как всякое «общество», не чужд он был своих мелких сенсаций и дел, порой даже небольших склок и сплетен, но в общем жизнь была очень достойная, внутренне благородная, главное же – как я уже говорил – проникнутая подлинным духом творчества и труда. Потому-то и стекались к нему люди со всего Петербурга – подышать его чистым воздухом и просто уютом, которого лишены были многие. По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах – некоторые видны были с самой Фонтанки – и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье.

За это Зиновьев его и разогнал осенью 1922 года.

*1939 г.*

## *Во Пскове*

Сократив пассажирское движение на советских железных дорогах, в СССР отчасти воскресили стиль эпохи военного коммунизма и начала нэпа. Железнодорожный билет стал вновь драгоценной редкостью, а в вагонах опять создалась та самая обстановка, которую покойный поэт Константин Ватинов запечатлел в стихотворении, начинавшемся со стиха:

У каждого во рту нога соседа.

Во время военного коммунизма население было прикреплено к земле. В каждом отдельном случае поездка по железной дороге должна была быть обоснована действительной надобностью. Легальных надобностей у советского гражданина было не много: торговля была запрещена, семейные отношения упразднены. Другими словами, ездить разрешалось только по казенным делам, то есть по командировкам. Чтобы получить билет, требовалось добыть командировку. Командировки и добывались – по протекции либо за деньги. Кто не добыл командировки, должен был ехать зайцем – под скамейкой, на крыше, на буфере, а то так и на осях под вагоном.

Кроме простых командировок, обрекавших человека на езду в «бесклассовом», то есть загаженном, вшивом и переполненном вагоне, существовали командировки привилегированные: в вагоне международного общества. В 1919–1920 г. заведовал я московским отделом издательства «Всемирная Литература», которого центр находился в Петербурге. Поэтому я обладал правом выдавать командировки сотрудникам. Виза, поставленная Енукидзе, превращала мою командировку в привилегированную. Немалое количество литераторов и профессоров проехало по ним не только в Петербург, но и в другие города. Переводчиков Кальдерона и Ламартина отправлял я в Орел или Харьков «по делам службы». В международном вагоне ехал я и сам в Петербург, причем имел немало случаев наблюдать высокопоставленных спутников. Никогда не забуду одного кругло-

лицего, румяного парня, лет семнадцати. До революции он подавал чай и носил бумаги из этажа в этаж в частном банке. После революции занял «пост» в наркомфине. На нём была умопомрачительная шуба на ильковом меху с бобровым воротником, новый костюм, от которого рябило в глазах, лаково-прюнельевые штiblеты, шелковые носки. Из новенького кожаного чемодана вынул он пунцовое атласное одеяло, стёганое, с пододеяльником, обшитым широкими кружевами, которые так и пенились. По углам были огромные банты из красных лент. Ложась спать, обрызгался он духами и благоухал, и храпел, и его румяная морда презабавно выглядывала из кружев.

Переселившись в Петербург, я лишился власти и сделался простым смертным. Поэтому, когда летом 1921 года вздумал я поехать на отдых в деревню, расположенную возле города Порхова, то пришлось мне раздобывать командировку для себя, для жены и для тринадцатилетнего моего пасынка. После двухнедельных мытарств я получил командировку и билеты, но о международном вагоне и о плацкарте мечтать уже, разумеется, не приходилось. Как бы то ни было, в жаркий августовский день явились мы на Варшавский вокзал. Ехать надо было до Пскова, а там пересесть на Порхов. Багаж у нас был громоздкий: одежда, постельное бельё, подушки, одеяла, книги, а главное – гора товаров для меновой торговли с туземцами, ибо деньги не стоили ничего. На вокзал мы прибыли часа за два до поезда – неизвестно, как и когда будут сажать в вагоны. Сидели на вещах в зале третьего класса. Потом началась посадка – буря и натиск, вой, улюлюканье, поднятые кулаки, сундуки в воздухе, звон разбиваемых стёкол. Потом все-таки очутились в вагоне – человек по шести на короткой скамье. Потом поезд тронулся – нельзя сказать, чтобы «замелькали станции»: мы тащились медленно, в одуряющей жаре, в жажде, в зловонии, полагаясь на Провидение и на шарики из нафталина и камфары, рассованные по всем карманам, зашитые в ладанки на груди – в защиту от вшей (впоследствии я узнал, что вши очень любят садиться на эти шарики).

В вагон мы попали, конечно, не первыми. Верхние места были уже заняты. Чьи-то ноги порой свешивались к носам нашим. Против нас на верхней скамье расположилась бойкая девка, которой доставляло большое удовольствие обнаруживать полное отсутствие исподней одежды. Пока не стемнело, я старался обращать внимание пасынка на иные картины природы, — на те, что нам медленно развертывались за окном. Потом нас укачало, и началась сонная одурь, онемение рук и ног. Потом рассвело, и мы стали подъезжать ко Пскову.

Поезд наш опоздал на час. «Согласованный» с нами поезд на Порхов ушел за десять минут до нашего прибытия. Спрашиваем, когда идет следующий, и получаем ответ: послезавтра в это же время. Известие ошеломляющее — нам предстоит прожить двое суток во Пскове. Сдаем вещи на хранение и тут же узнаем, что наши билеты надо «прокомпостировать», т. е. сделать на них отметку об остановке. Перед кассою очередь. Добравшись до окошечка, узнаю новость совсем уже потрясающую: билеты наши вообще на послезавтра недействительны, и надо брать новые, которые по командировке петербургской не могут быть выданы, — нужна командировка от псковского совдепа. Отправляюсь в совдеп, но железнодорожный отдел, оказывается, сегодня не работает: приходите завтра.

Отправляемся в город искать прибежища на двое суток. Не тут-то было: в гостинице для получения комнаты нужна бумага от жилищного отдела. Снова иду в совдеп. Там надо мною смеются: где же это видано, чтобы проезжающим отводились комнаты? Чтобы получить комнату, надо быть постоянным жителем города, иметь в нём службу. Начинаю расспрашивать жителей, не сдают ли у кого комнаты. На меня смотрят с опаской, потому что я подбиваю на преступление: сдавать комнаты без разрешения совдепа запрещено. За это людей сажают в тюрьму...

Прослонявшись часа полтора по улицам, вздумал я искать помощи у собратьев по перу. Разыскал редакцию местной газеты, но в сей ранний час ничего не нашел там, кроме гранок, мух, сора и сторожихи. Мы возвратились к вокзалу. Невдалеке

от него, не то на вытоптанном лугу, не то на поросшей травую площади, уже раскинулся жалкий табор таких же застрявших пассажиров, как мы. Среди сундуков, баулов, мешков и всякой рвани мы легли на траву, стали ждать.

Часа в три я снова пошел в редакцию, где решил действовать страхам. Развернув перед секретарем целый веер всевозможных удостоверений с печатями и без печатей, я повел себя грозным начальством и потребовал, чтобы комната мне была найдена. Несчастный секретарь перетрусил и вызвал на совещание репортера. Они долго шептались, куда-то уходили, и издали я слышал хруст вращаемого телефонного звонка, — наконец, секретарь вернулся и объявил, что в жилищном отделе толку не добьётся, и уже лучше мне прожить эти два дня у репортера, который располагает в гостинице двумя комнатами. Я взял репортерский адрес и снова побрёл к вокзалу, за своими спутниками.

Было уже часа четыре, стоял зной, и тогда начались поиски пищи и питья. В ларьке у вокзала продали нам бутылку клюквенного кваса — лиловой жидкости, до такой степени просахариненной, что от неё тотчас же свело рот, а жажда сделалась нестерпимой.

Еды достать было негде. Базары были пусты, а в казенные лавки и заходить не стоило: без карточек ничего бы не дали. Так, без пристанища, изнемогая от жары, скитались мы часов до восьми вечера. Думаю, что за этот день я сделал по Пскову верст двадцать. В голове стоял такой туман, что города я не заметил. Помню только, что раза четыре переходил через реку по высокому мосту. Мы насилу держались на ногах и чувствовали, что ещё немного — и с нами начнутся обмороки. Меж тем предстоял второй день голодовки, хождение в совдеп, добывание билетов, потом езда в поезде и на лошадах. Только послезавтра к вечеру предстояло добраться до Вельского Устья, и мы понимали, что сил на это не хватит. И вдруг нам сказали, что в городском саду есть буфет — очевидно, одна из первых ласточек нэпа.

Действительно, в тенистой аллее на террасе стояло несколько столиков, покрытых чистыми скатертями. Старик-лакей в поношенном смокинге и пожелтевшей манишке подал нам карточку. В ней значилось: суп, отбивные котлеты, чай. Кроме нас, в ресторане никого не было, да и вообще сад был пуст. Мы набросились на еду, но не в ней одной было наслаждение. Мы душой отдыхали, на час получив возможность не притворяться, не лгать, не изворачиваться. Было почти умирительно сознавать, что с лакеем нас связывают глубоко человеческие, издревле священные отношения купли и продажи. Мы просидели в ресторане до темноты – кроме нас никто больше не заходил.

Потом мы отправились ночевать. «Аппартамент» хроникёра состоял из двух комнат. В задней жил он сам. Передняя, проходная, была предоставлена нам. В ней имелись: кровать с пружинным матрацем и грязным тюфяком и кушетка, обитая сальной, грязной материей. Пахло затхлостью. Не было ни стола, ни стула, ни умывальника. Не было ни электрической лампы, ни свечи. При свете карманной зажигалки мы улеглись, не раздеваясь: кто на кровати, кто на полу, подстелив тюфяк, а кто на кушетке. Мы тотчас уснули – и в середине ночи проснулись. Клещи ползли по нас в невообразимом количестве. На утро лица и руки у нас были красны от укусов, точно покрыты сыпью. Тогда же выяснилось, что в комнате пол покрыт пылью чуть не на сантиметр. Видимо, его не мели много месяцев. При ходьбе на нем отпечатывались следы.

В совдепе встретил меня толстый тип с седыми подусниками. Просмотрев мои бумаги, он объявил, что так как я должен выполнить командировку, то меня он отправляет в Порхов, но жене моей и пасынку там делать нечего.

– Куда же им деваться? – спрашиваю.

– Это меня не касается.

– Тогда выдайте нам обратные билеты в Петербург.

– Не могу, потому что вы обязаны ехать в Порхов, куда вы командированы.

– Ну, тогда хоть жене и мальчику дайте билеты до Петербурга.

– Не имею права.

– Значит, я должен ехать в Порхов, а они – оставаться в Пскове?

– Выходит, что так.

– До каких же пор?

– Ни до каких пор, а пущай тут остаются.

– Помилуйте, что же они тут будут делать?

Мне уже как-то зараз и смешно, и жутко, а тип отвечает невозмутимо:

– Ваша жена может поступить на службу.

– Но ведь получается, что вы меня с ней разводите? Что ж у вас тут: железнодорожный отдел или духовная консистория?

Тип срывает мои бумаги, протягивает их мне и говорит:

– За неуместные шутки я и вам билета не выдам. Оставайтесь, как знаете.

Отправляюсь к председателю совдепа – жаловаться. Жду его часа полтора, объясняю, в чем дело. Он берет телефонную трубку и, не смущаясь моим присутствием, обзывает моего недруга дураком. Я снова иду в железнодорожный отдел и от милейшего, любезнейшего, предупредительнейшего типа с подусниками узнаю, что, оказывается, просто он пошутил. Командировки уже готовы, на вокзале выдадут мне билеты.

Еще целый день скитаний по городу, блаженный обед в городском саду, лежание на траве у вокзала. Но близится ночь, и мы решаем, что вторично ночевать с клопами нельзя. Отправляемся на вокзал, я даю взятку носильщику, и он, уже в темноте, ведет нас на запасные пути к порожнему составу. Мы забираемся в вагон. Носильщик предупреждает, что если нас накроет Орточека (жел. дор. отдел Чеки), то будут большие неприятности. Советует не зажигать огня и не разговаривать громко. Мы ложимся на скамьи, засыпаем – и просыпаемся от шагов в коридоре. Перед нами стоят два человека в кожаных куртках, с наганами. Один из них поднимает фонарь и подносит его к моему лицу.

Объяснение, затем последовавшее, могло кончиться плохо. Выручила случайность, довольно нелепая. Среди бесчисленных

бумажек с печатями и подписями, которыми я запасаю, отправляясь в путешествие, была одна, подписанная Максимом Горьким. В ней было сказано, что всякому начальству рекомендуется оказывать мне всяческое содействие, так как я весьма вообще замечательный человек. В Петербурге такие бумаги имели довольно большую силу. Во Пскове подпись Горького тоже мне помогла, но совсем неожиданным образом. Чекистов, как сказано, было двое. Один – помоложе, худой, обозленный. Другой – постарше, веселый и смешливый парень. Увидав подпись Горького, они мне объявили, что бумага подложная, а я дурак, потому что Максим Горький – не человек, а поезд, а человек такой если и был когда, так давно уже помер. Несмотря на серьёзность положения, я все-таки засмеялся. Тогда и смешливый чекист тоже стал хохотать. Сцена выходила самая фантастическая. Хохотали мы долго, глядя друг на друга – и смех нас каким-то таинственным образом сблизил. Пошли шутки, и в конце концов дело обернулось так, что я, разумеется, врять, но занятный парень и не Бог весть какой преступник, и хотя никакого Горького нет, – на этот счет двух мнений не может быть, – но почему бы меня не оставить в вагоне? На том мы и порешили, при чем тот чекист, который позлее, сказал:

– Ну, вот что: мне все равно дежурить. Так уж я тут у вас посижу до смены, а то другие придут – вас арестуют.

Мы снова улеглись, а чекист сел на ступеньках вагона, закурил папиросу и сторожил мой сон до утра.

Утром в наш поезд вломилась толпа пассажиров. Наконец, тронулись и без приключений доехали до Порхова. К вечеру мы добрались до Вельского Устья.

## *Поездка в Порхов*

Я читаю все «толстые» советские журналы, нередко вижу газеты, и в общем, могу сказать, что нынешний быт СССР мне знаком. Однако мне не совсем ясно, сохранилась ли еще там характернейшая особенность эпохи до-нэповской, а затем и нэповской: тот нелепый порядок, при котором решительно все люди, как правящие, так и управляемые, заняты были не своим делом, а если иногда и своим, то в столь бессмысленных условиях, что дело превращалось в толчение воды. Отсюда возникла вторая особенность эпохи — глубочайшая ложь и притворство, которыми она была пропитана, вечный «камуфляж», без которого нельзя было ступить шагу. Думаю, что и теперь там продолжается все то же самое, изменилась разве только окраска. Суждение мое основывается, впрочем, не на литературном материале, а на газетном, В литературе всеобщая чепуха и всеобщая ложь сказываются слабо, потому что это — самое уязвимое место советского порядка и о нем нельзя даже намекнуть. Беллетристы о нем помалкивают, как молчали и в те времена, когда я еще жил в Советской России. Возможно и то, что теперь смешную и грустную чепуху тамошнего уклада менее замечают: одни к ней привыкли, другие в ней выросли. В «мое» время люди от неё сильно страдали, утешаясь лишь тем, что она давала немало поводов для остроумия и злорадства. Недаром предмет чуть ли не всех советских анекдотов — обывательское притворство. Об одном из самых нелепых дней моей подсоветской жизни мне хочется рассказать.

Я прожил полтора года в писательском общежитии при петербургском «Доме Искусств», который сам по себе представлял классический образец камуфляжа, но о котором сейчас говорить не буду: это тема особая, В 1921 году один член правления, Бог весть какими путями, добился устройства летней колонии для измученных и отощавших литераторов: был он человек многосемейный, детям в особенности надо было прокормиться. Колония помещалась в Порховском уезде, Псковской губ.; местный совдеп отвел под нее чье-то пустующее поместье с

полуразрушенным барским домом. Жили там совершенными Робинзонами. В доме было комнат двенадцать – только в трех сохранились оконные стекла. Кроватей было всего три. Спали на полу, на сене. Одна почтенная писательница, в которую, говорят был влюблен Тургенев, устроилась в выдвинутом ящике большого комода. Был диван, было несколько столов и стульев. Было несколько мягких кресел, с которых обивка была сорвана и пошла на туалеты местных прелестниц, так что семья одного мужика представляла собою как бы разбежавшуюся голубую гостиную, а семья другого – гостиную розовую. Из какого-то склада выдали нам посуду, – но мне не поверят, если я скажу, какие именно сосуды были присланы в качестве суповых мисок и кувшинов для молока. Хотя сосуды были прямо из магазина – они вызывали такие скучные ассоциации, что ими никто не пользовался. Советских денег деревенское население не принимало. Будучи об этом заранее осведомлены, колонисты привезли с собой предметы для товарообмена: скатерти, из которых шились портки и рубахи, салфетки, которыми бабы повязывали головы, а также одеколон, румяна и пудру. За скатерть можно было получить двухмесячный абонемент на молоко, за кусок мыла – курицу и десяток яиц, за бутылку одеколona – мешок муки. В ход пошли и одежды: покойный поэт Пяст, друг Блока, при мне выменял свои знаменитые на весь Петербург клетчатые штаны на два пуда муки. В общем, мы стали недурными торговцами. На бывшей стеклянной веранде, превращенной в универсальный магазин, по целым дням толклись мужики и бабы. Питались мы очень недурно. Кто-то выменял граммофон на барана.

Казалось бы: дали людям подышать воздухом и поесть – и хорошо. Но не тут-то было: продавать румяна деревенским девкам надобно не иначе, как под прикрытием из высоких лозунгов и культурных «заданий». Билеты на проезд до Порхова выдавались не иначе, как по командировкам. Нужно было проделать фантастическое количество формальностей в таком же количестве петербургских и порховских учреждений, чтобы эти командировки получить, и в этом было немало трагикоммиче-

ского. Факт тот, что в Бельском Устье (так называлось имение) очутился я в качестве спеца, командированного на предмет чтения лекций по поэтике в литературной студии при отделе народного образования (Наробразе) Порховского совета. Что происходило в студии, никому не было известно. Читать в ней лекции я не собирался – хотя бы уже потому, что колония наша находилась в пятнадцати верстах от города, а способов передвижения почти не было. Однако, одну лекцию, «показательную», надобно было прочесть для того, чтобы Наробраз засвидетельствовал, что моя командировка исполнена: без такого свидетельства, с печатями и подписями, не мог бы я получить обратный билет до Петербурга. Словом, лекцию мою назначили на какой-то день в конце августа, в семь часов вечера. Дату я выбрал с таким расчетом, чтобы попасть в Порхов в базарный день: мне нужно было возобновить запас махорки. Как водится, колонисты мне надавали поручений – тоже махорочного порядка или в этом роде. Чтобы поспеть на базар, надо было выехать утром. После некоторых хлопот раздобыл я себе беду. О беде позволю себе сделать специальное отступление.

– Беда! – восклицает псковский мужик, желая поведать о постигшем его несчастье. Когда же идет речь о классическом псковском экипаже, он явственно произносит: беда. Отсюда я заключаю, что эти два слова надо бы и писать по-разному: в первом случае – через «е»: беда, а во втором – беда. Однако, буду писать его всегда через «е» – из уважения к словарю Даля, который не делает различия между несчастьем и экипажем. Быть может, тут дело и впрямь идет лишь о двух значениях, даже о двух применениях одного и того же слова: ибо езда на беде есть истинная беда.

За два месяца, прожитых в Порховском уезде, не видел я никакого другого экипажа, кроме беды. На беде пскович возит и навоз, и сено, и хлеб, и дрова, из бед составляются свадебные поезда, на беде везут и покойника к месту его последнего упокоения. Происхождением своим беда, несомненно, обязана бездорожью. Её преимущество заключается в том, что у неё всего два колеса. По развороченным колеям и колдобинам Порховского уезда ныряет она не в пример свободнее, чем ныряла бы

на её месте обыкновенная телега о четырех колесах. Лошади от того много легче, а седоку все равно. Однако, беда имеет и свои недостатки – не малые.

Представляет она собою узкий полук или настил, положенный прямо над осью, между двумя колёсами. Своеобразие же её, имеющее важные технические и эстетические последствия, заключается в устройстве оглобелей. Для каждой из них выбирается целое деревцо или даже дерево, у которого нижний сук, самый толстый, отходит от ствола под прямым углом. Кроме того, этот сук в верхней части своей должен иметь загиб в сторону. Верхняя часть дерева (выше сука) отрубается прочь, а нижняя постепенно отёсывается, так что ствол утоньшается в противоположном направлении – сверху вниз, а не снизу вверх, как у живого дерева. Вместе с загнутым суком получается нечто вроде печатной буквы Г, у которой конец верхней горизонтальной палочки не загнулся бы вниз, как вы видите здесь, а отделился бы от бумаги и торчал бы в глаза читателю. Обе такие оглобли прибиваются по сторонам полка в одной плоскости с ним. Нижняя отёсанная часть дерева уходит вперед, к лошадиной шее, а верхняя пригоняется так, чтобы её загиб, бывший сук, пришёлся наравне с задним краем полка и поднимался бы под прямым углом вверх. При этом оглобли выбираются или размещаются так, чтобы вторые загибы, короткие и отточенные, как бычачьи рога, были отвернуты в разные стороны, один налево, а другой направо. От этого задний конец беда получает форму лиры, а весь экипаж – несомненное своеобразие и некое дикое изящество.

Лиры устроена не с эстетической, а с практической целью. Дело в том, что колёса – вещь дорогая. Чем меньше они, тем дешевле. Колёса беда не больше задних колёс обыкновенной телеги. Вследствие этого ось приходится ближе от земли, гораздо ближе, чем передний конец оглобли. Таким образом, оглобли у беда спускаются вниз чуть ли не под тем же углом, как у саней, а так как они находятся с полком в одной плоскости, то и весь полук оказывается расположен не параллельно земле, а весьма покато: его задний край лежит значительно ниже перед-

него. Вот тут-то и начинается спасительная роль рогов: кладь в них упирается и потому не сползает с беде прочь. Но это преимущество касается только кладь. Ездоку же, если он едет по-рожным, приходится сидеть на беде по-турецки, поджав ноги и непрестанно сползая назад. На то и уходит время его, что он ерзает по полку: то съезжая назад по неумолимым законам природы, то стараясь взобраться повыше, чтобы затем начать сползать сызнова. При этом он должен стараться ни рукой, ни ногой не попасть в колёса, которые вращаются у него справа и слева не далеко от локтей. Конечно, можно было бы намотать веревку между рогами и устроить нечто вроде спинки, но, прислонясь к ней, седок окажется настолько ниже лошадиного крупа, что дорога окажется от него совершенно закрыта, и он не сможет править. Правда, в розвальнях ездки тоже находится очень низко, но в розвальнях он ездит либо стоймя, либо устраивает себе нечто вроде облучка. На беде все это невозможно, потому что её трясет и раскачивает не так, как розвальни. Словом, езда на беде – беда.

Чтобы застать базар, я выехал часов в десять утра по советскому времени, то есть в шесть часов – по-настоящему. Солнце вставало розовое, было ещё прохладно. Дорога от Вельского Устья до Порхова довольно живописна. Часть пути надо ехать по низкому берегу реки, поросшему кустарником. За кустами виднеется медленная, синяя вода, а за нею – высокий берег, по которому спускаются вниз темно-синие ели. Отходя от реки, дорога пересекает холмистые поля, разграфленные черными, желтыми и зелеными квадратами. Путешествие было бы приятно, если бы ехать не на беде и если бы в беду не был запряжен средних лет мерин, розовогубый, белый, покрытый какими-то бестолковыми черными крапинами. Теперь, конечно, его уже нет на свете, и я постараюсь не говорить о нем дурно. Несомненно, он родился с отличнейшими задатками, но они были испорчены плохим воспитанием. Упрямство и приверженность к ложным традициям составляли главное его свойство. Сколько ни понукал я его идти по колее, – он делал по-своему, то есть шел между колеями, в которых беда то и дело проваливалась по

ступицу. От этого меня валяло со стороны на сторону, но это было еще не главное несчастье. Главное состояло в том, что с горы мой конь мчался глупейшим галопом, а в гору тащился как черепаха. Изменить его аллюры не было никакой возможности.

Когда мы летели вниз, это было еще туда-сюда, потому что передняя часть беда опускалась, а задняя подымалась, и вся она принимала горизонтальное положение. Но когда мы ползли наверх, передний конец поднимался еще более, чем обычно, а задний еще более опускался. Ноги мои оказывались чуть ли не выше головы, я безнадежно сползал назад, и, стараясь вскарабкаться вновь повыше, являя собою как бы Сизифа и его камень в одном лице, или, иначе сказать, был сам себе Сизиф и сам себе камень. Версты за три до Порхова надо было переезжать вброд небольшую речку, шириной всего саженой в десять, но приближение к ней наполнило душу мою тревогой. И не напрасно. С глинистого крутого берега слетели мы вихрем, лихо повернули влево, и со всего размаху плюхнулись в воду. Беда вертела колёсами, как пароход, и вода захлестнула всю заднюю половину ее: только каким-то чудом успел я к этому мигу переползти вперед и благодаря этому сам не очутился в воде. Посередине речки мы вдруг остановились, стали махать хвостом и пить вопреки всем правилам гигиены. Потом выползли на противоположный берег и прежним манером поехали к Порхову. Наконец, вдали показался город. Я, остановив коня, свернул папиросу, закурил и принял независимый вид. В город мы въехали чинно, шагом, стараясь, чтобы прохожие не догадались о досадах и недоразумениях, возникших между нами за три часа пути.

Приближаясь к базарной площади, я был смущен подозрительной тишиной. Подъехав, увидел я ряд заколоченных ларьков и узнал, что с этой недели расписание торговых дней изменено государственной властью. Базар будет завтра. Это известие спутало все мои расчеты и планы. Прежде всего, вышло, что я должен ради своих покупок остаться в городе до завтра. Но где ночевать? Во-вторых, — где и чем питаться? О порховском базаре я был наслышан самым лестным для него

образом: рассказывали, что на нем не только продают молоко, масло и хлеб, но пекут лепешки и даже жарят котлеты – свиные и бараньи. Теперь оказывалось, что всё это я могу получить только завтра, а есть мне хотелось уже – и очень. К тому же езда на беде меня измучила. Надо было немедленно подкрепляться. Я стал спрашивать у прохожих, нельзя ли добыть какой-нибудь пищи. Одни смотрели на меня с изумлением, другие сочувственно, третьи насмешливо, но никакого совета не дал никто. Вдруг я увидел женщину, возникшую у ларька: она что-то там приколачивала, неловко колотя по гвоздю камнем.

Я подъехал к ней. Это была старая, горбатая, горбоносая еврейка. Оглядевшись по сторонам, она шепотом велела отъехать в сторону и заметить ворота, в которые она войдет. Через четверть часа я должен подойти к калитке, но не стучать – она будет открыта. Все эти предосторожности делались для того, чтобы никто не узнал и не донес, что старуха торгует на дому. Выждав время, я проник в таинственное убежище, как Дон Жуан в дом Командора. Кстати, и моя Донна Анна оказалась вдовой. Пока я пил молоко и пожирал ломти свежего чёрного хлеба, она рассказала мне свою биографию. Её муж умер лет десять тому назад, сын, вдовец, служит на железной дороге; она ведет хозяйство, присматривает за внуками (мальчик лет десяти и девочка лет шести тут же вертелись), и «немножко» торгует на базаре, потому что «ведь надо кушать». Она говорила нараспев, с ноющими, бесконечно скорбными интонациями, точно все время прося прощения, и выговаривала слова с ужасающим еврейским произношением. По-видимому, некогда в доме был достаток. Комната, где мы сидели, была просторна и опрятна. Дубовая безвкусная мебель составляла её убранство. Вдоль одной стены тянулась длинная полка, на которой стояло около пятидесяти толстых старинных книг одинакового формата в переплетах из свиной кожи. Книги принадлежали покойному мужу моей хозяйки – сын её по-еврейски уже не читает. Рассказав о себе, пожелала она узнать и обо мне – есть ли у меня «шлюзба», а главное – есть ли «зена» и «зети». Она не хотела взять с меня деньги, говоря:

– Если не на базаре, то вы же узе мой гость!

Наконец я все-таки ей всучил какие-то бумажки, которые она сунула в карман пестрой юбки, не считая и улыбаясь не то смущенно, не то презрительно. Я провел у неё больше часу. Пора было идти в Наробраз – визировать командировку и узнать, где находится помещение, в котором я буду читать лекцию. От усталости и езды меня разморило. На улице начинался зной. Мне не хотелось уходить от простой, умной и доброй женщины. Я предчувствовал, что теперь предстоит провести несколько часов с идиотами.

Я отвязал лошадь от фонаря, взгромоздился опять на беду и загремел по улицам Порхова. Город оказался довольно приятен. Разноцветные крыши и обилие садиков придавали ему вид почти нарядный, Я колесил по нему долго, ибо никто мне не мог указать, где находится отдел народного образования. Население явно не знало даже о том, что он вообще существует. «О, слепота неблагодарного человечества, привыкшего negliжировать теми, кои в тишине и безвестности пекутся о его счастье!» Так или в этом роде воскликнул бы на моем месте философически настроенный путешественник XVIII столетия. Отыскав, наконец, Наробраз, помещавшийся в запущенном строении казенного типа, я застал его в ту самую минуту, когда коллегия заседала. Я не обинуясь заявил о скромной цели своего прихода – о желании получить отметку о выполнении командировки и узнать, где назначена моя лекция. Все это мне обещали сделать, но не сейчас. Сейчас пригласили меня принять участие в обсуждении дел. Отказаться было опасно. Меня «кооптировали» в состав коллегии и усадили рядом с председательницей. Я стал осматриваться.

Комната была небольшая, с узенькими простенками и тремя оконцами. Их двойные рамы не вынимались, должно быть, уже несколько лет. Между немывтыми стеклами лежала потемневшая вата, усеянная мушинными трупами. Мухами были облеплены и стаканчики, на дне которых виднелись остатки серной кислоты. Комната была оклеена грязными розовыми обоями с трещинами и вздутиями. Впрочем, обои в некоторых местах исчезали

под бесчисленным множеством печатных и рукописных афиш, объявлений и записок. Крашеный желто-красный пол был вымыт сравнительно недавно, зато с потолка свисали клочья белой бумаги, которой некогда был он оклеен. Председательница сидела на диване, обитом зеленым репсом. Наружность председательницы меня озадачила. Я привык в этих случаях к тощим брюнеткам зубоврачебного типа, а тут передо мной находилась дебелая блондинка, лет сорока, в белой шелковой блузке с большим вырезом, в котором виднелась глубокая складка между грудями, подпертыми корсетом. Туда же, в складку, сбегала массивная золотая цепочка, на которой висели золотые часики. Непривычная внешность председательницы объяснялась тем, что, как я потом узнал, эта особа была местная землевладелица, в своё время начитавшаяся брошюр.

Она сохранила повадки помещицы и кокетки. Крепко румянилась, сладострастно вертела глазами и приманчиво облизывала толстые свои губы розовым язычком. Председательствовала она с видимым удовольствием – точно в июльский полдень купала холодную простоквашу. Голос у неё был певучий и сладкий, но сильный. Единственным видимым признаком радикальной интеллигентности было у неё пенсне, трепетавшее на небольшом, чуть вздернутом носике. Вероятно, в молодости она была смазлива.

Прочие члены коллегии имели вид менее весёлый. Их было четверо: три коммуниста и беспартийный спец. Старший из коммунистов явно принадлежал к числу бывших интеллигентов. Может быть, это был даже какой-нибудь политкаторжанин. Держался он сумрачно и почти ничего не говорил, сося трубку и время от времени поскребывая грязной рукой то темя, то бороду. Растительностью Бог его не обидел – он весь был покрыт всклокоченной черной шерстью. От него пахло затхолью. Пенсне у него было на черной широкой ленте. Другой коммунист был молодой педагог, недавно переведенный в Порхов из Петербурга, высокий белокурый человек, лет 25-ти. На нем была синяя косоворотка, стянутая широким ремнем, и пенсне в роговой оправе. У третьего коммуниста был флюс. Щеку его

раздуло – он повязался бабьим белым платком с розовыми горошинами. Завязывая платок на затылке, он нечаянно прихватил клок волос, который торчал хохолком из узла. Нос у него был зашипкой, и, должно быть, пенсне на нем плохо держалось даже в нормальное время, а теперь, подпираемое раздутой щекой и ватой, сидело вовсе наискосок. Однако, читатель ошибется, если подумает, что в этом парне было что-нибудь комическое. Его зелёное, очень злое лицо, выражало крайнюю подозрительность и крайнее напряжение мысли. По-видимому, это был какой-нибудь слесарь или водопроводчик, остервенелый от классового сознания и насквозь пропитанный политграммой. На поясе у него висел револьвер – нужно думать, он был чекистом. В заседании он не проронил ни слова, но внимательно слушал и зорко поглядывал на всех говоривших. Явно было, что он чувствует себя стоящим на страже революции. Зато говорил много и оживленно беспартийный спец, молодой еврей, исключительно курчавый и с исключительно длинным носом. Иногда он вскакивал, и тогда оказывалось, что он меньше ростом, когда стоит, чем когда сидит: так длинно было у него туловище и так коротки ноги, снабженные, впрочем, огромнейшими ступнями в огромнейших желтых туфлях. Говоря, он все время наматывал длинный тонкий шнурок своего пенсне на тонкий и длинный, как у горбуна, палец. В сущности, разговор велся всё время между ним, председательницей и педагогом. Речь шла о реформе театра, оратор же был по профессии театральный парикмахер.

Вырабатывались принципы театральной реформы: не для Порхова (неизвестно даже, имелся ли в Порхове театр), – а для всей советской республики и шире – для всего мира. «Если делать, так уж делать!» – восклицал парикмахер: – «Мы не в праве себя ограничивать узкими национальными рамками!» Однако, что именно надо делать, и почему – в Порхове, мне так и не удалось понять за все два часа, которые просидел я в заседании. Наперебой произносились слова, выдернутые то из специальных книг о театре, то из советских газетных передовиц и агиток. Такая бессовестная каша варилась в головах ораторов, что я не

мог понять даже того, идет ли речь о преобразовании театра по существу, или еще только намечается план работ и «порядок дня». Чувствовалось, что вопрос «прорабатывается» уже не в первом заседании и что предстоит еще ряд дальнейших. Сперва мне было забавно – участники прений представлялись мне «квинтетом»: расширенным пленумом крыловского квартета. Потом мне сделалось очень скучно. Вдруг, разглядывая от скуки членов коллегии, я сообразил, что они все – в пенсне. В ту пору и я носил пенсне, и от этого стало мне нестерпимо совестно: в некотором смысле квинтет превращался в секстет – при моем участии. Чтобы его как-нибудь разрушить, я встал и подошел к окну. Оно выходило на чьи-то задворки. Там, в ленивой духоте знойного дня, грелась на солнце большая свинья и ходили куры. Комната находилась во втором этаже, и справа, поверх дощатого забора, была видна улица. Мой мерин стоял, понуря голову и отмахиваясь хвостом от мух. Кругом была полдневная тишина российского захолустья, – а тут пятеро идиотов надсаживались, решая проблемы европейского театра. Я вдруг обернулся к ним и объявил, что пора кончать. Кажется, они сами обрадовались моему предложению. Заседание закрылось, мне наставили подписей и штемпелей на командировку. Было около пяти часов по советскому времени. Учитель помог мне поставить лошадь в какой-то сарай. Мы ее отпрягли, я ей дал сена, предусмотрительно захваченного из дому, и расстался с нею до завтрашнего утра.

Надо было подумать о предстоящем ночлеге. Оказалось, что в городе нет ни гостиницы, ни постоялого двора, ни даже какого-нибудь общежития. Ночевка на улице мне не улыбалась. Я решил попросить приюта у моей еврейки, и мы к ней отправились – коммунисту это было по дороге. Однако, сколько мы ни стучали в ворота, нам никто не открыл. Явиться сюда вечером, не условившись заранее, казалось мне рискованно, и я приуныл. Тогда коммунист предложил мне переночевать у него. Я с радостью согласился.

Он дал мне свой адрес, и мы порешили на том, что я приду к нему после лекции – часов в десять.

Он отправился домой, а я пошел слоняться по городу. Вскоре я очутился на главной площади, посреди которой, если мне память не изменяет, росло несколько деревьев. На фоне их высился монумент, которому подобного я ещё не видывал, хотя видел памятник Гейне в Москве, в Нарышкинском сквере, и памятник Володарскому в Петербурге. Он был исполнен в кубистическом и футуристическом духе – пожалуй, не без влияния знаменитого татлинского памятника революции. Основанием ему служил белый куб вышиной примерно по грудь взрослому человеку. На этом кубе высился другой, поставленный как-то наискосок и поменьше величиной. На самом верху, опять же асимметрически, торчала маленькая четырехгранная пирамида с усеченной вершиной. Всё, в общем, было похоже на пасху, которую уронили, сломали и составили вновь, но плохо. Сооружение было вышиной сажени в полторы, то есть не «выше пирамид». Подойдя ближе, я обнаружил, что и материал его не «прочнее меди». Попросту говоря, состоял он из деревянного каркаса, на который был натянут холст, выкрашенный клеевой краской. С одной стороны холст уже был оторван и позволял заглянуть внутрь. Мне вспомнился стих Державина:

На стог поставлен, на позор,  
Кумир безумну чернь прельщает;  
Но чей в него проникнет взор –  
Кроме пустот не ощущает.

Впрочем, мой взор и моё обоняние ощущали в памятнике ещё нечто, «кроме пустот»; но что именно – да пребудет тайной сего монумента. Никакой надписи не было на его «цоколе», но обходя вокруг памятника, подобно тому, как бедный Евгений обходил вокруг Медного Всадника, я обнаружил, кому он воздвигнут. В верхней его пирамидке была устроена маленькая ниша – точно кто ложкой отколупнул кусок пасхи. В нише стояла деревянная рамочка с фотографией Карла Маркса, уже полнялой и размокшей от дождей. Внизу, у подножия, валялся засохший букет полевых цветов, перевязанный куском красного кумача...

Не помню, как скоротал я время до лекции. Я пришел на неё измученный и голодный. «Литературная студия» оказалась десятью или двенадцатью юношами и девушками, явно буржуазного происхождения. Попросту, были это гимназисты и гимназистки. В иное время составили бы они кружок для самообразования, каких бывало много. Теперь опасность навлечь на себя подозрение и другие причины камуфляжного свойства заставили их отдаться под покровительство Наробраза. Мне прочли несколько стихотворений, среди которых были совсем недурные. Расспрашивали меня об Ахматовой, Гумилеве, который был убит через несколько дней, об Осипе Мандельштаме. Потом я прочитал им несколько своих стихотворений – тем лекция и закончилась. Одна барышня, хорошенькая и милая, предложила мне погулять. Мы вышли на берег реки, потом осматривали какие-то старые стены; но я уже мало что понимал от голода и усталости. Потом мы расстались, и я отправился к своему коммунисту.

Он оказался человеком семейным. Двое или трое детей шумели в комнате, которая виднелась из передней. Через неё провели меня на стеклянную веранду. Там не было никакой мебели, только на полу лежали в ряд три плоских матраца. Два из них были покрыты невероятно грязными простынями. Хозяин объявил, что это – постели его и его жены, а я буду спать на третьем матраце, для которого, к сожалению, простыни не нашлось. Не было и подушки. Вскоре явилась хозяйка дома – женщина лет 25-ти в полосатом капоте. С собой принесла она рваное стёганое одеяло, которым и накрылась. На сон грядущий супруги отпили прямо из бутылки какой-то жидкости – не то холодного чаю, не то квасу. Мне не предложили. Потом муж её снял пенсне и штитлеты, отстегнул пояс и тоже лег. Из этого понял я, что настала ночь. Было десять часов по советскому времени – шесть часов по-настоящему. Никаких занавесок на веранде не было. Вся она была залита солнцем. Я лег на грязный матрац, положив под голову свернутое пальто, но пальто шерстило, и я положил на него носовой платок, послуживший мне наволочкой. Уснуть я, конечно, не мог – от жесткого ложа, от солнца, от мух,

которые мне кусали лицо и руки, а главное – от усталости и голода. Проворочавшись с боку на бок часов до двух, когда, наконец, стемнело, я все же впал в забытие, но поминутно просыпался. Очнулся я на рассвете, совершенно разбитый. Дети уже кричали. Я спросил хозяев, давно ли они живут в этой квартире. Оказалось – уже третий год. За два года не удосужились они обзавестись ни бельём, ни кроватями, ни даже парой стаканов. И это не от бедности, ибо коммунист мог легко всё раздобыть, но от своеобразного социалистического аскетизма, который сродни обыкновенному свинству, от страха перед «нездоровым буржуазным обрастанием» и от необходимости решать культурные проблемы в мировом масштабе. Меня все это, впрочем, не удивило: я видел в Москве коммунистов и повыше рангом, чем порховский мой хозяин, – они жили совершенно на тот же лад.

Мне не предложили даже умыться, да и хозяева сами не умывались. Простившись, я вышел на улицу и направился к своему коню. Увы – распрячь его я вчера сумел, но как быть теперь? Не буду утомлять читателя рассказом о поисках специалиста по запряганию лошадей в беду. Я и сам не помню подробностей, помню только, что во всем городе я не мог найти никого, кто из жалости ко мне или за деньги пожелал бы заняться этим делом. Мучился я, вероятно, часа два – и никого не нашел. Обращался в учреждения – везде получил отказ. У меня уже начинали рождаться планы совершенно нелепые – в то время, однако, были они уж не так нелепы. Например, я всерьёз подумывал, не послать ли телеграмму в Москву Луначарскому, чтобы он по телеграфу предписал местному совдепу откомандировать кого-нибудь на предмет запрягания моей лошади. Быть может, я так и сделал бы, но боялся, что процедура займет целые сутки. Я почти лишился чувств от усталости и досады. Прошу заметить, что уже почти сутки я ничего не только не ел, но и не пил. Наконец, поймал я на улице рыжего мужика, который, кобеньясь, согласился выручить меня за катушку ниток – цена непомерная по тому времени, но торговаться не приходилось. Он запряг лошадь, и мы отправились на базар, где я должен был с ним

рассчитаться. Дорогою мы беседовали. В этот голодный год урожай в Псковской и Петербургской губерниях случился в несколько раз выше обыкновенного, и они стали чуть не «житницами России». Мой спутник был этим до чрезвычайности горд.

– А вот на Волге-то народ мрёт с голоду. Слышал? – спросил я.

Рыжий весь просиял широчайшей улыбкой.

– Как не слышать! – сказал он нараспев. – Намедни к нам приезжал большевик, рассказывал. Говорит – привезём мы к вам на зиму ребят с Волги, а вы их разберите по избам. Двести ребят на уезд.

– Ну, что ж вы?

– А что мы? Мы говорим – нам ребят не надо, а коли привезёте, мы их всех перережем, кому который достанется.

На базаре я купил хлеба и выпил стакан молока. Закупив, что было нужно, тронулся я в обратный путь, снова сползая с беды и карабкаясь по ней вверх и жалея, что я не барон Мюнхгаузен, который сам себя вытащил из болота за волосы. Приехав в Бельское Устье, я вымылся, лег в постель и проспал до вечера. Вечером зашел дьякон. Мы сидели на балюстраде балкона и молчали. Мимо прошла Муся О., невеста одного из Серапионовых братьев. Дьякон был к ней неравнодушен.

– Ах, Марья Сергеевна! – сказал он. – Что за девушка! Что за невеста! Красоты неописуемой и не ест ничего!

И вздохнул: жилось ему тоже трудно.

*1933 г.*

## Сологуб

### *Из петербургских воспоминаний*

Время бежит. Скоро уже десять лет, как умер Федор Сологуб, – это случилось в декабре 1927 года. Теперь его деятельности можно бы подвести итоги более объективные, нежели в ту пору, когда память о нем еще была свежа и когда его эпоха еще не столь далеко отступила в прошлое. Некогда я писал, что со временем «о Сологубе напишут большую, хорошую книгу». Теперь я думаю, что, пожалуй, книгу-то писать и не станут – разве что это сделает какой-нибудь литературный сноб лет через сто (если будут тогда литературные снобы). Вероятно, от Сологуба останется некоторое количество хороших и даже очень хороших стихов, из которых можно будет составить целый том. В пантеоне русской поэзии он займет приличное место – приблизительно на уровне Полонского: повыше Майкова, но ниже Фета. Прозу его читать не будут – ее уже и сейчас не читают, и время этого не отменит. Романы, которые он писал в сотрудничестве со своей женой Анастасией Чеботаревской («Заклинательница змей», «Слаще яда»), совершенно невыносимы. Вещи вполне оригинальные, как «Творимая легенда» – многим лучше. На поверку выходит плох и знаменитый «Мелкий бес», которым когда-то мы зачитывались и который останется разве что лишь в качестве документа о быте, и то, конечно, столь шаржированного, что строгий историк вряд ли станет им пользоваться. По-видимому, лучшее из написанного Сологубом в прозе – два-три небольших рассказа, вроде «Стригаль и компания».

И все-таки если не произведения Сологуба, то самая его личность должна занять видное место в литературной панораме символистской поры. Опять же – не потому, что общие или литературные идеи Сологуба занимали центральное или определяющее положение в самом символизме (этого не было), но потому, что в литературной жизни, в обществах, кружках и редакциях он непременно хотел играть и играл весьма заметную

роль. Он был вполне искренен в любви к одиночеству и в отращении к миру. Но и в мире, им отвергаемом, хотел занимать важное место. Наконец, нельзя отрицать, что, как человек, он был очень своеобразен, и это сказывалось во всех его поступках и повадках. Люди символизма вообще отличались таким ярким «оперением», какого русская литературная среда перед тем не видала по крайней мере лет пятьдесят – с тех пор, как исчезли последние представители ее золотого века. Блок, Брюсов, Белый выделялись из толпы с первого взгляда. Таковы же и ныне здравствующие их соратники. Таков был и Сологуб. Представители иных тогдашних групп и течений были куда безличнее, серее.

Принято было говорить о нем, что он злой. Думаю, что это не совсем так. Его несчастьем было то, что несовершенство людей, их грубость, их пошлость, их малость нестерпимо кололи ему глаза. Он злобился на людей именно за то, что своими пороками они словно бы мешали ему любить их. И за это он мстил им, нечаянно, а может быть, и нарочно платя им той же монетою: грубостью, пошлостью. Неверно, что в нем самом сидел Передонов, как многие говорили; но верно, что, досадуя на Передоновых, он нередко поступал с ними по-передоновски.

Излюбленный его прием заключался в том, чтобы поставить человека в неловкое, глупое, а то и тягостное положение. В 1911 г. я приехал к нему в Петербург по поручению одного московского издательства. Он пригласил меня завтракать. За столом, в присутствии его жены, с которой я только что познакомился, он стал задавать мне столь непристойные вопросы и произносить такие слова, что я решительно не знал, как быть и куда смотреть. Вести разговор в его тоне было невыносимо, оборвать его резко было бы донкихотством и мальчишеством (он был меня много старше). Я старался переменить тему (вернее – темы, ибо от одной непристойности Сологуб тотчас переходил к другой), но он гнул свою линию и откровенно наслаждался моим смущением.

По-видимому, он до крайности был обидчив, как часто бывает с людьми, прошедшими нелегкий жизненный путь и

издевавшими немало унижений. Он тратил немало времени и душевных сил на непрестанное, мелочное оберегание своего достоинства, на которое никому и в голову не приходило посягать. С еще большею скрупулезностью оберегал он достоинство своей жены, которую в общем недолюбливали. Казалось бы, этому противоречит тот случай, о котором я только что рассказал. Но я вполне допускаю, что если бы я не смутился, а позволил себе в присутствии Анастасии Николаевны быть столь же развязным, как он сам, то Сологуб счел бы долгом своим за нее обидеться. За справедливостью он не гнался.

Обидчиков (действительных и воображаемых) своих и своей жены он преследовал деятельно и неумолимо. Не стану в подробностях излагать знаменитую в свое время историю с обезьяньими хвостами: о ней уже было писано. Отмечу лишь, что и после того, как она закончилась официальным примирением, Сологуб все-таки буквально выжил из Петербурга двух-трех видных литераторов, которых считал виновниками происшедших событий. Для этого он пустил в ход целый сложный механизм интриг и происков, столь же отчетливо окрашенных в передоновские тона, как и вся история, из-за которой сыр-бор загорелся.

Однако кроме настоящей обидчивости сидела еще в нем искусственная, наигранная. Ему доставляло удовольствие ставить людей по отношению к нему в положение обидчиков – единственно для того, чтобы видеть, как они смущаются и оправдываются. И чем больше было смущение, чем нелепее было обвинение, тем живее радовался Сологуб. Вот совершенно нелепая сцена, которую разыграл он со мною же в начале 1921 г., когда он только приехал в Петербург из Вологды или из Ярославля, где перед тем прожил, кажется, года два. Я пришел в редакцию «Всемирной Литературы» и там его встретил. Он сидел у камина в кресле. Между нами произошел бுவально такой разговор;

*Я.* Здравствуйте, Федор Кузьмич.

*Сологуб.* Ага, теперь «здравствуйте», а то небось (!) уже радовались, что старик околел где-нибудь на большой дороге.

Я. (Совершенно остолбенев.) Помилуйте, почему же я должен был это вообразить и с чего бы я стал радоваться?

*Салозуб.* То есть вы хотите сказать, что я на вас взвел напраслину.

Я. Дело не в напраслине, а в том, что вы, очевидно плохо осведомлены...

*Салозуб.* Ах, вот как! Значит, я уже по-вашему, из ума выжил?

Не помню, как я от него отвертелся, но через несколько дней он первый пришел ко мне, читал новые стихи и был так мил, как умел быть, когда хотел.

Другая история, в которую он пытался меня вовлечь, была сложнее и могла кончиться хуже. Расскажу о ней в подробностях – некоторые из них, пожалуй, стоит сберечь «для потомства».

Аким Львович Волинский был человек умный, но ум у него был взбалмошный, беспорядочный – недаром в конце концов его мысль запуталась где-то между историей религии и историей балета. В молодости он сильно пострадал от каких-то интриг, и в нем осталась глубокая уязвленность, к тому же питаемая тайною неуверенностью в себе, запрятанною в душе опаскою, что, может быть, враги, некогда объявившие его ничтожеством, были правы.

В спорах, которые любил страстно, он всегда петушился – вплоть до того мгновения, когда, растерявшись, внезапно сдавал все свои позиции.

В 1921–1922 годах мы с ним вместе жили в петербургском «Доме Искусств». Однажды, глядя в окно, я увидел, что он откуда-то возвращается, на ходу читая газету. У меня к нему было дело, и через полчаса я к нему отправился. Общежитие наше помещалось в доме известного богача Елисеева. Волинскому отвели какой-то будуар с золоченой мебелью, бессовестно размалеванный амурами и зефирами, которые так и порхали по стенам комнаты, среди громоздящихся облаков, лир и гирлянд. На потолке кувыркались музы и грации – у Тьеполо сделался бы при виде их нервный припадок. Центральное отопление не действовало, и Волинский топил буржуйку, немилосердно

коптившую на весь мифологический мир. В отсутствие хозяина комната простывала. Я застал Волынского лежащим на постели в шубе, меховой шапке и огромных галошах. В руках он держал все ту же газету. Он меня еле слушал – мысли его были не здесь. Наконец он сказал:

– Дорогой, простите. Я слишком взволнован. Мне нужно побыть одному, чтобы пережить то, что свершилось.

«Свершилась» просто небольшая статья, написанная о нем Мариэттой Шагинян в еженедельной газетке «Жизнь Искусства»: первая хвалебная статья за много лет. Он ходил с газетой по всему «Дому Искусств», всем показывая и бормоча что-то о нелицеприятном суде грядущей России. Смотреть на него было жалко. Бледная улыбка славы лишила его душевного равновесия...

Мы переживали эпоху пайков. Они выдавались всем ученым и лишь двадцати пяти писателям. В марте 1921 г. Горький привез из Москвы еще восемьдесят. Надо было составить список писателей-кандидатов. Образовали комиссию, в которую вошли Н. М. Волковыский, Б. И. Харитон, Е. П. Султанова-Леткова, А. Н. Тихонов, Волынский, Гумилев и я. Заседали долго, часов до пяти. Все устали, а еще предстояло самое трудное. Так как мы не знали, сколько именно пайков удастся отвоевать для писателей, то имена в списке надо было расположить в убывающей прогрессии: от самых заслуженных и нуждающихся к менее отвечающим этим признакам. Сделать это было необходимо в тот же вечер. Меж тем, как раз в день заседания началось восстание в Кронштадте. Настроение в городе было тревожное, и собраться вновь вечером надежды не было. Решили поручить дело тем, кто может друг с другом встретиться, не выходя из дому, то есть обитателям «Дома Искусств»: Султановой, Волынскому, Гумилеву и мне. Кроме того мне поручили о чем-то переговорить с Горьким.

После заседания (оно происходило на Бассейной в «Доме Литераторов») мы с Гумилевым вышли вместе: я направился к Горькому на Кронверкский, Гумилев – куда-то на Васильевский Остров. Чтобы сократить путь, мы пошли наперерез по льду

Невы. На улицах и на Неве была уже зловещая пустота. Таяло, снег был липкий, на льду кое-где появились лужи. Солнце садилось влево от нас, и оттуда же, из дымно-красного тумана, уже доносились первые пушечные выстрелы. Прощаясь, Гумилев мне сказал, что если задержится на Васильевском до темноты, то останется там ночевать – и чтобы мы заседали без него.

К десяти часам вечера, как было условлено, мы с Волынским пришли в комнату Султановой. Гумилева не было. Мы принялись за трудное и щекотливое дело – расставлять писателей, так сказать, по росту. Однако особенных разногласий не было. Работа шла быстро. Наконец, дошла очередь до Сологуба, который перед тем пайка не имел, ибо, как выше сказано, только что возвратился в Петербург. Волынский внезапно пришел в совершенную ярость. Вытаращив глаза, втягивая щеки, и без того впалые, стуча сухим кулачком по столу, он стал требовать, чтобы Сологуба поместили в самый конец списка, потому что это «ничтожество, жалкий кретин, сифилитический талант». Одному Богу ведомо, что должно было значить это последнее определение, но Волынский его выкрикивал без устали. Видимо, оно ему нравилось. Наконец, после долгих споров (немножко совместно вспомнить, что они происходили под равномерный гул кронштадтской пальбы), мы с Султановой отстояли Сологуба, закончили список и разошлись.

Надо заметить, что в начале заседания мы дали друг другу слово сохранить в тайне все, что будет говорено об отдельных лицах. Такое же слово мы взяли с одной барышни, которая случайно присутствовала, ибо пришла в гости к Султановой – и осталась ночевать. Не тут-то было. Прошло месяца полтора. Сологуб давно уже получал свой паек. В один прекрасный день я пришел домой и застал у себя Сологуба. Он меня ждал. Сидел в кресле, каменный, неподвижный, злой. Я сразу почувствовал неладное, а он сразу, деревянным голосом, задал мне вопрос:

– Дозвольте спросить, на каком основании намеревались вы лишить меня с женой пропитания и позволяли себе оскорбительные на мой счет выражения в заседании, имевшим место тогда-то и там-то?

– Федор Кузьмич, я ничего неблагоприятного о вас не говорил.

– А если вы не говорили, то кто?

– Я не могу дать вам никаких сведений на сей счет.

– Но не отрицаете, что слова были кем-то сказаны?

– Не отрицаю и не подтверждаю, потому что не имею права рассказывать ничего.

– В таком случае я буду считать, что сифилитиком именовали меня вы, и почту долгом привлечь вас к суду, как персонального оскорбителя и клеветника.

Это уже было сказано с усмешечкой, по которой я понял, что Сологубу отлично известно, кто был в действительности его «персональным оскорбителем». Пришел же он ко мне, чтобы «добыть языка»: надеялся, что, поразив меня, своего же заступника, нелепым обвинением, он заставит меня проговориться – а затем, уже на основании моих слов, притянет к суду Волынского.

Препирались мы долго – подробностей не помню. Он наконец ушел, ничего не добившись. Но вот что примечательно: уходил он уже в другом настроении: тихий, ласковый. По видимому, ему нужно было только насытить злобу. Не удалось посчитаться с Волынским – он удовольствовался и тем, что заставил меня пережить несколько неприятных минут.

Это было наше предпоследнее свидание. После того я видел его лишь раз, уже осенью, после смерти его жены, у П. Е. Щеголева. От кого он узнал, что говорил про него Волынский, осталось мне неизвестно. Султанова вне подозрений. Может быть, где-нибудь проговорилась барышня, а всего вероятнее – разболтал сам Волынский.

*1937 г.*

## *Гумилев и «Цех Поэтов»*

Кажется, в 1911 г. (не ручаюсь за точность) возникло в Петербурге поэтическое объединение, получившее прозвище «Цех Поэтов». Было оно в литературном смысле беспартийно. Просто собирались, читали стихи, судили о стихах несколько более специально, нежели это было возможно делать в печати. Посетителями этого первоначального «Цеха» были: Блок, Сергей Городецкий, Георгий Чулков, Юрий Верховский, Н. Клюев, Гумилев, Алексей Толстой, тогда еще не перешедший окончательно на прозу. Были и совсем молодые, начинающие поэты: О. Мандельштам, Нарбут, Георгий Иванов и жена Гумилева – Анна Ахматова.

Постепенно внутри «Цеха» стала обособляться группа, в которой главенствовали Сергей Городецкий и Гумилев. Она старалась образовать новое «направление», долженствующее прийти на смену отживающему свой век символизму. Оно назвало себя акмеизмом или адамизмом. Его главным лозунгом была борьба с мистицизмом и «туманностью» символизма. В «Цехе» намечался раскол. Поэты, не склонные к акмеизму, опали, и «Цех» сделался, в сущности, кружком акмеистов, которые провозгласили Гумилева и Городецкого своими вождями и мастерами. Кроме этих двоих, ядро акмеизма и «Цеха» составили: Анна Ахматова, Мандельштам, Нарбут, Кузьмина-Караваева.

Победить символизм новой группе не удалось. Ее идеи оказались недостаточно сильны и отчетливы, чтобы действительно создать новое литературное направление. Это не помешало, однако ж, некоторым членам «Цеха» вырасти в крупных или хотя бы заметных поэтов. Такова, прежде всего, Анна Ахматова, затем – О. Мандельштам. Сам Гумилев окреп и сложился именно в эпоху акмеизма. Зато для Сергея Городецкого акмеизм ознаменовал начало конца. После провозглашения новой школы он выпустил три книги: сперва «Иву», просто нудную и бездарную, потом монархический «Четырнадцатый год», а затем, уже при большевиках, коммунистический «Молот и серп».

Нарбут, кажется, вовсе перестал писать стихи, Кузьмина-Караваева перешла на прозу.

В эпоху войны и военного коммунизма акмеизм кончился. В сущности, он держался на личной дружбе участников. Война и политика нарушили эту связь. К концу 1920 г., когда перебрался я из Москвы в Петербург, об акмеизме давно уже не было речи. Ахматова о нем словно забыла. Мандельштам тоже. Нарбута, Кузьминой-Караваевой и Городецкого не было в Петербурге.

Я был болен до начала 1921 г. и почти никого не видел. Однажды, еще не вполне оправившись от болезни, спустился я в столовую «Дома Искусств» и встретил там Гумилева. Он сказал мне:

– Я решил воскресить «Цех Поэтов».

– Ну что же, в добрый час.

– Сегодня у нас уже второе собрание.

И Гумилев, в слегка торжественных выражениях, тут же меня кооптировал в члены «Цеха».

– Я это делаю на правах самодержавного синдика, – сказал он.

Мне оставалось благодарить. При этом, однако же, я поставил Гумилеву на вид, что могу вступить в объединение только в том случае, если оно действительно «цеховое», то есть в литературном отношении беспартийное и отнюдь не клонится к воскрешению акмеизма. Словом – если возобновляется первый «Цех», а не второй. Гумилев заверил меня, что это именно так.

Собрание должно было состояться через час. Перед тем, как идти туда, я зашел к О. Мандельштаму, жившему со мной в одном коридоре, и спросил его, почему он мне до сих пор ничего не сказал о возобновлении «Цеха». Мандельштам засмеялся.

– Да потому, что и нет никакого «Цеха». Блок, Сологуб и Ахматова отказались вступить. Всё придумали гумилята (так назывались в Петербурге начинающие или незначительные поэты, вращавшиеся в орбите Гумилева) – а Гумилеву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики.

И Мандельштам стал надо мною смеяться, что я «попался».

– Да сами-то вы что же делаете в таком «Цехе»? – спросил я, признаться, не без досады.

Мандельштам сделал очень серьезное лицо:

– Я пью чай с конфетами.

В собрании, кроме Гумилева и Мандельштама, застал я еще пять человек. Читались и обсуждались новые стихи. Разговор был сух и холодноват, но велся в очень доброжелательном тоне. Гумилев в этом отношении подавал пример. Председательствовал он с очевидным удовольствием, но держался безукоризненно.

От всего собрания осталось у меня двойное чувство. Хорошо, конечно, что поэты собираются и читают стихи, но от чисто формального подхода к стихам мне было не по себе. К тому же и самый формализм «Цеха» был слишком поверхностен, ненаучен. Не видя, таким образом, в «Цехе» ничего полезного, я не мог, однако же, видеть в нем и вреда. Решил держаться пассивно.

На следующем собрании произошло событие, само по себе мелкое, но для меня неприятное. В тот вечер происходило вступление нового члена, молодого стихотворца Сергея Нельдихена. Неофит прочитал стихи свои. В сущности, это были скорее стихотворения в прозе – лиро-эпические отрывки разительного содержания. Написанные языком улицы, впрочем – довольно кудрявым, вполне удобопонятные, отнюдь не какие-нибудь «заумные», стихи Нельдихена были по-своему восхитительны той изумительной глупостью, которая в них разливалась от первой строки до последней. Тот «я», от имени которого шел рассказ, являл собою образчик отборного и законченного дурака.

Притом дурака счастливого, торжествующего и беспредельно самодовольного. И все это подносилось не в шутку, а вполне серьезно. Нельдихен читал:

Женщины, двухполовинойаршинные куклы,  
Хохочущие, бугристотелые,  
Мягкогубые, прозрачноглазые, каштановолосые,  
Носящие всевозможные распашонки и матовые висюльки-серьги,

Любящие мои альтоголосые проповеди и плохие хозяйки –  
О, как волнуют меня такие женщины!  
По улицам всоуду ходят пары,  
У всех есть жены и любовницы,  
А у меня нет подходящих;  
Я совсем не какой-нибудь урод,  
Когда я полнею, я даже бываю лицом похож на Байрона...

И прочее – в том же роде. Слушатели улыбались. Они не показывались со смеху только потому, что успели нахохотаться раньше: лирические излияния Нельдихена уже были в славе. Их знали наизусть. Авторское чтение в «Цехе» было всего лишь обрядом, одной из формальностей, до которых Гумилев был охотник.

После чтения Гумилев произнес приветственное слово. Он очень серьезным тоном отметил, что глупость донныне была в загоне, поэты ею гнушались, никто не хотел слыть глупым. Это несправедливо: пора и глупости иметь голос в хоре литературы. Глупость – такое же естественное свойство, как ум, ее можно развивать, культивировать. Припомнив два стиха Бальмонта:

Но мерзок сердцу облик идиота,  
И глупости я не могу понять, –

Гумилев назвал их жестокими и несправедливыми. Наконец, он приветствовал в лице Нельдихена вступление очевидной глупости в «Цех Поэтов».

После заседания я спросил Гумилева, зачем он кружит голову несчастному Нельдихену, и зачем вообще Нельдихен нужен. К моему удивлению, Гумилев ответил, что отнюдь не шутил, а говорил вполне искренно. Он прибавил:

– Не мое дело разбирать, кто из поэтов что думает. Я только сужу, как они излагают свои мысли или свои глупости. Сам бы я не хотел быть глупым, но я не вправе требовать ума от Нельдихена. Свою естественную глупость он выразит с таким умением, какое не дается и многим умным. А ведь поэзия – это и есть

умение. Следовательно, Нельдихен – поэт, и я обязан принять его в «Цех Поэтов».

Пробовал я уверять его, что для человека, созданного по образу и подобию Божию, глупость есть не естественное, а противоестественное состояние, – Гумилев стоял на своем. Указывал я и на учительный смысл всей русской литературы, на глубокую мудрость русских поэтов, на серьезность, как на традицию русской словесности, – Гумилев был непреклонен. Когда, несколько времени спустя, должен был состояться публичный вечер «Цеха» с участием Нельдихена, я послал Гумилеву письмо о своем выходе из «Цеха». Должен сказать, однако, что сделал это вовсе не из-за одного только Нельдихена. Буду даже вполне откровенен: покинуть «Цех» была у меня причина гораздо более веская.

Еще до моего приезда в Петербург там образовалось отделение Всероссийского Союза Поэтов, которого правление находилось в Москве. Это правление, состоявшее из разного футуристического и чекистского сброда, возглавлялось, если не ошибаюсь, самим Луначарским. В отличие от московского центра, петербургское отделение носило вполне добропорядочный, «чистый» характер. Не помню, из кого состояло его правление, председателем же был Блок. Только что гумилевский «Цех» начал действовать, в нем начались какие-то глухие разговоры о том, что «блоковское» правление Союза надо свергнуть и заменить «гумилевским». Надобность эта была для меня неясна, но я вообще был еще не в курсе петербургских дел, да и не особенно ими интересовался. И вот однажды ночью, часа в два, пришел ко мне Мандельштам и сообщил, что блоковское правление Союза только что свергнуто и заменено другим, в которое вошли исключительно члены «Цеха» – в том числе я. Председателем избран Гумилев. Переворот совершился как-то странно – повестки были разосланы чуть ли не за час до собрания, и далеко не все их получили. Все это чрезвычайно мне не понравилось, и я сказал Мандельштаму, что не хочу быть в правлении, столь «революционно» составившемся, и что напрасно меня выбирали, меня не спросив. Мандельштам и на

сей раз проявил много веселости. Однако он уговорил меня «не поднимать истории», не обижать Гумилева и из правления официально не выходить. Порешили на том, что я формально останусь в правлении, но фактически в его заседания ходить не буду.

Вслед за тем стало для меня ясно, кому и зачем нужно было устранить Блока с его правлением. По тем временам деньги цены не имели. Нужны были связи и бумаги с печатями. Союз был учреждением официальным. У него была красная печать. Он мог выдавать командировки, ордера на железнодорожные билеты (которые «частным лицам» не продавались вовсе), всевозможные удостоверения и т. д. Таким образом, члены правления Союза могли обделявать разные более или менее «мешочнические» дела и помогать другим в таких же предприятиях, беря за то известную мзду – хотя бы борзыми щенками. Самому Гумилеву все это, разумеется, было не нужно и чуждо. Но двум или трем предприимчивым молодым людям из «Цеха» очутиться членами правления Союза было весьма желательно. Пользуясь честолюбием Гумилева, они сделали его председателем Союза, чтобы занять при нем места секретарей – и таким образом за его спиной обделявать свои дела. Но главная их затея не в том заключалась. Они знали, что в Москве при Союзе имеется кофейня, отлично торгующая, и захотели устроить такую же в Петербурге. По тем временам получить разрешение на открытие частного ресторанный предприятия было невозможно. Но устроить ресторан при Союзе было нетрудно. И вот, к весне при Союзе образовался «Дом Поэтов», в котором поэтическими выступлениями прикрывалась деятельность ресторана. Правда, к этому времени начался уже нэп, но кофейен в Петербурге еще не было, и вечера «Дома Поэтов» усердно стали посещаться публикой, ищущей вечернего пристанища с пирожными и стаканом чая. Устроители отлично зарабатывали. Гумилев простодушно верил, что возглавляет учреждение литературное. Я с самого начала объявил, что нога моя в «Доме Поэтов» не будет, и предположенным вечером с участием

Нельдихена воспользовался для того, чтобы заявить о своем уходе из «Цеха», тем самым отмежеваться и от «Дома Поэтов».

Мое письмо, кажется, сперва несколько обидело Гумилева, но затем наши добрые отношения восстановились сами собой. Он был человек с открытым сердцем. Он понял, что, выходя из «Цеха», я не проявляю никакого недоброжелательства к нему лично. Что же до Союза и «Дома Поэтов», то мы этой темы никогда не касались. Случилось даже так, что после моего ухода из «Цеха» мы стали видаться чаще и беседовать непринужденнее.

Однажды отказавшись участвовать в делах союзного правления, я в этом решении остался тверд до конца, если не считать одного дела, – но то была уже *ликвидация* Союза. Когда Гумилев был убит, меня в Петербурге не было. Приехал я месяца через полтора, и одновременно со мной явился из Москвы какой-то тип, объявивший, что ему московским Союзом Поэтов поручено ревизовать дела петербургского отделения: в частности – выяснить вопрос о панихиде, которая была отслужена по Гумилеву в Казанском соборе. История эта грозила большими неприятностями. Один из членов «Цеха», не имевший никакого отношения к «коммерческой» деятельности других членов, но как раз всего более повинный в устройстве панихиды, пришел ко мне советоваться. Зная хорошо большевиков, я придумал выход. Вызвав к себе «ревизора», я объявил ему, что завтра еду в Москву и там отчитаюсь перед самим Наркомпросом. «Ревизор», разумеется, не посмел требовать от меня доклада, предназначенного самому высшему начальству. Я же поехал в Москву, провел там недели две по личным своим делам, а затем вернулся в Петербург и созвал общее собрание Союза. На этом собрании я заявил, что был в Москве, посетил главное правление Союза и убедился в том, что это не правление Союза Поэтов, а ночной притон с тайной продажей спирта и кокаина (это была правда). Затем я предложил членам Союза резолюцию следующего содержания:

*«Решительно осуждая устройство предприятий ресторанного типа под флагом литературы, мы, нижеподписавшиеся, заявляем о своем выходе из числа членов как Всероссийского Союза Поэтов, так и его петербургского отделения».*

Эта резолюция, конечно, весьма не понравилась устроителям «Дома Поэтов», ибо была столько же направлена против них, как и против московского центра. Однако она была принята единогласно всеми присутствующими, а затем подписана и всеми остальными членами Союза, не присутствовавшими на заседании. Таким образом, петербургское отделение перестало существовать, и возможность ревизовать его деятельность была заправилами московского Союза утрачена. Их цель заключалась в том, чтобы выслужиться перед большевиками, разоблачив петербургскую крамолу. После нашей резолюции, разоблачившей их кабацкое предприятие, они предпочли не доводить дела до начальства, и хотя могли потребовать отчета от *бывшего* правления о его *бывшей* деятельности, – предпочли смолчать. На это я и рассчитывал.

Ликвидация петербургского Союза не означала, однако же, ликвидации «Дома Поэтов». К этому времени он уже получил возможность существовать независимо от какого бы то ни было учреждения, как всякий другой ресторан, – и, действительно, его бытие продолжалось еще несколько месяцев, пока не закончилось грязной историей, о которой не стоит распространяться. Она носила уже гораздо более частный характер.

1933 г.

## *Неудачники*

У Баратынского есть такие стихи:

Глушцам не чуждо вдохновенье.  
Им так же пылкие мгновенья,  
Оно, как избранным дарит:  
Слетая с неба, все растенья  
Весна равно животворит.  
Что ж это сходство знаменует?  
Что им глупец приобретет?  
Его капустою раздует,  
Но лавром он не расцветет.

Как почти все эпиграммы Баратынского, это стихотворение, особенно в первой своей половине, включает начало мысли очень серьезной, – может быть, даже грустной. Конечно, в литературном отношении очень забавно и само собой напрашивается на эпиграмму зрелище глупца, распираемого, «раздуваемого» поэтическим вдохновением. Но по человечеству – что тут смешного? Баратынский сам говорит, что вдохновение, дар небес, как весна – равно животворит всех – и умных и глупых. В душе глупца «пылкие мгновения» протекают так же, как в душе гения. Глупец, спешащий в стихах излить охватившие его чувства, по человечеству более достоин жалости, чем насмешки.

Смешны только его стихи – плод неосмысленного душевного порыва. Самый же порыв не смешон нисколько. Об одном таком существе, одержимом поэтическими стремлениями, недавно напомнила мне Марина Цветаева. В своих воспоминаниях о Максимилиане Волошине (в «Современных Записках») пересказала она историю моей встречи с некоей Марией Папер. Однако пересказ Цветаевой вышел неточен – не по ее вине: я рассказывал Волошину, Волошин ей – да и то было, по крайней мере, лет пятнадцать тому назад.

Два моих приятеля снимали двухэтажный флигель, нечто вроде студии, при особняке Петрово-Соловово в Антиповском

переулке, недалеко от музея Александра III. В рождественский сочельник 1907 года устроили они у себя маскарад – один из тех несколько сумасшедших маскарадов, на которых в те времена завязывались и развязывались сложные истории – поэтические и любовные. Часов в шесть утра, когда я возвращался домой, было еще темно. Шла метель. Занесенный снегом, извозчик привез меня домой, в Николо-Псковский переулок, и я лег спать. Проснулся я во втором часу дня. Горничная Дуняша подала мне чай и сообщила, что какая-то барышня дожидается меня на кухне с семи часов утра. Столь ранний визит в первый день Рождества меня удивил.

– Почему же вы не сказали ей, чтоб она пришла завтра?

– Я сказывала. Они говорят, что хотят вас дождаться.

– Но почему же вы ее не провели в гостиную?

– Они не хотят. Пришли с черного хода да так и сидят на кухне.

Я выпил чаю, оделся и вышел на кухню. Там сидело на табурете какое-то существо в черном ватном пальто, набитом, как кучерская шуба. Барашковая приплюснутая шапочка была покрыта огромным серым платком, который, перекрещиваясь на груди, сзади завязан был в толстый узел. Поверх платка, на шнуре, висела барашковая муфточка бочонком. При моем появлении существо не пошевелинулось. Оно продолжало сидеть, растопырив руки в черных вязаных перчатках и тяжело упершись в пол резиновыми галошами, доходившими ему почти до колен. Снег, принесенный на этих галошах, растаял посреди кухни широкой лужей.

– Что вам угодно? – спросил я.

Не вставая и не поворачивая головы, существо пропищало:

– Я Мария Папер.

Такого пискливого голоса я отродясь не слышал и никогда не услышу более. Право же, он был разве только немного погуще комариного жужжания.

– Я Мария Папер. Я вам прочитаю мои стихи.

Насилу мне удалось убедить ее снять галоши. Шубы она не сняла и платка не развязала. Мы прошли в кабинет. Едва усев-

пись, она выхватила из муфты две клеенчатых тетради и начала читать. Личико у нее было крошечное и розовое – не то младенческое, не то старушечье. Между выпуклыми румяными щечками круглой клюквой торчал красный носик. Круглые карие глазки не смотрели ни на меня, ни в тетрадку: меня она как бы не видела, а стихи знала наизусть. Она лопотала их с такой быстротой и так пищала, что я ничего не мог понять. К стыду моему должен признаться, что вся эта сцена доставляла мне удовольствие. Мне было всего двадцать лет, я успел напечатать с десяток очень плохих стихотворений, и мне весьма льстило, что некая молодая поэтесса пришла ко мне, чтобы услышать мое авторитетное мнение. Я сам никогда не ходил ни к кому, но знал, что начинающие стихотворцы ходят к Бальмонту, к Брюсову. Словом, тщеславие во мне взывало: недаром же говорит Гоголь, что всякий, хоть на одну минуту, делается Хлестаковым.

Наконец, я все-таки понял, что слушаю не стихи, а писк. Я попросил ее оставить тетрадки дня на два. Она ушла, я тотчас принялся читать. Стихи оказались разительной чепухой, выраженной, однако, по всем правилам стихотворства, разнообразными размерами, сложными строфами, с метафорами и другими риторическими фигурами. Единственная их тема была любовная, самые прямые эротические картины и образы так и сыпались друг за другом, причем очевидно было, что все это писано понаслышке. Не удивительно, что всего наивнее оказался обширный отдел, посвященный всяческому «извращенностям».

Через два дня Мария Папер явилась снова. Я сказал ей, что стихи плохи. Она ответила безучастным голосом:

– Я написала другие.

И вынула еще две тетрадки.

– Когда ж это вы написали?

– Я не знаю. Вчера, сегодня.

– Сколько же стихотворений вы пишете в день?

– Я не знаю. Вчера написала двадцать.

Я спросил, зачем она пишет о том, чего не знает и чего не было. Она долго молчала, потом выпалила, потупившись:

– Но ведь я только об этом и думаю.

На мою суровую критику не возразила она ничего. Ушла молча. Я уже запер за нею дверь, как вдруг – звонок. Снова она:

– А вы не могли бы мне дать адрес Вячеслава Иванова?

– Он живет в Петербурге.

– А вы не можете мне дать адрес Иванова Пе-Ка?

– Что значит Пе-Ка?

– Я не знаю; так напечатано: Иванов, П. К.

Оказалось – она взяла список сотрудников какого-то журнала и обходит всех по алфавиту.

– Но ведь до меня еще не дошла очередь?

– А к вам я зашла потому, что было поблизости.

Действительно, постепенно обошла она чуть ли не всех писателей – везде бывала со своими стихами и галошами, которые носила и в ненастье, и в ветер, и в зной, и в стужу. Через несколько месяцев стала она в своем роде знаменитостью. У очень плохих стихов есть странное свойство: то и дело случается, что их самые патетические пассажи, помимо авторской воли, приобретают забавный и чаще всего не совсем пристойный смысл. Так было и со стихами Папер. Вся поэтическая Москва знала наизусть ее четверостишие, приводимое и Мариной Цветаевой:

Я великого, неожиданного,  
Невозможного прошу,  
И одной струей желанного  
Вечный мрамор орошу.

Люди мягкотелые или лживые ее обнадеживали. Другие советовали бросить. Она с одинаковым безразличием пропускала мимо ушей и то и другое, – и писала, писала, писала. Но она была вовсе не графоманка. Она была непрестанно обуреваема самыми поэтическими чувствами, и стихи ей звучали откуда-то, словно голос ангелов, – вся беда в том, что это были какие-то очень глупые ангелы или насмешники.

Долгое время ей ничего не удавалось напечатать. Наконец журналист Шебуев, сотрудник «Раннего утра», толстощекий субъект, ходивший в огромных роговых очках, в рединготе

брусничного цвета и в брусничного цвета цилиндре, нашел способ зарабатывать деньги на бездарностях. Он стал издавать журнальчик «Весна», в котором злосчастные авторы сами оплачивали столбцы, занятые их писаниями. Журнальчика никто не покупал, но Шебуев имел от него недурной доход. Напечаталась в «Весне» и Мария Папер.

Однажды ее постигло несчастье. Надо сказать, что, читая свои стихи, она то и дело влюблялась в слушателей, которые часто даже и не подозревали об ее пылких чувствах. В 1909 или 1910 г. она выпустила сборник любовных своих излияний, под заглавием «Парус». На первой странице красовалось посвящение одному литератору, которого имя, отчество и фамилия были пропечатаны полностью. Литератор, человек добродушный, хотя известный всей Москве своими непрерывными каламбурами и эпиграммами, на сей раз от конфуза лишился и добродушия и остроумия. Недели через две после выхода книжки мы с ним спускались по мраморной лестнице в редакции «Утра России». Вдруг снизу – Мария Папер в галошах и с пачкою белых книжечек: она сама разносила «Парус» свой по редакциям. Не успела она произнести ни слова, как мой приятель ей отчеканил:

– Сударыня, вы можете писать глупости, но не имеете права без спроса их посвящать. Будьте здоровы.

Она замерла на лестнице, не успев даже пискнуть. Больше я не видал ее. Впоследствии мне рассказывали, что влюбившись в филолога и поэта В.О.Н., году в 1912, приезжала она к нему под Тарусу, в деревню, где он давал уроки. Мужик привез ее на телеге, протряса верст пятнадцать со станции в знойный июльский день. Она пропищала десятка три стихотворений, отказалась от пищи и питья и взгромоздилась опять на телегу. Оставшиеся долго смотрели ей вслед, как она подскакивала на выбоинах, распустив черный зонтик и вытянув ноги в ослепительно сверкающих галошах. С тех пор след ее затерялся.

Посвящая свою эпиграмму глупцам, Баратынский шел в сторону наименьшего сопротивления. Конечно, отчасти смешон каждый глупец, даже когда он так жалок, как была жалка Мария Папер. Но ведь в не менее, даже в более глубоком смысле эпиграмма Баратынского порой применима к людям совсем не глупым – только лишенным поэтического дара. Вдохновение посещает их, как всех смертных, – и тут возникают положения, уже ни с какой стороны не забавные. Как ни грустен в сущности образ Марии Папер, перед ним позволительно и улыбнуться, – прежде всего потому, что сама она в своей одержимости была почти счастлива, ибо почти блаженна. Она пела, закрыв глаза, и песней своей упивалась. Тяжела судьба тех, у кого глаза раскрыты. Я видел таких очень много – сейчас расскажу об одном.

В 1904 г., в альманахе «Гриф» появилось несколько довольно слабых стихотворений за подписью «Одинокий», а вскоре приехал в Москву и сам автор. Модернистские редакции и салоны стал посещать молодой человек довольно странного вида. Носил он черную люстриновую блузу, доходившую до колен и подвязанную узеньким ремешком. Черные волосы падали ему до плеч и вились крупными локонами. Очень большие черные глаза, обведенные темными кругами, смотрели тяжело. Черты бледного лица правильны, тонки, почти красивы. У дам молодой человек имел несомненный успех, которого впрочем не искал. Кто-то уже называл его «нестеровским мальчиком», кто-то – «флорентийским юношей». Однако, если всмотреться попристальней, можно было заметить, что тонкость его уже не так тонка, что лицо, пожалуй, у него грубовато, голос деревенский, а выговор семинарский, что ноги в стоптанных сапогах он ставит носками внутрь. Словом, сквозь романтическую наружность сквозило что-то плебейское. О себе он рассказывал, что зовут его Александр Иванович Тиняков, что он – сын богача-помещика, непробудного пьяницы и к тому же скряги. Он где-то учился, но недоучился, потому что отец его выгнал из дому – чуть ли не за роман с мачехой.

Он был неизменно серьезен и неизменно почителен. Сам не шутил никогда, на чужие шутки лишь принужденно улыбался, как-то странно приподнимая верхнюю губу. Ко всем поэтам, от самых прославленных до самых ничтожных, относился с одинаковым благоговением; все, что писалось в стихах, ценил на вес золота. Чувствовалось, что собственные стихи не легко ему даются. Все, что писал он, выходило вполне посредственно. Написав стихотворение, он его переписывал в большую тетрадь, а затем по очереди читал всем, кому попало, с одинаковым вниманием выслушивая осуждения знатоков и совершенных профанов. Все суждения тут же записывал на полях – и стихи подвергались многократным переделкам, от которых становилось не лучше, а порой даже хуже.

Со всем тем, за смиренною внешностью он таил самолюбие довольно воспаленное. На мой взгляд, оно-то его и погубило. С ним случилось то, что случилось с очень многими товарищами моей стихотворной юности. Он стал готовить первую книжку своих стихов и чем больше по виду смиренничал, тем жгуче в нем разгоралась надежда, что с выходом книги судьба его разом, по волшебству изменится: из рядовых начинающих стихотворцев попадет он в число прославленных. Подобно Брюсову (которому вообще сильно подражал), своей книге он решил дать латинское имя: «Навис нигер» и благодарил меня очень истово, когда я ему разъяснил, что следует сказать «Навис нигра». К предстоящему выходу книги – готовился он чуть ли не с постом и молитвою. Чуть ли не каждая его фраза начиналась словами: «Когда выйдет книга». Постепенно, однако же, грядущее событие в его сознании стало превращаться из личного в какое-то очень важное вообще.

Казалось, новая эра должна начаться не только в жизни Александра Тинякова (на обложке решено было поставить полное имя, а не псевдоним, должно быть затем, чтобы грядущая слава не ошиблась адресом). Казалось, все переменится в ходе поэзии, литературы, самой вселенной.

И книга вышла. Ее встретили так, как должны были встретить: умеренными похвалами, умеренными укорами. Но это и

было самое убийственное для Тинякова. Он ждал либо славы, либо гонений, которые в те еще героические времена модернизма расценивались наравне со славой: ведь гонениями и насмешками общество встречало всех наших учителей. Но спокойного доброжелательства, дружеских ободрений, советов работать Одиноким не вынес. В душе он ожесточился.

Еще и раньше он порой пропадал из Москвы, где-то скитался, пил. Было в нем что-то от «подпольного» человека, растравляющего себя явным унижением и затаенной гордыней. Недаром посвятил он цикл стихов памяти Федора Павловича Карамазова, и не только для эпатирования публики (хотя был расчет и на эпатирование) писал:

Любо мне плевку-плевочку  
По канавке грязной мчаться...

После «катастрофы» со сборником (хотя вся катастрофа в том-то и заключалась, что никакой катастрофы не было) – Тиняков проклял литературную Москву и перебрался в Петербург. Стихи он почти перестал писать и отдался решению философических, религиозных, исторических и общественных проблем. Началась для него эпоха кустарного философствования, тем более экстатического, что оно покоилось более на кабацких вдохновениях и озарениях, нежели на познаниях. Из одной крайности он бросался в другую. Время от времени я получал от него письма. В одном писалось, что окончательно обратился к Богу, что путь России – подвижнический, что она – свет миру и прочее. Проходило несколько месяцев – Россия оказывалась навозной кучей, и Господу Богу объявлялся смертный приговор. Потом вдавался он в кадетский либерализм и все упование возлагал на Государственную Думу. Потом оказывалось, что Дума, печать, общество – в руках жидов...

Примерно к 1916 году он запутался окончательно. Будучи сотрудником «Речи», тайком пописывал он какие-то статейки в «Земщине». Я совершенно уверен, что делал он это не от подлости, а именно от того, что запутался «потерял все концы и

начала», – может быть, отчасти спьяну. Однако двойное сотрудничество внезапно разоблачилось. История эта в свое время наделала много шума. Кончилась она тем, что Тинякова изгнали и из «Речи», и из «Земщины». Он исчез с литературного горизонта. Потерял и я его из виду. Настали бурные и сумбурные годы «взвихренной Руси». Я уже думал, что где-нибудь сложил он свою голову – у белых, у красных, а то и попросту под забором. Внезапно, не то в конце 1921, не то в начале 1922 года, – он объявился снова.

Я жил тогда в петербургском Доме Искусств. В дверь мою постучались – на пороге стоял Одинокий, даже не постаревший, только оборванный, – но мы все ходили тогда оборванными. Приехал он прямо из Казани, где оказывается, года два редактировал газету.

– Значит, вы теперь коммунист? – спросил я.

– Нет, но мне с большевиками по пути, поскольку они отрицают Бога. Бога я ненавижу, Владислав Фелицианович, – прибавил он конфиденциальным тоном.

– А Бабу-Ягу?

Он ухмыльнулся:

– Вы хотите сказать, что если я ненавижу Бога, то, значит, верю в Него? Ну, что ж? Оно, может быть, так и есть.

Он заставил меня написать ему стихи в альбом и ушел. Его поселили в том же Доме Искусств, в той части, которая была предназначена для неопрятных жильцов. Там он пьянствовал и скандалил. По ночам приводил к себе тех двенадцатилетних девочек, которые днем продавали на Невском махорку и папиросы. Его соседка по комнате, старушка, бывшая артистка Мариинского театра, жаловалась, что он стучит к ней в тонкую дощатую перегородку и ругается:

– Скоро ты, старая ведьма, угомонишься? Перестань ворочаться дьяволица, не мешай!

Он пробовал заняться литературной работой – из этого ничего не вышло. Меж тем, нужны были деньги. Перед самым моим отъездом из Петербурга я встретил его на Полицейском

мосту. Он был в новых штиблетах и сильно пьян. Оказалось – попустил на службу в Чека.

– Вы только не думайте ничего плохого, – прибавил он. – Я у них разбираю архив. Им очень нужны культурные работники.

И подняв верхнюю губу, он захихикал. Больше я его не видел.

\* \* \*

Конечно, злоба на мир жила в нем как следствие осознанной бездарности. (Я говорю о бездарности чисто поэтической, потому что вообще человек он был скорее одаренный). Но на отдельных людей он эту злобу не обращал. К чести его надо сказать, что в нем не было злобы и на все сословие литераторов. Больше того: как ни было низко его падение, до зависти вообще и до персональной зависти к кому бы то ни было, он не падал, за поэтическую свою неудачу не мстил никому. Меж тем, в эти годы, как раз удалось развернуться тем, кто за свою бездарность хотел отомстить.

Осенью 1917 г. мой добрый знакомый Л. Б. Яффе, с которым мы тогда редактировали антологию современной еврейской поэзии, попросил разрешения привести молодого поэта, еврея, желающего узнать мое мнение о его русских стихах. В назначенный день явился ко мне небритый, немного сутулый человек в студенческой тужурке. Он представился – Семен Родов.

По содержанию его стихи распадались на две части. Меньшая часть из описаний природы и любовной лирики. Большая была посвящена самому пламенному еврейскому национализму. В разговоре Родов отрекомендовался убежденным сионистом, что, впрочем, мне было заранее известно от Л. Б. Яффе. По форме стихи были гладко зализаны, полны дешевых, общеизвестных эфффектов, довольно кудрявы и подражательны. Родов подражал преимущественно Бальмонту. Стихи были каллиграфически переписаны в переплетенную тетрадь. Переплет был из золотой парчи.

Я указал Родову на главные недостатки его стихов, в особенности – на погрешности против русского языка. Мою критику выслушал он смиренно и с ней согласился, обещая исправиться. Он вообще держался крайне почтительно, порой даже льстиво, но не без тонкости. То и дело умел ввернуть намек на то, что состоит великим моим поклонником и всякое мое слово ценит решительно на вес золота.

Он мне не очень понравился, и никаких надежд на его поэтическую будущность я не питал, но был с ним, конечно, вежлив и доброжелателен. Одна черта была в нем весьма привлекательна: он с первых же слов заявил себя человеком религиозным. Нравилось мне и то, что он сионист. В конце концов он ко мне повадился. Водили мы разные разговоры, в том числе политические: времена были напряженные, перед самым октябрьским переворотом. Видя мое сочувствие временному правительству, Родов меня обличал в сочувствии большевикам. Подсмеивался над моей наивностью: как мог я не видеть, что Ленин – отъявленный пломбированный шпион? Словом, большевиков ненавидел Родов мучительно.

Вскоре после переворота он принес на мой суд новую поэму. Не помню ее теперь, помню только, что темой был октябрь. Ненависть автора к большевикам была кровожадна до отвращения. Заканчивалась поэма в том смысле, что, дескать, вы победили, но мы еще отомстим. Как рефрен, повторялся образ санитарного автомобиля, который носится по Москве, по Садовым:

Кр-у-гом, кр-у-гом, кр-у-гом, кр-у-гом.

Эта строчка запомнилась, как и тема автомобиля. В том, что большевики не продержатся больше двух месяцев, Родов не сомневался.

Месяцев через пять Родов мне сообщил, что поступил на службу в типографию Левинсон и даже уже состоит членом заводского комитета и вообще «ворочает делами». Для столь яростного ненавистника большевиков это было неподходящее

занятие, но Родов напомнил мне, что профсоюз печатников – меньшевицкий, а не большевицкий. По тем временам это было верно: союз красных печатников еще только намечался. Но все-таки в заводские комитеты уже тогда можно было попасть только через большевиков. Это мне показалось подозрительно, но я не стал спорить.

Почистив стихи под моим руководством, он вознамерился издать книжку, – за исключением, конечно, «октябрьской» поэмы. Я его отговаривал, говоря, что стихи еще слишком слабы. Но он заупрямился. Наконец, книжка вышла. Радостный автор поднес мне один экземпляр с самой почтительной и лестной надписью.

Это было летом 1918 г. Незадолго до того я продал свою книгу «Путем зерна» одному издателю. Внезапно издатель бежал из Москвы – тогда многие бежали. Я был огорчен, потому что и другие издательства постепенно закрывались. Внезапно Родов предложил мне издать книжку на собственный мой счет, обещая неограниченный кредит в типографии Левинсона. Он ходил ко мне чуть не каждый день, разжигая мой аппетит. Наконец, когда я решился печатать книгу, – Родов мне намекнул, да и не намекнул, а весьма ясно поставил условие: услуга за услугу: он достает мне кредит, а я пишу в «Русских Ведомостях» или во «Власти Народа» хвалебную рецензию на его стихи. Это была первая взятка, мне предложенная, и я возмутился довольно резко. Родов ушел, и больше я его у себя не видел.

Книга его прошла незамеченной. Настала осень. Мне предложили читать лекции в пролеткульте. Я пошел на организационное собрание, где слушатели и лекторы должны были впервые встретиться. Велико было мое удивление, когда, в числе пролетарских поэтов, увидел я Родова, уже не в студенческой тужурке, а в кожаной куртке. На руках нарастил он грязь и мозоли. Держался столбовым пролетарием и старым большевиком. На собрании, а потом на лекциях довольно часто и развязно обращался ко мне, называя меня уже не по имени-отчеству, а «товарищ Ходасевич». Он мне стал окончательно

мерзок. Но, признаюсь, мне стоило труда сдержаться, когда на одном из воскресных исполнительных собраний стал он при мне, ничуть не смущаясь, читать поэму «Октябрь». Это была та самая поэма, которую я знал, но перелицованная, как старая шуба, и положенная на красную подкладку. Из противобольшевицкой она сделалась яростно-большевицкой. Однако вся описательная часть была сохранена вместе с автомобилем, который носится по Садовым:

Кр-у-гом, кр-у-гом, кр-у-гом, кр-у-гом.

Затем Родов ее напечатал, и ею определилась его судьба. Никакого поэтического успеха она не имела. Пролеткультские поэты считали Родова нулем – вполне справедливо. Но поэма послужила Родову свидетельством о политической благонадежности и зацепкой. Начальство стало к нему благоволить. И вот, по мере того, как увядали последние надежды на поэтическую карьеру, открывалась перед Родовым карьера литературно-административная. Он уже пописывал какие-то статейки, что-то редактировал. В своих писаниях и действиях постепенно он становился все круче, все более проявлял марксистского рвения. В конце 1923 года сделался он одним из вдохновителей и руководителей журнала «На посту», в котором ожесточенно нападал не только на нас, «пережитков буржуазной эпохи» и «классовых врагов в литературе», но и на пролетарских писателей, которых изобличал в непонимании классовых задач. Словом – и старым, и новым одинаково мстил он за то, что его поэзия провалилась. Затем он сделался одним из зачинателей ВАППА – всероссийской ассоциации пролетарских писателей – и чуть ли не состоял одно время ее председателем. В качестве последнего приобрел он большую власть и очутился одним из пионеров классического советского доносительства. Покойный писатель Андрей Соболев, приезжавший за границу в начале 1925 г., от лица пролетарских и непролетарских писателей умолял Горького что-нибудь сделать для обуздания Семена Родова, от которого

одно время в Москве «не стало житья» по точному выражению Соболя. Я тогда же написал о Родове в одной эмигрантской газете.

Вдруг что-то в его карьере сломалось, оборвалось, по причинам, о которых я могу только догадываться. Он очутился редактором не то какой-то газеты, не то журнальчика в Сибири. Уже несколько лет о нем ничего не слышно. Однако перед тем, как исчезнуть, он успел многим и многому отплатить за то, что человечество не оцепило его поэтического таланта.

*1935 г.*

## *Памяти Б. А. Садовского*

Умер Борис Садовской, поэт, беллетрист, историк литературы. Я узнал, что он умер, случайно, в разговоре, и не мог даже выяснить, когда именно это случилось. Может быть, месяц тому назад, а может быть – год. Ни в одном советском издании, кажется, не писали о том ни строчки. Здесь не писали тоже.

В 1913 году, пишучи цикл стихов под общим заглавием «Самовар», последнее стихотворение закончил он пожеланием умереть

Тихой смертью от утара.

В этом стихе затаена была очень грустная мысль. Уже тогда, 12 лет назад, Садовской знал, что легкая, безболезненная кончина вряд ли ему суждена. Болезнь, сгубившая Гейне, Ницше, Языкова, – давала уже себя знать, Садовской очень деятельно лечился, но все, конечно, было напрасно. С 1915 года начались местные параличи (в руке, в ноге), а в 1916 году он слег окончательно, чтобы 8 или 9 последних лет провести в «матрачной могиле». Теперь, говорят, он умер на больничной койке, в том самом Нижнем-Новгороде, где в 1881 году родился.

Если не ошибаюсь, он начал печататься в 1904 году, в «Весах», преимущественно в библиографическом отделе. На первых порах он попал под деспотическое влияние Брюсова и принадлежал к числу тех «литературных мальчиков», как их тогда называли, которые, сами того не замечая, были послушным орудием в руках Брюсова. Через несколько лет, однако, Садовской «вырос», стал проявлять независимость – и его отношения с Брюсовым испортились навсегда.

Стать выдающимся, исключительно крупным писателем Садовскому не было суждено. Помимо размеров и свойств его дарования, в этом, мне думается, сыграла большую роль и его болезнь. Она не только подтачивала его силы и не давала развиваться, но и почти совсем вывела его из литературного строя,

приблизительно около 1916 года, т. е. на 35 году жизни и всего на 12 году писательства.

Тем не менее, незаметной фигурой назвать его никак невозможно. Конечно, ни школы, ни даже группы, ни даже, пожалуй, своего, ему лишь присущего стиля, Садовскому создать не довелось. Он прошел без влияния. Больше того: неизменно выступая на стороне так называемой «символистской» (не точнее ли говорить – «модернистской»?) фаланги, порою даже в стиле её самых деятельных застрельщиков, – сам Садовской, по своим писаниям, вряд ли вполне может быть отнесен к этой фаланге. Его истинные учителя не Бальмонт, не Брюсов, – а Пушкин, Фет, Вяземский, Державин. Если бы модернистов не существовало вовсе, Садовской был бы таков же, или почти таков же, каков он был. Можно, пожалуй, сказать, что Садовской поэт более девятнадцатого столетия, нежели двадцатого.

Вероятно, его дарование, как поэта, было невелико. Но оно было в высшей степени гармонично. Он умел не браться за темы, которые были бы больше его, не ставил себе задач непосильных. Поэтому, он никогда не рисковал, так сказать, сорвать голос. Стихи его никогда не изумляли, не поражали, даже и не восхищали, – но это всегда была чистая и возвышенная поэзия. Точно учитывая свои силы, Садовской в поэзии был несколько сдержан, как был и в жизненном обиходе. Если угодно, лирика его была даже суховата, – но зато читатель никогда не мог заподозрить Садовского в желании показаться не тем, что он есть, – в позерстве, притворстве, лжи. Садовской был *правдив*. А быть правдивым поэту труднее, чем об этом принято думать. В стихах своих Садовской говорил скромнее и меньше, чем мог бы сказать. А сколько стихотворцы, порой прославленные, в уме и сердце имеют лишь малую долю того, о чем сочиняют.

Кроме шести, если не ошибаюсь, книг стихов («Позднее утро», «Пятьдесят лебедей», «Пять поэм», «Самовар», «Полдень», «Обитель смерти»), Садовской написал несколько томов прозы: «Узор чутунный», «Адмиралтейская игла», «Яблочный царек», «Двуглавый орел», «Лебедины клики». Как прозаика, его часто смешивали с так называемыми «стилизаторами». Это неверно.

Лишь незначительная часть его рассказов («Из бумаг князя N...», «Три встречи с Пушкиным» и др.) могут быть названы стилизациями, т. е. представляют собою как бы документы, писанные не в нашу эпоху. Все прочее писано от лица нашего современника, и только сюжеты чаще всего взяты Садовским из XVIII и первой половины XIX столетий. Это была его излюбленная пора, изученная любовно и тщательно, описанная все с тою же присущей Садовскому сдержанностью, — но всегда — выразительно, четко, прозрачайшим русским языком.

Параллелью к художественной прозе Садовского являются его историко-литературные и критические работы, частью разбросанные по журналам, частью объединенные в сборники: «Русская Камена», «Ледоход», «Озимь». Все это плоды того же пристрастия к отошедшей русской литературе, пристрастия, всегда проступавшего и в его оценках литературы новой.

Наиболее ценными мне представляются его работы над неизученными черновиками Фета. Садовскому же, кстати сказать, принадлежит и первое опубликование документов и обстоятельств, относящихся к предсмертным минутам Фета. Как историк литературы, Садовской мог гордиться любовью П. И. Бартенева и М. О. Гершензона.

\* \* \*

В литературных кругах его порой недолюбливали. Это было несправедливо, но причин тому было несколько. В обращении был он очень сдержан, пожалуй — холоден, но это потому, что до шепетильности был целомудрен в проявлении всякого чувства. К тому же был самолюбив и побаивался, что его протянутая рука повиснет в воздухе. Запанибратства, столь свойственного российской дружбе, боялся он всего пуще. Лично мои отношения с ним тоже начались с чего-то, похожего на тайную неприязнь. Но однажды, в году 1912, разговорились в редакции «Мусгета» — и прорвалось что-то: стали друзьями — и уже навсегда.

Второй, очень важной, причиной его неладов с литераторами, были политические тяготения Садовского. Я нарочно

говору – тяготения, а не взгляды, потому что взглядов, т. е. убеждений, основанных на теории, на строго обдуманном историческом изучении, у него, пожалуй, и не было. Однако ж, любил он подчеркивать свой монархизм, свою крайнюю реакционность. Мне кажется, повторяю, что тут им руководило скорее эстетическое любование старой, великодержавной Россией, даже влюбленность в нее, – нежели серьезно обдуманное политическое мировоззрение. Как бы то ни было, монархизм в эпоху 1905–1917 гг. был слишком непопулярен, и для писателя не мог пройти безнаказанно. Садовской же еще поддразнивал. То в богемское либеральнейшее кафе на Тверском бульваре являлся в дворянской фуражке с красным околышем; то правовернейшему эсеру, чуть-чуть лишь подмигивая, расписывал он обширность своих поместий (в действительности – ничтожных); с радикальнейшей дамой заводил речь о прелестях крепостного права; притворялся антисемитом, а мне признавался, что в действительности, не любит одних лишь выкрестов; когда я переводил Бялика, Черниховского – их поэзией Садовской восхищался.

Конечно, во всем этом было много ненужного озорства. Но как холодностью, сухостью прикрывал он доброе, отзывчивое дружеское сердце, так под вызывающей крепостнической позой прятал огромнейшую, благоговейную, порою мучительную любовь к России. Никогда не забуду, как встретились мы однажды в «Летучей мыши» на репетиции. Кажется, было это осенью 1916 года. Вдребезги больной, едва передвигающий ноги, обутое в валенки (башмаков уже не мог носить), поминутно отступающий, падающий, Садовской увел меня в едва освещенный угол пустой столовой, сел за длинный, дубовый, ничем не покрытый стол – и под звуки какой-то «Катеньки», доносящейся из зрительного зала, – заговорил. С болью, с отчаянием говорил о войне, со злобной ненавистью – о Николае II. И заплакал, а плачущий Садовской – не легкое и не частое зрелище. Потом утер слезы, поглядел на меня и сказал с улыбкой:

– Это все вы Россию сгубили, проклятые либералы. Ну, да уж Бог с вами.

В последний раз я видел его летом 1917 года, в лечебнице Майкова. Он приезжал из Нижнего лечить ногу, сломанную при падении. Я ходил к нему с Гершензоном, которого теперь тоже нет уже. Совершенно лысый, с большой бородой, неожиданно темной (Садовской был белокур), он сидел на кровати, рассказывал, что изучает отцов церкви, а также много переводит с польского и английского. Очень бодрился, рассказывал о кружке молодежи, который в Нижнем собирается возле его постели – слушать лекции о русской поэзии. Но чувствовалось, что это свидание – последнее. Так и было. Я больше его не видел. Он вскоре уехал в Нижний, слег и уже не встал до кончины. Писал редко, едва выводя карандашные каракули, а то и вовсе диктуя. В конце 1918 года произошла между нами размолвка. Я послал ему приглашение участвовать в журнале «Москва», одном из последних частных периодических изданий. Садовской ответил отказом, сообщая, что дал зарок не печатать ни строчки, пока не сгинут большевики. На мои возражения он прислал новое письмо, в котором называл меня большевиком и заявлял, что прекращает всякие отношения со мною и с Гершензоном. Писал, что ему нет дела до Брюсовского большевизма: на то Брюсов – демон; нет дела до Белого: на то Белый – ангел, а вот, как не стыдно нам с Гершензоном, людям?

Обвинение было несправедливо и безоглядно. Мы решили смолчать и дать Садовскому опомниться. Через полгода он сам написал нам обоим – и дружба восстановилась. Летом 1920 года я хлопотал о некоторых делах его. Потом, по его поручению, послал ему шоколаду, но уж ответа не получил. В трудностях того времени было не до писем. Потом я уехал за границу. Думаю, что последние годы его жизни были ужасны. Если так страдали здоровые, то как должен был страдать он, в голоде, в холоде, разбитый параличем, видящий гибель и оплевание всего, что было для него свято: России, литературы. За эти страдания простятся ему все грехи, ежели они были. Те, кто знал его хорошо и близко, навсегда сберегут о нем память самую дружескую, самую любовную.

1925 г.

## *София Парнок*

В маленьком поэтическом альманахе, которого уже не помню теперь названия и который вышел в Петербурге летом 1906, а может быть, 1905 года, среди расхожих, обыкновенных стихов символической поры, отмеченных расплывчатостью мысли и неточностью словаря (я и сам писал тогда именно такие стихи) – вдруг внимание мое остановило небольшое стихотворение, стоящее как-то особняком. В нем отчетливость мысли сочеталась с такой же отчетливой формой, слегка надломленной и парадоксальной, но как нельзя более выразительной. Между бледными подражаниями Бальмонту, Брюсову, Сологубу и недавно появившемуся Блоку, пьеска выделялась своеобразием. Теперь я ее забыл, но тогда она мне запомнилась так же, как имя автора: С. Парнок. После того я довольно долго нигде не встречал этой подписи. У приезжавших в Москву петербуржцев спрашивал, знают ли они такого поэта – никто не знал. Только шесть или семь лет спустя знакомое имя вновь появилось. Поэт оказался поэтессой. Стихи Софии Парнок стали печататься в новом толстом журнале «Северные Записки», издававшемся в Петербурге под редакцией С. И. Чацкиной. В «Северных Записках» я и сам немного сотрудничал. В его критическом отделе был помещен ряд статей, подписанных Андреем Поляниным. Они принадлежали той же Софии Яковлевне Парнок. В эпоху войны перебралась она жить в Москву, мы с ней познакомились, а вскоре и подружились.

Ею было издано несколько книг стихов, неизвестных широкой публике, – тем хуже для публики. В ее поэзии, впрочем, не было ничего такого, что могло бы поразить или хотя бы занять рядового читателя. Однако ж, любители поэзии умели найти в ее стихах то «необщее выражение», которым стихи только и держатся. Не представляя собой поэтической индивидуальности слишком резкой, бросающейся в глаза, Парнок в то же время была далека от какой бы то ни было подражательности. Ее стихи, всегда умные, всегда точные, с некоторою склонностью к неожиданным рифмам, имели как бы особый свой «почерк» и

отличались той мужественной четкостью, которой так часто недостает именно поэтессам. К несчастью, говоря об ее стихах, я вынужден ограничиться этими общими замечаниями, сделанными по памяти, по тому впечатлению, которое у меня сохранилось. Не могу быть более точным, потому что не могу перечислить их: у меня под рукой нет ни строчки.

Среднего, скорее даже небольшого роста, с белокурыми волосами, зачесанными на косой пробор и на затылке связанными простым узлом; с бледным лицом, которое, казалось, никогда не было молодо, София Яковлевна не была хороша собой. Но было что-то обаятельное и необыкновенно благородное в ее серых, выпуклых глазах, смотрящих пристально, в ее тяжеловатом, «лермонтовском» взгляде, в повороте головы, слегка надменном, в незвучном, но мягком, довольно низком голосе. Ее суждения были независимы, разговор прям. Меня с нею связывали несколько лет безоблачной дружбы, которой я вправе гордиться и которую вспоминаю с глубокой сердечной благодарностью.

Я видел ее в последний раз летом 1922 года, за несколько дней до отъезда из России. Заходил к ней проститься накануне самого отъезда — и не застал дома. Несколько времени мы переписывались — пока можно было со мной переписываться. Она жаловалась на тяжелую жизнь, на изнурительную и одуряющую советскую службу. 26 августа она умерла. С великою горестью перечитываю ее письма, написанные на обрывках желтой, шероховатой советской бумаги, и перекладываю их в конверт, где хранятся у меня письма умерших. Несколько лет тому назад в нем было всего несколько листков. Теперь он уже довольно толст и увесист. Тяжестью он лежит на душе и памяти.

*1933 г.*

## *Сергей Кречетов и «Гриф»*

*Памяти Сергея Кречетова*

С Сергеем Кречетовым, скончавшимся 14 мая в Париже, познакомился я давно: весной 1902 года. Был он тогда молодым помощником присяжного поверенного, я – гимназистом шестого класса. Ему было тогда двадцать три, мне – шестнадцать. Несмотря на разницу лет, положений, характеров, взглядов, мы подружились. Нас сблизило общее увлечение поэзией. В ту пору я писал стихи «для себя» и показывал их лишь ближайшим приятелям – товарищам по гимназии: Александру Брюсову (брату Валерия) и Виктору Гофману, на которого, впрочем, я смотрел снизу вверх: он был одним классом старше меня, он уже напечатал несколько стихотворений в «Русском листке» и еще где-то, а, главное, – в том же 1902 г. его стихи появились в «Северных Цветах», издаваемых «Скорпионом» под редакцией Валерия Брюсова. Сергей Кречетов уже выступал со своими стихами публично и собирался их печатать. Весной 1903 г. им было основано книгоиздательство «Гриф»: новое пристанище литературной молодежи.

Брюсов тотчас ополчился против «Грифа», обвиняя его в эпитонстве и в повторении того, что уже сделано «Скорпионом». Была некоторая кажущаяся правота в этих обвинениях, потому что, действительно, первоначальный модернизм к тому времени уже сложился в определенную литературную школу, осознал себя, внутренне окреп. Брюсов, однако же, глубоко заблуждался, полагая, будто его внутреннее развитие закончено. Если, действительно, к тому времени вполне уже себя выразили (да и то все же вовсе не исчерпали) старшие модернисты, как Брюсов, Бальмонт, Гиппиус, Мережковский, то этим была внутренне завершена лишь первая, декадентская эпоха модернизма. Вторая, наиболее значительная, символистская, только еще зарождалась в возникающем творчестве Вячеслава Иванова, Андрея Белого, Александра Блока.

Отсюда вовсе не следует, что именно «Грифу» было суждено стать колыбелью символизма: этого не случилось – по причинам, которых я коснусь несколько ниже, но само то обстоятельство, что в момент основания «Грифа» все символистское развитие модернизма было еще впереди, доказывает, насколько неправ был Брюсов, заранее объявляя, что «Грифу» нечего делать, как только повторять путь, уже пройденный «Скорпионом». Нужно заметить, однако, что помимо этого добросовестного заблуждения, Брюсовым руководили также и другие мотивы: он чрезвычайно ревниво относился к своему положению главаря новой школы и в возникновении нового издательства видел угрозу этому положению. Он сам наотрез отказался участвовать в «Гриффе» и пытался сделать так, чтобы в нем не участвовали другие сотрудники «Скорпиона». Эта попытка тотчас же провалилась: отчасти потому, что растущему модернизму было тесно уже в одном «Скорпионе», но, главным образом, потому, что личное небескорыстие Брюсова было слишком для всех очевидно. Из сотрудников «Скорпиона» в первом альманахе «Грифа» участвовали: Бальмонт, Вячеслав Иванов, Блок, Белый, Виктор Гофман, А. Миропольский.

Я сказал выше, что «Грифу» не суждено было стать колыбелью символизма, то есть сделаться центром, из которого развивалось бы новое течение модернизма. Это произошло по причине, которую нетрудно было предвидеть: Сергей Кречетов обладал большими организаторскими способностями, но ни как поэт, ни как теоретик он, разумеется, ни в малейшей степени не мог соперничать с Брюсовым. При самой горячей любви к поэзии, он все-таки был дилетантом. Дилетантство и недостаточная образованность нередко ставили его в затруднительное положение.

В воспоминаниях Белого и в переписке Блока сказано о нем много резкого. В значительной степени эти резкости, однако же, преувеличены, что объясняется у Белого – позднейшими личными неладами, а у Блока – влиянием Белого и отсутствием исторической перспективы. Как руководитель издательства, а впоследствии – как редактор «Золотого Руна» и «Перевала», им

организованных журналов, он совершил ряд промахов. Между прочим, когда в 1908 году Блок прислал ему пачку стихов с предложением отобрать несколько стихотворений для «Перевала», а остальные вернуть, в число возвращенных попала «Незнакомка». Однако, не следует забывать, что ошибки того же порядка совершались и самим Брюсовым, и «Стихи о Прекрасной Даме», первая книга Блока, не случайно была издана в 1905 году «Грифом», а не «Скорпионом»: Кречетов чрезвычайно высоко ставил Блока в ту самую пору, когда Брюсов к нему относился весьма критически и не склонен был считать его ценным сотрудником. Этого мало: в том же самом «Перевале» начали появляться стихи автора, который незадолго до того, под скромным псевдонимом «Ник. Т – о», выпустил никем не замеченную книжечку «Тихие песни». Этот автор был Иннокентий Анненский. Впоследствии «Гриф» выпустил первое издание его «Кипарисового ларца»: заслуга огромная, неоспоримая, неотъемлемая, которой одной хватило бы на то, чтобы с избытком покрыть все издательские промахи Кречетова.

Однажды начавшись, редакторское соперничество Брюсова с Кречетовым не прекращалось долго – почти – до самой войны. Не раз мне казалось, что этим соперничеством следует объяснить и возникновение «Весов», журнала, руководимого Брюсовым и сыгравшего столь большую роль в истории символизма. Учреждая «Весь», Брюсов сделал чрезвычайно ловкий маневр: пользуясь слабостью и неавторитетностью Кречетова, как теоретика, он, так сказать, перехватил у «Грифа» те возможности, которые перед ним открывались и закрепил за собой, если не внутреннее, то организационное руководство движением, о возникновении которого узнал только в связи с возникновением «Грифа». Этим объясняется то, что в качестве редактора «Весов» Брюсов очутился возглавителем символизма, которому, в сущности, был глубоко чужд. С другой стороны, то обстоятельство, что во главе «Весов» стоял Брюсов, придало этому журналу модернистски-эkleктический характер и помешало отчетливому расчленению модернизма на декаденство и символизм, о чем весьма приходится пожалеть, потому что именно,

благодаря влиянию Брюсова, декадентское наследие тяготело над символизмом во все время его существования.

Именно потому, что расчленение модернизма не совершилось, книгоиздательство «Гриф» приняло такой же эклектический характер, какой Брюсов успел придать «Скорпиону». В обоих издательствах печатались приблизительно одни и те же авторы. В числе книг, впервые выпущенных «Грифом», надо отметить, помимо упомянутых выше, «Только любовь», «Горные вершины», «Литургию красоты» и «Фейные сказки» Бальмонта, «Возврат» и «Урну» А. Белого, «Истлевающие личины» и «Книгу сказок» Федора Сологуба. Уже в предвоенные годы «Гриф» издал ряд книг Игоря Северянина, начиная с «Громокипящего кубка». Лично я обязан Кречетову вечною благодарностью за сочувствие, оказанное им в годы моей литературной юности: в 1905 году он сам предложил мне дать стихи в третий альманах «Грифа»: это и было мое первое выступление в печати. В 1908 году он выпустил мою первую книгу стихов.

Книгоиздательство «Гриф» существовало до самой войны. Ко времени революции выпущенные им книги были распроданы полностью и, наряду с изданиями «Скорпиона», высоко ценились библиофилами.

*1937 г.*

## *Мариэтта Шагинян*

Было мне двадцать лет. Я жил в Москве, писал декадентские стихи и ничему не удивлялся, предпочитая удивлять других.

Однажды в Литературно-художественном кружке ко мне подошла незнакомая пожилая дама, вручила письмо, просила его прочесть и немедленно дать ответ. Письмо было, приблизительно, таково:

«Вы угнетаете М. и бьете ее. Я люблю ее. Я Вас вызываю. Как оружие, предлагаю рапиры. Сообщите подательнице сего, где и когда она может встретиться с Вашими секундантами. Мариэтта Шагинян».

Я сделал вид, что не удивился, но на всякий случай спросил:

– Это серьезно?

– Вполне.

Я не был знаком с Шагинян, знал только ее в лицо. Тогда, в 1907 году, это была черненькая барышня, усердная посетительница концертов, лекций и прочего. Говорили – пишет стихи. С М., о которой шла речь в письме, Шагинян тоже не была знакома, только донимала ее экзотическими письмами, объяснениями в любви, заявлениями о готовности «защитить до последней капли крови», в чем, разумеется, М. не имела ни малейшей надобности.

Я спрятал письмо в карман и сказал секундантше:

– Передайте г-же Шагинян, что я с барышнями не дерусь.

Месяца через три швейцар мне вручил букетик фиалок:

– Занесла барышня, чернявенькая, глухая, велела нам передать, а фамилии не сказала.

Так мы помирились, – а знакомы всё не были. Еще через несколько месяцев познакомились. Потом подружились.

Мне нравилась Мариэтта. Это, можно сказать, была ходячая восемнадцатилетняя путаница из бесчисленных идей, из всевозможнейших «измов» и «анств», которые она схватывала на лету и усваивала стремительно, чтобы стремительно же отбросить. Кроме того, она писала стихи, изучала теорию музыки и занималась фехтованием, а также, кажется, математикой. В иде-

ях, теориях, школах, науках и направлениях она разбиралась плохо, но всегда была чем-нибудь обуреваема. Так же плохо разбиралась и в людях, в их отношениях, но имела доброе сердце и, размахивая картонным мечом, то и дело мчалась кого-нибудь защищать или поражать. И как-то всегда выходило так, что в конце концов она поражала добродетель и защищала злодея. Но все это делалось от чистого сердца и с наилучшими намерениями.

Неизменно пребывая в экстатическом состоянии человека, наконец-то обретшего истину, она столь же неизменно жалела меня, как пребывающего в безвыходных заблуждениях. Качала головой, приговаривала:

– Ах, бедный Владя! Что мне с вами делать?

– Спасибо вам, Мариэтта, но я вовсе не погибаю.

– Нет, вы погибаете. Это очень печально, но это так.

Под конец, я перестал спорить: понял, что нравится ей играть, будто я гибну, а она будто это видит, только помочь не может. Так это навсегда и осталось.

Она всегда была от кого-нибудь «без ума». Иногда это были люди, вовсе ей незнакомые, как, например, та М., из-за которой мы должны были драться на рапирах. В начале нашего знакомства кумиром был С. В. Потресов-Яблоновский.

– Это изумительный человек, Владя. Надо его знать, как я знаю.

– Я очень уважаю Сергея Викторовича...

– Нет, вы не можете его оценить. Молчите.

– Я...

– Прошу вас, молчите. Вы совершенно погибаете, бедный Владя. Что с Вами делать?

Труднее всего приходилось мне, когда С. В. Яблоновского сменила З. Н. Гишпиус. Немедленно выяснилось, что я: 1) безнадежно темен в делах религии, 2) поставил своей целью искоренить христианство, и, что всего хуже 3) злоумышляю против З. Н. Гишпиус лично, так ее ненавижу. Никаких оправданий Мариэтта не слушала. И не успевал я раскрыть рот – Мариэтта уже обличает меня:

– Опомнитесь, Владя. Подумайте, что вас ждет. Как ужасно, что вы погибли!

Лишь после долгих уверений и покаянных вздохов моих, мне было позволено издали смотреть на коробочку с письмами З.Н. и на ее портрет.

Вдруг, кажется, в конце 1909 года, Андрей Белый сменил З. Н. Гиппиус. Мариэтта не была, или почти не была с ним знакома. Зато, в зимние ночи, в шубе и в меховой шапочке, которую, кланяясь, снимала она – по-мужски, с толщенной дубинкой в руках Мариэтта часами сиживала на тумбе в Никольском переулке, недалеко от беловского подъезда.

– Представьте, вчера меня приняли за дворника!

Мне позволялось говорить о Белом, пока Мариэтта не познакомилась с ним. С этого дня оказалось, что между ними какие-то такие чрезвычайные отношения «о последнем», что всякое мое приближение к этой теме – кощунство. И опять:

– Владя, вы погибаете!

Безгранично было количество писем к Белому. Непроницаема была тайна их разговоров. Я бывал у Белого, он у меня. Но Мариэтта пуще всего на свете боялась, как бы я с ним не встретился у нее. Нас она принимала порознь, все, что касалось Белого, было окружено мраком и шепотом.

Это был вообще почему-то период тайн. Мариэтта снимала комнату в каком-то огромном, зловещем, полуразрушенном особняке, в глубине церковного двора. К ней надо было проходить какими-то кухнями, залами, закоулками, в которых, вероятно, летали летучие мыши. Крыс, во всяком случае, были целые полчища. Старая, грязная, черная, бородатая женщина, цыганка, армянка или еврейка, вечно пьяная, была квартирной хозяйкой. Однажды я постучал в дверь к Мариэтте. Она высунула голову:

– Это вы? Сейчас нельзя. Подождите. Пойдите по коридору, вторая дверь налево. Это чулан. Там темно. Против двери сундук. Сядьте на него и не шевелитесь, а то что-нибудь опрокинете. Я вас позову.

Ощупью нашел дверь, вошел. На сундуке смутно виден какой-то тюк, вероятно узел с одеждой. Я взобрался на него и си-

жу. Темно. Вдруг подо мною зашевелилось, и женский пропойный бас произнес:

– Кто там на минэ сидит?

Рекомендоваться в подобных случаях нет никакого смысла. Но я растерялся, посмотрел на свое студенческое пальто и, не слезая с дамы, ответил обще:

– Студент.

Мариэтта пришла за мной. Я рассказал ей о приключении. Она сделала печальное лицо:

– Все это ничуть не смешно. Вы погибли, Владя. Но хуже всего, что Боря (Андрей Белый) тоже погиб. А для вас я устрою елочку.

И устроила. Угощала пряниками, жалела:

– Ничего-то вы, бедняжка, не понимаете.

После Андрея Белого шел Рахманинов, Мариэтта читала мне лекции о музыке, качала головой:

– Бедный Владя, бедный Владя!

За Рахманиновым Э. К. Метнер. Следовательно, мы говорили о Гете. Мариэтта убивалась:

– Бедняжка, вы погибаете: вы совсем не так понимаете вторую часть Фауста!

Так дожили мы до 1911 года – и неожиданно почти потеряли друг друга из виду.

В конце 1920 г., уже в Петербурге, однажды мне показали номер тамошней «Правды» с отвратительнейшим доносом на интеллигенцию, которая, чтобы насолить большевикам, «сама себя саботирует», – припрятывает продукты, мыло, голодает и вымирает назло большевикам, а могла бы жить припеваючи. Подпись: Мариэтта Шагинян.

Через несколько дней встречаю ее. Спрашиваю, – как ей не стыдно. Говорю, что пора бы уже вырасти. Она хватается за голову:

– Донос? Ах, что я наделала! Это ужасно! Я только что из Ростова, я ничего не знаю, как у вас тут. Я хотела образумить интеллигенцию, для нее же самой. Все мы в долгу перед

народом, надо служить народу. Массы... Маркс... Иисус Христос... Товарищ Антонов...

Выяснилось: на юге она писала патриотические статьи. Но пришли большевики, и она познакомилась с каким-то добродетельным товарищем Антоновым (кажется, так), таким большевистским Робеспьером, неподкупным до последней степени. И конечно – сделалась большевичкой. Исполкомские мудрости перепутались в ней с христианством, народничеством и прочим, оставшимся еще от былых времен. О своем фельетоне она сокрушалась:

– Значит, это тактическая ошибка. Но по существу я права. Ах, бедный Владя, как жаль, что вы еще не сделали коммунистом!

Вскоре она поселилась в «Доме искусств», где я жил. Ходила к большевикам проповедовать христианство. Ходила ко мне – восхищаться А. Л. Волыньским. Развенчала Волынского. Влюбилась в почтеннейшего Л. Г. Дейча. Глухота ее сильно увеличилась. Чтобы с ней говорить, надо было садиться рядом, вплотную. В ее огромной холодной комнате часами сживали они с Дейчем. Мариэтта рассказывала:

– Это святой старик! Он учит меня марксизму, а я его христианству. А вы... бедный Владя, вы погибаете!

В то время я много писал стихов. Иногда, по старой памяти, показывал их Мариэтте. Она прочитывала, качала головой:

– Ваши стихи больше вас. Вы сами не понимаете того, что пишете. Когда-нибудь я вам объясню...

По обыкновению, кидалась она защищать угнетенных, помогать слабым, – всегда невпопад. Возлюбила мерзкую, грязную бабу, одну из горничных. Получая много пайков, делилась с этой же горничной, которая была известна тем, что обкрадывала обитателей «Дома искусств», голодных писателей. Наконец, дочиста обокрала и Шагинян.

«Писательских» пайков было в Петербурге 25. Когда я туда перебрался, они были разобраны. Было решено дать мне паек Блока или Гумилева, а одного из них перевести на «ученый», т. к. они читали лекции в разных тогдашних институтах. Оста-

новились на Гумилеве, что для него было даже выгодно, ибо «ученым» выдавалась одежда, которой писатели не получали.

Однажды, дня через два, сидели мы с Шагинян в приемной «Всемирной Литературь», у окна, на плетеном диванчике. Вошел Гумилев, неся какие-то щетки. Я спрашиваю:

– Что это у вас за щетки?

Гумилев улыбается и отвечает:

– В «Доме Ученых» выдали. Ведь писательский паек у меня отняли, вот и приходится пробавляться щетками.

Это было вскоре после появления Мариэтты в Петербурге. Она услышала разговор, и когда Гумилев прошел мимо, спросила взволнованно:

– Владя, кто это?

– Гумилев.

– А почему у него отняли паек?

– Отдали другому,

– Кому?

– Мне.

– Владя, как вам не стыдно! И вы взяли?

– Ничего не поделаешь, Мариэтта; борьба за существование.

– Владя, это бессовестно!

Она готова была куда-то помчаться, протестовать, вступаться за Гумилева. Я с трудом объяснил ей, в чем дело. Успокоившись, она погладила меня по голове и сказала:

– Бедный Владя, вы все такой же заблудший.

А когда Гумилева убили, она не постеснялась административным путем выселить его вдову и занять гумилевские комнаты, вселив туда своих родственников... Тоже – с размаху и не подумав.

Все это вспомнилось мне по поводу фразы, которую Шагинян напечатала недавно в каком-то советском журнале: «Многие из нас, не поняв, что потеряли читателя, вообразили, что потеряли свободу».

По поводу этой фразы я слышал немало негодующих слов. Сама по себе она, конечно, отвратительна. Но я вспоминаю

автора – и мне хочется улыбнуться. Не без горечи, может быть, – но все-таки улыбнуться.

Бедная Мариэтта! Она, несомненно, думает, будто к этой мысли пришла таким-то и таким-то путем, а высказала ее потому-то и потому-то. А я знаю, что «путей» никаких не было, а была и есть обычная путаница в ее голове. И фразу эту зло-счастную, конечно, она не «высказала», а выпалила, по обычаю – невпопад, по обычаю – с чужих слов, которые она умеет повторять или развивать даже совсем не без таланта.

Кто знает имя ее сегодняшнего кумира? И что сама она понимает в этом кумире? Под чью диктовку пишет она свои статьи, сама этого не замечая? Под чью диктовку будет писать их завтра?

*1924 г.*

## Горький

Год тому назад мною были публично прочитаны, а затем напечатаны в «Современных Записках» воспоминания о Максиме Горьком. В этих воспоминаниях я старался представить лишь общий психологический облик писателя, как я его видел и понимал, не касаясь и не намереваясь касаться всей политической стороны его жизни. Однако, просматривая разные советские издания, в которых не прекращается очень детальное изучение не только творчества, но и биографии Горького, я убедился, что вся эпоха его пребывания за границей, начиная с 1921 г., либо обходится молчанием, либо, что еще хуже, дается в неверном освещении. Читателю советских изданий неизменно внушается мысль, что Горький покинул советскую Россию единственно по причине расстроенного здоровья, во все время своего пребывания за границей не терял самой тесной связи с правительством и вернулся тотчас, как только выздоровел. В действительности все это было совсем не так. Я, однако же, не решился бы обвинять авторов в сознательной лжи. Весьма вероятно, что документы, могущие осветить истинное положение дел, в СССР отчасти уничтожены, отчасти скрыты от тех, кто там пишет о Горьком. Свидетели, от которых можно бы узнать правду, сравнительно весьма немногочисленны, но и они молчат и будут молчать: одни – потому что заинтересованы в сокрытии истины, другие – потому что боятся ее хотя бы приоткрыть.

Ввиду того, что именно эта потаенная эпоха горьковской жизни в значительной части прошла у меня на глазах, мне показалось, что мой долг сохранить для будущего хотя бы те сведения, которыми я располагаю.

Мой рассказ имеет мемуарный, а не исследовательский характер. Вследствие этого он, во-первых, не простирается за хронологические пределы моего личного общения с Горьким. Во-вторых, и я это в особенности подчеркиваю, он отнюдь не претендует на то, чтобы даже за этот период охватить всю тему, представить отношения Горького с властью во всей полноте.

Для такого охвата я даже и не располагаю надлежащими сведениями, потому что знаю, что многое, происходившее в ту пору, остается мне неизвестно. В-третьих, именно в силу того, что я оперирую не со всей суммой данных, а лишь с теми, которые входят в состав моих личных воспоминаний, я воздерживаюсь от широких обобщений и выводов.

Наконец, я считаю долгом сделать еще одно замечание. Весьма многое из того, о чем я рассказываю, фактически происходило вне моего присутствия и непосредственного созерцания. Однако то, чему я сам не был и не мог быть свидетелем, сообщается не иначе, как со слов самого Горького, либо со слов других действующих лиц, либо на основании имеющихся у меня документов, в том числе — писем Горького. Никакими печатными материалами и сведениями из вторых рук я не пользуюсь.

\* \* \*

Осенью 1918 года меня вызвали в Петербург и предложили заведывать московским отделением издательства «Всемирная Литература», только что возникшего под эгидой Максима Горького. Приняв предложение, я вернулся в Москву. Работа моя протекала в постоянном и тесном общении с петербургским правлением. Я каждый день сносился с ним по прямому проводу, установленному в моем кабинете.

Постепенно мне стало ясно, что Горький, хотя ему принадлежала идея издательства, мало интересуется его текущими делами, которые находились в руках близких к нему людей: А. Н. Тихонова и З. И. Гржебина.

«Всемирная Литература» числилась состоящей «при народном комиссариате по просвещению», но фактически была автономна. Вся связь между нею и наркомпросом выражалась в том, что правительство оплачивало ее расходы, а ее сотрудники числились на советской службе. С того момента, как было учреждено Государственное издательство, то есть с весны 1919 г., ассигновки на «Всемирную Литературу» шли через Госиздат, и я туда обращался всякий раз, как мне нужны были деньги. Осенью того же года Н... однажды позвонил мне по

телефону и сказал следующее: «На Петербург наступают войска ген. Юденича. Петербург, вероятно, будет ими временно занят, благодаря чему откроется финляндская граница. Необходимо воспользоваться этим случаем, чтобы закупить в Финляндии партию бумаги для «Всемирной Литературы». Однако на советские деньги там ничего не продают. Поэтому отправляйтесь немедленно в Госиздат и потребуйте, чтобы вам выдали необходимую сумму денежными знаками Временного Правительства. Получив деньги, известите меня, а я вам тогда скажу, как их сюда переслать».

Не помню, какую сумму назвал Н... Во всяком случае, она была очень велика и в несколько раз превышала те суммы, которые мне обычно приходилось брать в Государственном Издательстве. Кроме того, деньги Временного Правительства в ту пору еще имели мистическую, но почти валютную ценность и расходовались только на самые важные государственные и партийные надобности. Всякие частные операции с ними сурово преследовались, и даже самое хранение их считалось чуть ли не преступлением. Кроме этого, мне показалось рискованно идти в советское учреждение и там развивать планы, основанные на предстоящих неудачах красной армии. Поэтому я ответил Н..., что прошу его требование изложить на бумаге и прислать мне не иначе, как за подписью самого Горького. После некоторых препирательств Н... повесил трубку. Однако на другой день бумага пришла, и мне ничего не оставалось, как отправиться с ней в Госиздат.

Заведывал им В. В. Воровский, тот самый, который впоследствии был убит в Лозанне. Это был сухощавый, сутуловатый человек приметно слабого здоровья. Он элегантно одевался и тщательно ухаживал за своей седеющей бородой – может быть, даже слегка подвивал ее – и за своими красивыми, породистыми руками. Он был образован и хорошо воспитан. У нас сложились добрые отношения. Раз или два случалось мне встретить его на Пречистенском бульваре и сидеть с ним на скамейке у памятника Гоголю. Когда я представил ему горьковскую бумагу,

он прочел ее, пощелкал по ней пальцем, покачал головой и сказал, улыбаясь (помню его слова с абсолютной точностью):

– Ай, ай, ай! Ай да Алексей Максимович! Так сам и просится в Чрезвычайку!

Потом, обратясь ко мне, он прибавил заботливо и серьезно:

– Денег, конечно, им не дадут, и бумажку эту я уничтожу. А если они будут настаивать на дальнейших хлопотах, то скажите им, что лично вы не хотите путаться в это дело.

Горьковская бумага, однако, не была уничтожена, а попала в руки секретарю Воровского, и несколько времени спустя, когда уже и Юденич откатился от Петербурга, в «Правде» (а может быть – в «Известиях») появилась статья на тему о том, что до сих пор существует в РСФСР частное издательство Гржебина, набивающего себе карманы на заказах советского правительства – в частности комиссариата по военным делам; что тот же Гржебин ворочает делами «Всемирной Литературы», с деньгами которой недавно собирался перебежать к Юденичу, – и что всем этим махинациям покровительствует Максим Горький. Горький тотчас примчался в Москву с Гржебиным и, кажется, Десницким. Историю ему удалось замять, но с большим трудом и только благодаря вмешательству Ленина. Вообще в Кремле к нему относились подозрительно, а порой и враждебно. Главные интриги шли, видимо, со стороны Каменевых.

Наркомпрос разделялся на несколько отделов, в числе которых был театральный, так наз. Тео. В нем номинально сосредоточивалось управление всеми театрами республики. На деле Тео ничем не управлял, отчасти по общим тогдашним условиям, отчасти же потому, что во главе его стояла Ольга Давыдовна Каменева, жена председателя московского Совета и сестра Троцкого, не имевшая о театре ни малейшего понятия, занявшая свой высокий пост благодаря влиянию брата и мужа. Назначение Каменевой причиняло страшные душевные муки жене Горького, Марии Федоровне Андреевой, считавшей, что возглавление Тео по праву должно принадлежать ей (что отчасти было бы справедливо, потому, что она, как-никак, бывшая артистка, а Каменева – не то акушерка, не то зубной врач).

Вражда между высокопоставленными дамами не затихала. Мария Федоровна вела под Каменеву подкопы, но та стойко оборонялась, в чем ей помогал В. Э. Мейерхольт. Однажды в Петербурге, в квартире Горького, симпровизировал я на эту тему целую былинку, из которой помню лишь несколько строк:

Как восплачется свет-княгинюшка,  
Свет-княгинюшка Ольга Давыдовна:  
«Уж ты гой еси, Марахол Марахолович,  
Славный богатырь наш, скоморошина!  
Ты седлай свою коня борзого,  
Ты скачи ко мне на Москва-реку!  
Как Андреева, ведьма лютая,  
Извести меня обещалася,  
Из Тео меня хочет вымести,  
Из Кремля меня хочет вытрясти,  
Малых детушек в полон забрать!»  
Седлал Марахол коня борзого  
Прискакал тогда на Москва-реку.  
А и брал он тую Андрееву  
За белы груди да за косыньки  
Подымал выше лесу синего,  
Ударял ее об сыру землю – и т. д.

Больше всего, конечно, помогало Каменевой то, что Луначарский, тогдашний комиссар народного просвещения, хорошо относился к Горькому, но был в дурных отношениях с его женой. Причина этих неладов была вполне анекдотическая. В эпоху первой эмиграции существовала, как известно, большевицкая колония на Капри. Жил там и Луначарский с семьей. Однажды у него умер ребенок. Похоронить его по христианскому обряду Луначарский, как атеист, не мог, а просто зарыть трупик в землю все же казалось ему нехорошо. Чудак додумался до того, что стал над мертвым младенцем читать стихи Бальмонта. Мария Федоровна Андреева подняла его на смех при всей честной компании. Произошла ссора, кончившаяся по тогдашнему обычаю третейским судом. Противников помирили, но сам Горький мне говорил, что Луначарский навсегда

возненавидел Марию Федоровну и именно по этой причине обошел ее при назначении заведующей Тео.

В феврале 1920 г., когда уже Каменеву перевели из Тео в отдел социального обеспечения, я однажды имел с нею длинную и в некоторых отношениях любопытную беседу, во время которой она, между прочим, спросила, продолжаю ли я заведывать «Всемирной Литературой». На мой утвердительный ответ она сказала:

– Удивляюсь, как вы можете зняться с Горьким. Он только и делает, что покрывает мошенников – и сам такой же мошенник. Если бы не Владимир Ильич, он давно бы сидел в тюрьме!

\* \* \*

Помимо личного раздражения, в словах Каменевой, может быть, следует расслышать отголосок другой, более упорной и деятельной вражды, несомненно, сыгравшей важнейшую роль в жизни Горького и в истории его отношений с советским правительством. Я имею в виду его нелады с Григорием Зиновьевым, всесильным в ту пору комиссаром Северной области, смотревшим на Петербург, как на свою вотчину.

Когда, почему и как начали враждовать Горький с Зиновьевым, я не знаю. Возможно, что это были тоже давние счеты, восходящие к дореволюционной поре; возможно, что они возникли в 1917–1918 годах, когда Горький стоял во главе газеты «Новая Жизнь», отчасти оппозиционной по отношению к ленинской партии и закрытой советским правительством одновременно с другими оппозиционными органами печати. Во всяком случае, к осени 1920 года, когда я переселился из Москвы в Петербург, до открытой войны дело еще не доходило, но Зиновьев старался вредить Горькому где мог и как мог. Арестованным, за которых хлопотал Горький, нередко грозила худшая участь, чем если бы он за них не хлопотал. Продовольствие, топливо и одежда, которые Горький с величайшим трудом добывал для ученых, писателей и художников, перехватывались по распоряжению Зиновьева и распределялись неизвестно по каким учреждениям. Ища защиты у Ленина, Горький то и дело

звонил к нему по телефону, писал письма и лично ездил в Москву. Нельзя отрицать, что Ленин старался прийти ему на помощь, но до того, чтобы по-настоящему обуздать Зиновьева, не доходил никогда, потому что, конечно, ценил Горького, как писателя, а Зиновьева – как испытанного большевика, который был ему нужнее. Недавно в журнале «Звезда» один ученый с наивным умилением вспоминал, как он с Горьким был на приеме у Ленина и как Ленин участливо советовал Горькому поехать за границу – отдыхать и лечиться.

Я очень хорошо помню, как эти советы огорчали и раздражали Горького, который в них видел желание избавиться от назойливого ходатая за «врагов» и жалобщика на Зиновьева. Зиновьев со своей стороны не унимался. Возможно, что легкие поражения, которые порой наносил ему Горький, даже еще увеличивали его энергию. Дерзость его доходила до того, что его агенты перлюстрировали Горьковскую переписку – в том числе письма самого Ленина. Эти письма Ленин иногда посылал в конвертах, по всем направлениям прошитых ниткой, концы которой припечатывались сургучными печатями. И все-таки Зиновьев каким-то образом ухитрялся их прочитывать – об этом впоследствии рассказывал мне сам Горький. Незадолго до моего приезда Зиновьев устроил в густо и пестро населенной квартире Горького повальный обыск. В ту же пору до Горького дошли сведения, что Зиновьев грозит арестовать «некоторых людей, близких к Горькому». Кто здесь имелся в виду? Несомненно – Гржебин и Тихонов, но весьма вероятно и то, что замышлялся еще один удар – можно сказать, прямо в сердце Алексея Максимова.

Несколько лет тому назад вышла книга английского дипломата Локкарта – воспоминания о пребывании в советской России. В этой книге фигурирует между прочим одна русская дама – под условным именем Мара. Оставим ей это имя, уже в некотором роде освященное традицией...

Личной особенностью Мары надо признать исключительный дар достигать поставленных целей. При этом она всегда умела казаться почти беззаботной, что надо приписать

незаурядному уменю притворяться и замечательной выдержке. Образование она получила «домашнее», но благодаря большому такту ей удавалось казаться осведомленной в любом предмете, о котором шла речь. Она свободно говорила по-английски, по-немецки, по-французски и на моих глазах в два-три месяца заговорила по-итальянски. Хуже всего она говорила по-русски — с резким иностранным акцентом и явными переводами с английского: «вы это вынули из моего рта», «он сел на свои большие лошади» и т. п.

Она рано вышла замуж, после чего жила в Берлине, где ее муж был одним из секретарей русского посольства. Тесные связи с высшим берлинским обществом сохранила она до сих пор. В начале войны она приехала в Петербург, выказала себя горячею патриоткой, была сестрой милосердия в великосветском госпитале, которым заведывала бар. В. И. Иксуль, вступила в только что возникшее общество англо-русского сближения и завязала дружеские связи в английском посольстве. В 1917 г. ее муж был убит крестьянами у себя в имении — под Ревелем. Ей было тогда лет двадцать семь. В момент октябрьской революции она сблизилась с упомянутым Локкартом, который в качестве поверенного в делах заменил уехавшего английского посла Бьюкенена. Вместе с Локкартом она переехала в Москву и вместе с ним была арестована большевиками, а затем отпущена на свободу.

Покидая Россию, Локкарт не мог ее взять с собой. Выйдя из Чека, она поехала в Петербург, где писатель Корней Чуковский, знавший ее по англо-русскому обществу, достал ей работу во «Всемирной Литературе» и познакомил с Горьким. Вскоре она пыталась бежать за границу, но была схвачена и очутилась в Чека на Гороховой. Благодаря хлопотам Горького ее выпустили. Она поселилась в его квартире на положении секретарши. Вот ее-то Зиновьев и мечтал посадить еще раз.

Время от времени у Горького собирались петербургские большевики, состоявшие в оппозиции к Зиновьеву, большою частью лично им обиженные: Лашевич, Бакаев, Зорин, Гессен и другие. Однако им приходилось ограничиваться злословием

по адресу Зиновьева, чтением стихов, в которых он высмеивался, и тому подобными невинными вещами. У меня создалось впечатление, что они вели на заводах некоторую осторожную агитацию против Зиновьева. Но дальше этого дело не шло, для настоящей борьбы сил не было.

Вскоре, однако, на горизонте оппозиции блеснул луч света. Общеизвестна расправа, учиненная Зиновьевым над матросами, захваченными в плен во время кронштадтского восстания. Я сам видел, как одну партию пленников вели под конвоем, и они, грозя кулаками встречным рабочим, кричали:

– Предатели! Сволочи!

Уцелевшие матросы в переодетом виде ходили к Горькому, и, наконец, в руках у него очутились документы и показания, уличавшие Зиновьева не только в безжалостных и бессудных расстрелах, но и в том, что самое восстание было отчасти им спровоцировано. Каковы были при этом цели Зиновьева – не знаю, но о самом факте провокации Горький мне говорил много раз. С добытыми документами Горький решил ехать в Москву. По-видимому, он надеялся, что на этот раз Зиновьеву несдобровать.

В Москве, как всегда, он остановился у Екатерины Павловны Пешковой, своей первой жены. У нее же на квартире состоялось совещание, на котором присутствовали: Ленин, приехавший без всякой охраны, Дзержинский, рядом с шофером которого сидел вооруженный чекист, и Троцкий, за несколько минут до приезда которого целый отряд красноармейцев оцепил весь дом. Выслушали доклад Горького и решили, что надо выслушать Зиновьева. Его вызвали в Москву. В первом же заседании он разразился сердечным припадком – по мнению Горького симулированным (хотя он и в самом деле страдал сердечной болезнью). Кончилось дело тем, что Зиновьева пожурили и отпустили с миром. Нельзя было сомневаться, что теперь Зиновьев сумеет Алексею Максимовичу отплатить. Боясь за Мару, Горький потребовал для нее заграничный паспорт, который ему тотчас выдали в компенсацию за понесенное

поражение. Горький привез паспорт в Петербург, и Мара была эвакуирована в Эстонию. Мы еще к ней вернемся.

\* \* \*

Весной того же года Луначарский подал в Политбюро заявление, поддержанное Горьким, – о необходимости выпустить за границу больных писателей: Сологуба и Блока. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором, вновь хлопоча за Блока, ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что же вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете Сологуба, меж тем, как Блок – поэт революции, наша гордость, о нем была даже статья в Таймс'е, а Сологуб – наш враг, ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов – и т. д.

В один из самых последних дней июня я зашел к Горькому. После ужина он повел меня в свой маленький тесный кабинет, говоря: «Пойдемте, я вам покажу птуковину», – и показал мне копию письма Луначарского, датированного 22 числом. Пока я читал, он несколько раз спрашивал: «Каково? Хорошо?» Прочитав, я сказал: «Осел». – «Не осел, а сукин сын», – возразил он, покраснев, и тотчас прибавил: «Извините, пожалуйста». (Он не любил бранных слов и почти никогда их не употреблял).

Мы вернулись в столовую. За чаем он хмурился, не принимал участия в разговоре, иногда вставал и, ходя по комнате, бормотал уже во множественном числе: «Ослы! Ослы!»

Все это лето он был в подавленном настроении. Сологубовская история была, однако ж, ничто по сравнению с неприятностями, которые еще предстояло ему пережить. Только что описанный мой визит был прощальный: я собирался в деревню. Дней через пять, в самую ночь перед моим отъездом из Петербурга, были произведены многочисленные аресты по знаменитому таганцевскому делу. Был схвачен целый ряд представителей интеллигенции, в том числе Гумилев и старый приятель Горького Тихвинский. Впоследствии обвиняли Горького

в том, что по этому делу он не проявил достаточно энергии. Повторяю – меня не было в Петербурге, я вернулся туда только после того, как осужденные были уже расстреляны. Однако на основании самых достоверных источников, я утверждаю, что Горький делал неслыханные усилия, чтобы спасти привлеченных по делу, но его авторитет в Москве был уже равен почти нулю. Не могу этого утверждать положительно, но вполне допускаю, что, в связи с Зиновьевым, заступничество Горького даже еще ухудшило положение осужденных.

Слухи о том, что его обвиняют в бездействии, доходили до Горького. Обычно он мало, даже слишком мало считался с общественным мнением, даже любил его раздражать, но на этот раз переживал напраслину очень тяжело, хотя по обыкновению своему не оправдывался. Может быть, собственное непреодолимое упрямство его мучило. Между тем, на него надвигалась еще беда, еще одно поражение – может быть, самое тяжкое из всех понесенных им в Кремле.

Уже с весны сделалось невозможно скрывать, что в России, в особенности на Волге, на Украине, в Крыму, свирепствует голод. В Кремле, наконец, переполошились и решили, что без содействия остатков общественности обойтись невозможно. Привлечение общественных сил было необходимо еще для того, чтобы заручиться доверием иностранцев и получить помощь из-за границы. Каменев, не без ловкости притворявшийся другом и заступником интеллигенции, стал нащупывать почву среди ее представителей, более или менее загнанных в подполье. Привлекли к делу Горького. Его призыв, обращенный к интеллигенции, еще раз возымел действие. Образовался Всероссийский Комитет Помощи Голодающим, виднейшими деятелями которого были Прокопович, Кускова и Кишкин. По начальным слогам этих фамилий Комитет тотчас получил дружески-комическую, но провиденциальную кличку: Прокукиш. С готовностью, даже с рвением шли в Комитет писатели, публицисты, врачи, адвокаты, учителя и т. д. Одних привлекала гуманная цель. Мечты других, может быть, простирались далее. Казалось – лиха беда начать, а уж там, однажды вступив в

контакт с «живыми силами страны», советская власть будет в этом направлении эволюционировать, – замерзший мотор общестственности заработает, если всю машину немножечко потолкать плечом. Нэп, незадолго перед тем объявленный, еще более окрылял мечты. В воздухе пахло «весной», точь-в-точь, как в 1904 году. Скептиков не слушали. Председателем Комитета избрали Каменева и заседали с упоением. Говорили красиво, много, с многозначительными намеками. Когда за границей узнали о возрождении общестственности, а болтуны высказались, Чека, разумеется, всех арестовала гуртом, во время заседания, не тронув лишь «председателя». При этой оказии кто-то что-то еще сказал, кто-то успел отпустить «смелую» шуточку, а затем отправились в тюрьму. Горький был в это время в Москве – а может быть, поехал туда, узнав о происшествии. Его стыду и досаде не было границ. Встретив Каменева в кремлевской столовой, он сказал ему со слезами:

– Вы сделали меня провокатором. Этого со мной еще не случалось.

Вернувшись в Петербург в конце сентября или в начале октября, Горький, наконец, понял, что пора воспользоваться советами Ленина, и через несколько дней покинул советскую Россию. Он поехал в Германию.

\* \* \*

Я собрался за границу летом 1922 года. Кое-кто из общих друзей просили меня отвезти Алексею Максимовичу письма, которых нельзя было доверить почте. Принять подобное поручение теперь было сумасшествием. Но те времена были еще идиллические. Я преспокойно довез письма до Берлина. В день приезда я написал Горькому в приморское местечко Герингсдорф, спрашивая, когда можно его застать. Он ответил: «Если это удобно для вас, приезжайте в четверг... Очень рад буду видеть Вас и рад, что Вы, наконец, отдохнете». Затем шла удивившая меня фраза: «До свидания со мной – подождите принимать предложения «Накануне»».

Как все помнят, «Накануне» была сменовеховская газета, выходившая в Берлине под редакцией Алексея Толстого. Толстого я еще не видал, и никаких предложений от него не получал. Мне показалось странно, что Горький так забегают вперед. Приехав к нему, я все понял: по отношению к советскому правительству он оказался настроен еще менее сочувственно, чем я. Подробно расспрашивая о петербургских писателях, преимущественно о молодежи, чуть ли не по поводу каждого прибавлял: «Эх, хорошо бы его сюда вызволить!»

В сентябре месяце, когда Каменев и Зиновьев разгромили литературные организации Москвы и Петербурга и устроили знаменитую высылку писателей за границу, он сказал, что, конечно, высланным здесь будет лучше, но Каменева и Зиновьева ругал последними словами. И вдруг прибавил, что было бы хорошо, если бы я написал об этом, попутно упомянув о провокации Зиновьева в Кронштадтской истории. На мой удивленный вопрос – где же написать? – он ответил: «Да хотя бы в «Голосе России». Бездарная газета, но порядочная». После некоторых колебаний я статью написал и напечатал. Так, под прямым воздействием Горького, началось мое, сперва тайное, под псевдонимом, участие в эмигрантской печати.

Позднею осенью Горький меня убедил переселиться в городок Сааров, в двух часах езды от Берлина. Мы виделись ежедневно. Вскоре возникла мысль об издании журнала. Принадлежала она не Горькому, а Виктору Шкловскому, бежавшему из России примерно за год до этого (он был привлечен по делу эсеров). Надо принять во внимание, что до 1922 г. в России существовала только военная цензура. В 1922 г. была введена общая, весьма придирчивая и совершенно идиотская, как все ей подобные. Сверх того, частные издательства и журналы прекратили существование, а казенные все откровеннее требовали агиток. Вот и придумал Шкловский издавать такой журнал, в котором писатели, живущие в сов. России, могли бы через голову цензуры и казенных редакций печатать вещи, не содержащие, разумеется, выпадов против власти, но все же написанные не по ее указке. Теперь такая затея показалась бы

дикостью. Тогда она была вполне осуществима. Издательство «Слово» выпустило книгу Ахматовой и переслало ей гонорар. Петербургские поэты открыто посылали стихи в берлинский журнал «Сполохи». Гершензон, приехавший в Германию на несколько месяцев для лечения, дал статью даже в «Современные Записки». Достать необходимые средства также не представляло труда, потому что советское правительство усердно распускало слухи, что оно намерено допускать в Россию зарубежные издания, не содержащие агитации против власти и отпечатанные по новой орфографии. Разумеется, эти слухи не вязались с введением внутренней цензуры, но к неувязкам в распоряжениях Москвы привыкли. Впоследствии стало ясно, что тут действовала чистейшая провокация: в Москве хотели заставить зарубежных издателей произвести крупные затраты в расчете на огромный внутрirosсийский рынок, а затем границу закрыть и тем самым издателей разорить. Так и вышло: целый ряд берлинских издательств взорвался на этой mine. С издателем Гржебиным поступили еще коварнее: ему надавали твердых заказов на определенные книги, в том числе на учебники, на классиков и т. д. Он вложил в это дело все свои средства, но книг у него не взяли, и он был разорен вдребезги. Но повторяю, провокация обнаружилась лишь впоследствии. Шкловский увлек своей затеей Горького и меня. Мы выработали план журнала. Редакция литературного отдела составила из Горького, Андрея Белого и меня. Научный отдел, введенный по настоянию Горького, был поручен профессорам Брауну и Адлеру. По моему предложению будущий журнал назвали «Беседой», в память Державина. До сих пор ходят слухи, что он издавался на московские деньги. В действительности его выпускало издательство «Эпоха», основанное на средства меньшевика Д.

«Эпоха» тем охотнее пошла нам навстречу, что участие Горького, казалось, гарантировало допущение журнала в советскую Россию. Так же точно смотрел на дело и сам Горький, все еще веривший, что его авторитет у большевиков не окончательно утрачен. На деле вышло другое. Весной 1923 г. появилась первая книжка «Беседы». За ней последовала вторая.

«Международная книга», берлинское советское учреждение, ведавшее книготорговлей, приобретала наш журнал в количестве не то десяти, не то двадцати экземпляров, уверяя, однако, что как только будет получено разрешение на ввоз «Беседы» в РСФСР, она будет покупать не менее тысячи. Горький писал в Москву письма – не знаю, кому, – при мне говорил о «Беседе» с приезжавшим в Сааров Рыковым, который в то время был заместителем Ленина. В ответ получались обещания уладить дело и ссылки на канцелярскую волокиту. Тогда он решился на репрессию: написал в Москву, что не будет сотрудничать в советских изданиях, пока «Беседу» не пропустят в Россию. Этого решения он придерживался – даже регористически. Некто Лежнев еще ухитрялся издавать в Москве собственный журнал под смелым названием «Россия». Осенью 1923 г. он был в Берлине и мечтал познакомиться с Горьким, но тот был во Фрейбурге. Я согласился написать Горькому и попросить у него рассказ, подчеркнув, что дело идет о частном, а не о казенном издании. Горький ответил: «Рассказ Лежневу я не могу дать до поры, пока не разрешится вопрос о допущении “Беседы” в Россию. Имею сведения, что вопрос этот “рассматривают”. О, Господи...»

Характерно, что несколько месяцев тому назад существовали как будто только технические, канцелярские препятствия, а теперь оказывалось, что весь вопрос еще должен быть обсужден принципиально, то есть в высших инстанциях. В то же время стало обнаруживаться, что в России косо смотрят на писателей, посылающих материал в «Беседу». Рукописи оттуда почти не приходили, и таким образом отпадал смысл всего предприятия. Но Горький уже сжился с мыслью о свободном журнале. Кроме того ему было необходимо настоять на своем, чтобы поддержать в Кремле свой падающий авторитет, которым он весьма дорожил, несмотря на то, что кроме умирающего Ленина ненавидел весь Кремль. Утратить этот авторитет – значило «испортить биографию», потерять ореол любимца «революционных масс» и титул «буревестника». Недаром Троцкий уже осмеливался открыто, в печати, называть его контрреволюционером.

Во Фрейбурге за ним по пятам ходили шпики: немецкие, боявшиеся, что он сделает революцию, и советские, следившие, как бы он не сделал контрреволюцию. Меж тем Германии в самом деле грозила опасность превратиться в советскую республику. Надо было оттуда уезжать. Я двинулся в Прагу, намереваясь затем пробраться в Италию. 26 ноября Горький тоже приехал в Прагу, где нам, однако, не нравился климат и жить было беспокойно. В ожидании итальянских виз мы через две недели уехали в Мариенбад.

Слухи об охлаждении между Горьким и советским правительством ходили давно. Он сам не скрывал своих настроений. Через несколько дней по приезде в Мариенбад я получил письмо из одного эмигрантского журнала – просили узнать, не согласится ли Алексей Максимович в нем участвовать. Я передал вопрос Горькому и с его слов ответил, что в принципе это возможно, но эмигрантская печать должна первая сделать некоторые шаги к сближению.

Это незначительное событие имело, однако ж, последствия.

Сердце Алексея Максимовича было чувствительно, но изменчиво. Покидая Петербург, он отнюдь не намеревался встретиться за границей с Марой. Со своей стороны, по приезде в Эстонию она тотчас вышла замуж... Но лишь только Алексей Максимович очутился в Германии, она явилась туда же, и энергичнейшим образом добилась того, что к моему приезду из России уже занимала прочное положение при нем, а затем, вместе с его сыном и снохой, сопровождала его во всех скитаниях по Европе. Не знаю, в какой степени серьезно отнесся Горький к возможности своего участия в эмигрантском журнале. Думаю даже, что он только представлял себе это, как соблазнительный, но несбыточный поступок – вроде выхода из советского подданства, о чем он порой даже принимался писать заявление во ВЦИК, быть может – до слез умиляясь над этим трагическим посланием, о котором знал наперед, что никогда его не отправить по адресу. Как бы то ни было, он, по-видимому, рассказал Маре о полученном мною письме. Выждав дня два она как-то вечером, когда все уже улеглись, позвала меня к себе в комнату –

«поболтать». Должен отдать справедливость ее уму. Без единого намека, без малейшего подчеркивания, не выпадая из тона дружеской беседы, в ночных туфлях, она сумела мне сделать ясное дипломатическое представление о том, что ее монархические чувства мне ведомы, что свою ненависть к большевикам она вполне доказала, но – Максим (сын Горького), вы сами знаете, что такое, он только умеет тратить деньги на глупости, кроме него у Алексея Максимовича много еще людей на плечах, нам нужно не меньше десяти тысяч долларов в год, одни иностранные издательства столько дать не могут, если же Алексей Максимович утратит положение первого писателя советской республики, то они и совсем ничего не дадут, да и сам Алексей Максимович будет несчастен, если каким-нибудь неосторожным поступком испортит свою биографию. «Поймите меня, я же монархистка до мозга костей, я же их ненавижу, – несколько раз напоминала она, – но что поделаешь? Для блага Алексея Максимовича и всей семьи надо не ссорить его с большевиками, а, наоборот, – всячески смягчать отношения. Все это необходимо и для общего нашего мира», – прибавила она очень многозначительно. После этого разговора я стал замечать, что настроение Алексея Максимовича внушает окружающим беспокойство и что меня подозревают в дурном влиянии.

Жизнь в опустелом зимнем Мариенбаде была до крайности однообразна: днем работа, прогулка, вечером долгое чаепитие, раза два – общий выезд в синематограф, вот и все. Однажды за ужином подали телеграмму от Екатерины Павловны Пешковой. Максим распечатал ее и прочел вслух: «Владимир Ильич скончался, телеграфируй текст надписи на венке». Мне показалась забавной такая забота о том, чтобы Алексей Максимович не забыл принять участие в официальной скорби. Я взглянул на него. Он с минуту сидел молча, с очень серьезным, даже вроде как злым лицом, потом встал и вышел из комнаты.

Чуть ли не на другой день Мара его засадила писать воспоминания о Ленине – были все основания рассчитывать, что их переведут на многие языки. Едва он их кончил, из Берлина, как будто случайно, приехал заведующий «Международной книгой»

Крючков. Алексею Максимовичу доказали, как дважды два, что буревестник революции обязан высказаться о великом вожде революции, т. е. ради такого случая он должен нарушить зарок и разрешить печатание воспоминаний в России. Крючков увез с собой рукопись, которую в СССР подвергли жесточайшим цензурным урезкам и изменениям. Как раз в это время Н. К. Крупская прислала письмо с описанием последних дней Ленина. Горький ответил ей резким письмом, в котором категорически требовал допустить в Россию «Беседу».

\* \* \*

Вскоре я уехал в Италию, прожил там месяц и покинул Рим утром 13 апреля. Горький с семьей приехал туда несколько часов спустя (таким странным образом мы с ним разъезжались три раза в жизни). Я поселился в Париже. Тем временем письмо к вдове Ленина, казалось, возымело действие. В конце мая месяца Мара прислала мне радостное известие: «Беседа» допущена в Россию. Весьма любопытно, что это сообщение было сделано ею в виде приписки на письме Горького, который сам мне об этом не обмолвился ни единым словом: не потому ли, что сомневался? Как бы то ни было, я был обрадован, потому что дела «Беседы», издание которой за несколько месяцев до того стало единоличным делом С. Г. Сумского, находились в катастрофическом состоянии. Радость, однако, была преждевременна. 26 июня С. Г. Сумский сообщил мне, что «Международная Книга» обещает купить для советской России до тысячи экземпляров каждого номера. 25 августа он уже мне писал, что «по-видимому, разрешение дано А. М. для утешения, “Беседу” приказано дуть». Наконец, во второй половине сентября, через четыре месяца после «разрешения», «Международная книга» купила по десяти экземпляров 1, 2 и 3 номеров «Беседы» и по двадцати пяти экземпляров 4-го и 5-го номеров: итого — восемьдесят экземпляров вместо обещанных пяти тысяч. Тогда же обнаружилось, что даже те экземпляры, которые были посланы в Публичную Библиотеку и Румянцевский Музей, имевшие право получать книги из заграницы без цензуры, —

вернулись в Берлин с надписью: «Запрещено к ввозу». Стало ясно, что Сумский прав: Горького просто водили за нос.

Прожив несколько месяцев в Париже и в Ирландии, в начале октября я приехал в Сорренто и застал Горького на положении человека опального. Полпредство, недавно учрежденное в Риме, игнорировало его пребывание в Италии. Его переписка с петербургскими писателями откровенно перлюстрировалась, некоторые письма и в ту и в другую сторону вовсе пропадали. Из большевиков писал только Рыков. В советских журналах о Горьком отзывались весьма скептически, в газетах появлялись заметки и вовсе оскорбительные. Так, в «Известиях» было напечатано, что проворовался управляющий магазином ГУМ (бывший Мюр и Мерилиз); тут же сообщалось, что он был принят на службу по рекомендательному письму Горького (что весьма вероятно, ибо Горький давал такие письма кому попало по первой просьбе); далее шли намеки на то, что и сам Горький причастен к хищениям своего ставленника. (Любопытно бы знать, фигурирует ли этот номер газеты в числе документов новооткрытого Горьковского Музея). Сам Алексей Максимович говорил о большевиках с раздражением или с иронией: либо «наши умники», либо «наши олухи». Чтение советских газет портило ему кровь, и Мара иногда их прятала от него. Однако, когда в Сорренто приехал лечиться московский писатель Андрей Соболев, Алексей Максимович при нем считал нужным носить официальную советскую маску: о советских делах отзывался с официальным оптимизмом; восторженно, с классическими слезами на глазах говорил о «замечательных ребятах» – советских писателях, ученых, изобретателях, давая понять, что только теперь «замечательные ребята» получили возможность развернуть непочатый запас творческих сил. Стоило Соболеву уйти – маска снималась. Соответствующую личину надевал и Соболев при Горьком: ложь порождает ложь.

Однажды Соболев не выдержал: стал жаловаться, что советская критика все более заменяется политическим сыском и доносами. Как на одного из самых рьяных доносчиков он указывал на некоего Семена Родова, которого Горький не знал,

но которого хорошо знал я. Я сказал, что напишу о Родове статью в газете «Дни», выходявшей в Берлине под редакцией А. Ф. Керенского. Перед отсылкой статьи я прочел ее Горькому: в статье заключались весьма неблагоприятные сведения о Родове. Велико было мое удивление, когда Алексей Максимович, прослушав, сказал: «Разрешите мне приписать, что я присоединяюсь к вашим словам и ручаюсь за достоверность того, что вы пишете». «Позвольте, – возразил я, – ведь вы же не знаете Родова? Ведь это же будет неправда? – «Но я же вас знаю», – ответил Горький. – «Нет, Алексей Максимович, это не дело».

Сказав так, я тотчас пожалел об этом, потому что представил себе, каков был бы эффект, если бы горьковская «виза» появилась под статьей, напечатанной в газете Керенского. Неприятно было и то, что он заметно огорчился и каким-то виноватым тоном попросил: «Тогда, по крайней мере, пометьте под статьей: “Сорренто”». Я с радостью согласился, и статья “Господин Родов” появилась в “Днях” с этой пометкой. Некоторый эффект, мне кажется, произвела и она. Дело в том, что через несколько времени Соболев собрался в Рим, намереваясь, между прочим, посетить своего приятеля, секретаря полпредства. Желая измерить температуру моих отношений с начальством, я дал Соболеву свой советский паспорт, по которому уже не жил и срок которого кончился. Этот паспорт я просил пролонгировать. Вернувшись, Соболев отдал мне паспорт без пролонгации и сообщил, что секретарь полпредства ему сказал: «Верните паспорт Ходасевичу, и забудем обо всем этом, потому что я обязан не пролонгировать его паспорт, а поставить визу для немедленного возвращения в Россию». На вопрос, за что такая немилость, секретарь ответил, что я оказываю дурное влияние на Горького. Курьезная и жалостная подробность: бедный Соболев был совершенно уверен, что если бы секретарь пришлепнул к моему паспорту обратную визу, я бы так сразу в Москву и кинулся.

В феврале 1925 года приехала Екатерина Павловна Пешкова. Сразу бросился в глаза новый тон, которого раньше я в ней не замечал: покровительственный, снисходительный. Она ходила по дому с таким видом, словно хотела сказать: «Ну, ну, по-

кажете, как вы ютитесь тут». Я показал ей вид с моего балкона — она и к морю отнеслась свысока и как-то дала почувствовать, что мысли ее заняты более серьезными, может быть — государственными проблемами. Высказывалась лаконически и безапелляционно. С неожиданным восторгом она то и дело принималась говорить о предназначениях советской власти, стараясь показать, что в Кремле от нее нет тайн. Чувствовалось, что и себя самое причисляет она к высшим сферам. Словом, держалась самой настоящей кремлевской дамой.

С первого же дня ее пребывания начались в кабинете Алексея Максимовича какие-то долгие беседы, после которых он ходил словно на цыпочках и старался поменьше раскрывать рот, а у Екатерины Павловны был вид матери, которая вернулась домой, увидала, что без нее сынишка набедокурил, научился курить, связался с негодными мальчишками — и волей-неволей пришлось его высечь. Порою беседы принимали оттенок семейных советов — на них приглашался Максим.

Вкратце повторю то, что я уже писал о сыне Алексея Максимовича и Екатерины Павловны. Было ему в ту пору лет тридцать, он был лысоват, женат уже года четыре, но по развитию трудно было дать ему больше тринадцати. Он считал себя чуть ли не коммунистом, но в действительности просто вырос среди большевиков, они его в свое время баловали, и он навсегда сохранил уверенность, что нужно быть таким же, как эти добрые дяди. Он, впрочем, политикой не занимался. По-настоящему увлекали его лишь такие вещи, как теннис, мотоциклетка, коллекция марок, чтение уголовных романов, а в особенности цирк и синематограф, в котором старался он не пропустить ни одного бандитского фильма. Иногда в сердцах Алексей Максимович звал его ослом, иногда же, напротив, с улыбкой умиления смотрел на его паясничанье. В общем, он очень его любил. Характер у Максима был хороший, легкий, на редкость уживчивый. Максим любил транжирить, но не любил, чтоб отец тратил деньги на других, что, впрочем, тоже выходило у него как-то по детски: зачем давать шоколад другим детям, когда можно отдать

весь мне? На этой почве он зорко следил за Марой и иногда обвинял ее в самых некрасивых поступках.

Вскоре по приезде Екатерины Павловны он предложил мне пройтись в Сорренто, это была обычная утренняя прогулка (до Сорренто от нас было километра полтора). Отойдя от дома шагов на пятьсот, он вдруг объявил конфузливо, что хочет со мной посоветоваться. Это меня удивило; ничего подобного прежде не случалось: Максим относился ко мне с некоторой настороженностью и никогда в откровенности не пускался. Признаюсь, я и до сих пор не понимаю, почему ему вздумалось со мною советоваться. Всего вероятнее, он просто слишком был озадачен и озабочен. Далее произошел у нас следующий диалог, за полную словестную точность которого я, разумеется, не ручаюсь (с тех пор прошло больше двенадцати лет), но которого ход, содержание и смысл мне совершенно памятны.

*Максим.* Вот такая история: мать меня зовет в Россию, а Алексей не пускает (он всегда звал отца по имени).

*Я.* А самому-то вам хочется ехать?

*Максим.* Не знаю. Это верно, что я ничего тут не делаю.

*Я.* А там что вы будете делать?

*Максим.* Мать говорит, что Феликс Эдмундович (Дзержинский) мне предлагает место.

*Я* (не смея еще догадаться). Где? Какое место?

*Максим.* У себя, конечно, – в Чека.

Многого я мог ожидать, но не этого! Я, однако, сумел сдержаться и продолжал разговор, не ахнув.

*Я.* В Чека? Да что ж, у него своих людей мало?

*Максим.* Он меня знает, я у него работал.

*Я.* Как? Когда?

*Максим.* А еще в восемнадцатом году, в девятнадцатом, – когда был инструктором Всевобуча. Тогда в Чека людей не хватало. Посылали нас: меня, Левку Малиновского (это – приятель Максима, сын коммунистки Малиновской, которая одно время заведывала московскими театрами). Интересно, знаете ли, до чертиков. Ночью, бывало, нагрянем – здрастье пожалуйста! Вот мы раз выловили этих самых эсеров ваших (намек на мое со-

трудничество в «Днях» и в «Современных Записках»). Мне тогда Феликс Эдмундович подарил мою коллекцию марок – у какого-то буржуя ее забрали при обыске. А теперь, мать говорит, что он обещает мне автомобиль в полное распоряжение. Вот тогда покатаюсь!

По привычке все изображать в лицах и карикатурно, Максим поджимает коленки, откидывает корпус назад, кладет руки на воображаемый руль и бежит рысцой. Потом его левая рука выбрасывается вбок – Максим делает вираж, бежит мне навстречу, прямо на меня и, изо всех сил нажимая правой рукой незримую грушу, трубит: «Ту! Ту! Ту!».

Не знаю, что со мной было бы, если бы не старинная привычка ничему не удивляться. Новооткрывшаяся страница Максимовой биографии меня, впрочем, не тронула. Существа более безответственного я в жизни своей не видел. Он был несмышленьш в истинном смысле слова. Я тогда же почувствовал и теперь не сомневаюсь, что с его стороны все это было игрою в Шерлока Холмса. Наконец, до него самого мне дела не было. Я как-то даже не задал себе вопроса о том, как смотрит на его чекистские подвиги Горький. Меня тут занимала и изумляла Екатерина Павловна.

На другой день или вроде того Максим зашел вечером в мою комнату, как нередко делал, когда хотелось ему сыграть в шахматы. Я снова навел его на разговор о Чека. Он болтал охотно. Рассказывал о докладе, который делал в Москве Белобородов, убийца царской семьи; назвал мне двух поэтов, сексов Чека, и т. д.

Екатерина Павловна прожила в Сорренто недели две, собираясь ехать в Прагу. Тут же кстати расскажу маленький анекдот о том, как я сам смешно оскоромился. Накануне отъезда Екатерины Павловны я зачем-то пошел в Сорренто. Иду назад и на главной улице встречаю Екатерину Павловну. «Вот кстати! – говорит она. – Зайдемте со мной в магазин, мне нужно купить черепаховый мундштук для подарка, а сама не курю и ничего в этом деле не понимаю». Зашли. Я выбрал отличный мундштук, вставил в него папиросу, попробовал, хорошо ли тянет, – а

вечером Екатерина Павловна за столом сказала, вынув мундштук из сумочки: «Вот какой славный мундштучок мы с Владиславом Фелициановичем выбрали для Феликса Эдмундовича».

Во все время ее пребывания было мне тяжело на душе. Да и вообще атмосфера в доме была тяжелая, натянутая. После ее отъезда Алексей Максимович словно помолодел и стал разговорчив по-прежнему. Однажды он мне сказал:

– Екатерина Павловна тут кружила голову Максиму, звала в Москву. (Про службу в Чека – ни звука).

– Что-ж, пускай едет, коли ему хочется, – сказал я.

Горький слегка рассердился:

– А когда их там всех перебьют, что будет? – спросил он. – Мне все-таки этого дурака жалко. Да и не в нем же дело. Я же вижу, что не в нем дело. Думают за ним я поеду. А я не поеду, дудки.

И все же вечная, неизбывная двойственность его отношений ко всему, что связано было с советской властью, сказывалась и тут. Несколько раз принимался он с нескрываемой гордой радостью за Екатерину Павловну говорить о том, что теперь она – важное лицо. «Молодец баба, ей-Богу!» – и собрав пальцы в кулак, он их сразу выбрасывал, держа руку ладонью вверх: характерный жест, который он всегда делал, говоря о чем-нибудь очень красивом, удачном, ловком.

– Вот и сейчас ей, понимаете, поручили большое дело, нужное. Поехала в Прагу мирить эмиграцию с советской властью. Хотят создать атмосферу понимания и доверия. Хотят начать кампанию за возвращение в Россию.

– Да зачем же это им нужно? Что ж, у них своих людей нет?

– Не в людях дело, а в том, что эмиграция вредит в сношениях с Европой. Необходимо это дело ликвидировать, но так, чтобы почин исходил от самой эмиграции. Очень нужное дело, хорошее. И привлечь хотят людей самых лучших...

Все эти тягостные открытия действовали на меня угнетающе. Я все более понимал, что наши пути расходятся. Возникла душевная потребность покинуть Сорренто. Но поступить резко мне не хотелось: я должен сказать, что ко мне лично Горький

всегда относился очень хорошо, и за его бескорыстную, порой очень теплую дружбу я чувствовал признательность, о которой забыть не могу и теперь. Поэтому я уехал только в апреле месяце, ссылаясь на личные обстоятельства, что, впрочем, было и правдой. Но, покидая Сорренто, я уже как-то не видел будущей своей встречи с Горьким. Так и случилось.

Я приехал в Париж, а месяца через два появилась прославленная статья Пешехонова, положившая начало «засыпанию рвов» и всемоу так называемому «движению возвращения».

Мой приезд в Париж по времени совпал с выходом последнего, шестого, номера «Беседы». По этому поводу Горький писал мне: «„Беседа“ – кончилась. Очень жалко... По вопросу – крупнейшей важности вопросу! – о том, пущать или не пущать “Беседу” на Русь, было созвано многочисленное и чрезвычайное совещание сугубо мудрых. За то, чтобы пущать, высказались трое: Ионов, Каменев и Белицкий, а все остальные: “не пущать, тогда Горький воротится домой”. А он и не воротился! Он тоже упрямый».

Я хорошо знал Горького и его обстоятельства. Для меня было несомненно, что он действительно не поедет в Россию – по крайней мере вплоть до того дня, пока не уедет от него Мара. Но не менее было ясно и то, что после властного и твердого запрещения «Беседы» Горький начнет размякать и, под давлением Мары и Екатерины Павловны, пойдет на сближение с начальством. Поэтому я не без горечи указал ему в ответном письме, что меня удивляет, каким образом год тому назад его известили о допущении «Беседы», а теперь оказывается, что тогда вопрос еще и не обсуждался. На это Горький мне возразил: «Разрешение на “Беседу” было дано и книги в Россию допускались, – он писал. – Затем разрешение было опротестовано и аннулировано». Это была ложь, на которую Алексей Максимович отважился, полагая, будто мне неизвестно, что книги в Россию не допускались никогда.

Между тем, мои предположения оказались верны. Запретив «Беседу», в Москве решили, что нужно чем-нибудь Горького и приманить, а он на эту приманку тотчас пошел. После почти

двухмесячного молчания он писал мне 20 июля: «Ионов ведет со мною переговоры об издании журнала типа “Беседы” или о возобновлении “Беседы”. Весь материал готовится здесь, печатается – в Петербурге, там теперь работа значительно дешевле, чем в Германии. Никаких ограничительных условий Ионов пока не ставит». Это было уже чистейшее лицемерие. Я ответил Горькому, что журнал типа “Беседы” в России нельзя издавать, потому что “типическая” черта “Беседы” в том и заключалась, что журнал издавался за границей, и что “ограничительные условия” уже налицо, ибо наша “Беседа” издавалась вне советской цензуры, а петербургская автоматически подпадет под цензуру. Все это Горький, конечно, знал и без меня, но, по обыкновению, ему хотелось дать себя обмануть, потому что хотелось пойти на сближение с советской властью.

Помимо соображений о цензуре, я напомнил Горькому еще об одном весьма важном обстоятельстве. Надо знать, что весной 1924 г. нескольким писателям удалось получить разрешение на издание журнала «Русский Современник» – последнего независимого, то есть не возглавляемого коммунистами журнала в России. Дух журнала был вольный: довольно сказать, что первый номер открывался стихами Сологуба и Ахматовой и рассказом Замятина. Сотрудничали в нем и мы с Алексеем Максимовичем, причем было указано, что журнал выходит при ближайшем участии Горького, Евг. Замятина, А. Н. Тихонова и К. Чуковского. В конце 1924 г., по выходе четвертой книжки, «Русский Современник» был закрыт, а Тихонов, главный редактор и личный друг Горького, арестован. Когда я уезжал из Сорренто, Тихонов, несмотря на все интервенции Горького, все еще не был освобожден, причем Горький мне говорил, что «Русский Современник» – только придирка, на самом же деле Зиновьев держит Тихонова в тюрьме по другой причине: предполагает, что у Тихонова где-то спрятаны письма Ленина к Горькому, и хочет эти письма из Тихонова «выжать». Учитывая все это, я написал Горькому, что, как ближайший сотрудник «Русского Современника», он не имеет права вступать с советской властью ни в какие переговоры о журнале, пока не будет

вновь разрешен «Русский Современник» и не будет выпущен из тюрьмы Тихонов. Велико было мое изумление, когда, недели через две, пришел от Горького такой ответ: «Беседа», кажется, будет журналом, посвященным вопросам современной науки, современного искусства, без стихов, без беллетристики. Печататься в России будет потому, что это значительно дешевле. Еще дешевле было бы печатать в Италии, но здесь нет русских типографий. Беллетристика, стихи найдут себе место в «Русском Совр.», который возобновляется при старой редакции. В этом году выйдут лишь две книжки, увеличенного размера, как я понял, а с начала 26-го будет выходить 12 книг. Тихонов «восстановлен во всех правах», приговор отменен... Сейчас поехал в Крым отдыхать».

Я до сих пор не знаю, был ли к этому времени Тихонов освобожден и ездил ли в Крым. Возможно, что так и было. Но я ни секунды не сомневался, что все, написанное в будущем времени, — ложь, придуманная для того, чтобы парировать мои возражения, а главное — чтобы самого себя тешить жалкой иллюзией, будто моральных препятствий к переговорам о новом журнале не имеется. Я тогда же угадал, что «Русский Современник» не разрешен и никогда разрешен не будет, и что Горькому это известно не хуже, чем мне. Мало того: я не сомневался, что и никакой новой «Беседы» не будет: не будут ее печатать даже и в Петербурге, где так «дешева работа», — а просто заставят Горького печататься в «Красной Нови» и в других казенных журналах, — и что он сам уже к этому готов. Он явно шел с властью на похабный мир, заключаемый по программе Мары: пока можно тянуть — жить за границей, а средства для жизни получать из России. Я понял и то, что дальнейшая полемика сведется к тому, что Алексей Максимович будет мне лгать, а я его буду уличать во лжи. Но эта работа мне давно уже была тяжела. Пора было ее бросить. Прострадав несколько дней, я решил не отвечать Горькому вовсе, никогда. На том кончились наши отношения. Замечательно, что, не получая от меня ответа, Горький тоже мне больше уже не писал: он понял, что я все понял.

Возможно и то, что моя близость в новых обстоятельствах становилась для него неудобна.

На этом мои воспоминания кончаются. О дальнейшем я знаю лишь то, что известно всем. Дипломатические сношения Горького с советским правительством восстановились в то же лето: Горького посетил советский полпред в Италии Керженцев, затем Горький принял у себя экскурсантов-ударников – и возобновил сотрудничество в советских изданиях. В 1926 г. он написал знаменитое письмо о смерти Дзержинского, особенно подчеркнув, что вместе с ним скорбит и Екатерина Павловна. В 1928 г., когда совершилось окончательное падение Зиновьева, оказалась возможной поездка в Москву, куда через год пришлось и вовсе переселиться. Переселение сопровождалось сближением с Ягодой, поездкой на Соловки и на Беломорский канал – и т. д. Все это уже выходит за пределы моей задачи. Но, не вдаваясь в область исследования и оставаясь мемуаристом, я все же считаю себя вправе прибавить несколько слов, выражающих мое личное мнение о внутренних причинах горьковских колебаний в отношении к советскому правительству.

Каковы бы ни были поводы горьковского отъезда из России в 1921 г., основная причина была все-таки та же, что и у многих из нас. Он себе представлял революцию свободонесущей и гуманной. Большевики придали ей вовсе иные черты. Осознав свое бессилие что-либо изменить в этом, он уехал и был близок к тому, чтобы порвать с советским правительством вовсе, – но лишь так близок, как бывает близок к самоубийству человек, который держит револьвер у виска, зная все-таки, что никогда не выстрелит. Несомненно, что Мара, Е. П. Пешкова и другие лица, о которых я здесь для краткости не упоминал, немало содействовали примирению. Но оно совершилось бы и без того. Причины лежали в самом Горьком. Он был одним из самых упрямых людей, которых я знал, но и одним из наименее стойких. Великий поклонник мечты и возвышающего обмана, которых по примитивности своего мышления он никогда не умел отличать от самой обыкновенной, часто вульгарной лжи, он некогда усвоил себе свой собственный «идеальный», отчасти

подлинный, отчасти воображаемый образ певца революции и пролетариата. И хотя сама революция оказалась не такой, какою он ее создал своим воображением, – мысль о возможной утрате этого образа, о «порче биографии», была ему нестерпима. Деньги, автомобили, дома – все это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. Он, в конце концов, продался, – но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни. Упрямясь и бунтуя, он знал, что не выдержит и бросится в СССР, потому что, какова бы ни была тамошняя революция – она одна могла ему обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти – нишу в кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это революция потребовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. Он и на это пошел. Можно бы долго перечислять, на что еще он пошел. Коротко сказать – он превратился в полную противоположность того возвышенного образа, ради сохранения которого помирился с советской властью. Сознавали ли он весь трагизм этого – не решаюсь сказать. Вероятно – и да, и нет, и вероятно – поскольку сознавал, старался скрыть это от себя и от других при помощи новых иллюзий, новых возвышающих обманов, которые он так любил и которые в конце концов его погубили.

*1939 г.*

## *Завтрак в Сорренто*

В числе моих воспоминаний, связанных с Горьким, есть довольно забавные. Вот – одно из них, которое мне приходится озаглавить почти по-тургеневски: «Завтрак в Сорренто».

Действие происходит в 1925 году, но я начну с несколько более ранней поры.

Писателя Х. (не русского, иностранного) встречал я у Горького еще в Германии, в 1922–1923 гг. Написал он всего две-три жиденьких книжечки каких-то заметок, отрывков о том, о сем. Однако был ужасно передовой, увлекался дадаизмом, сюрреализмом, коммунизмом, когда-то знаком был с Марселем Прустом, а главное – был чрезвычайно богат: имя его значится в числе даже не двухсот, а двух-трех богатейших фамилий. Разумеется, он везде был принят и всех принимал у себя. В его салоне банкиры и представители владетельных домов встречались с советскими писателями.

Порхая с идеи на идею, из салона в салон, любил он залетать и в чужие страны. В одно из таких его путешествий я с ним познакомился. Маленький, щупленький, на тоненьких ножках, с лысинкою, покрытой цыплячьим пухом, говорил он тоненьким голосом – словно мяукал. Было ему лет под сорок, но после обеда огромный лакей, состоявший при нем, уводил его в спальню (словно бы уносил под мышкой), под струей умывальника мылил и мыл ему ручки и мохнатым полотенцем вытирал пальчики. Лакей спал с ним в одной комнате, из которой наутро поклонник Пруста и Ленина рысцою бежал по коридору – пить кофе, болтать о революции. Горький с ним обращался, как старый сенбернар с новорожденным котенком. Казалось, вот-вот возьмет он его зубами за шиворот и отнесет под лестницу к матери. Х., однако же, хорохорился: дрыгал ножками и без умолку пищал о самоновейшем. Кому-то из наших дам посвятил он стихотворение в прозе: изображалось, как он, где-то в Сибири в страшную стужу, гуляет с этою дамою по берегу озера, тихие волны которого отражают меланхолическую луну и задумчивых лебедей, а с деревьев сыплется много снега, а ямщик

идет сзади, звонит в колокольчик и поет тихую песню о Ленине. Само собой разумеется, что Х. рекомендовался величайшим почитателем Горького. Болтовню его, впрочем, никто не слушал. Довольствовались тем, что благодаря своим связям он умел хорошо пристраивать книги Горького в иностранные издательства.

На Пасху 1925 г. английская королева (ныне вдовствующая) должна была приехать в Сорренто. Ожидали по этому поводу большого наплыва туристов. Семейный траур, однако же, удержал королеву в Англии. Соррентинское население приуныло – сезон был сорван. Хозяин прибрежного отеля, в котором для высоких гостей были сняты апартаменты, находился в состоянии, близком к отчаянию. Появление Х., конечно, не могло его утешить, но все-таки Х. появился и снял ту самую комнату, в которой должна была жить королева. Лакея на сей раз при нем не было, зато был ражий детина, которого он нам отрекомендовал в качестве своего друга. Друг был курчав, черноволос и смугл. Могучие формы выпирали из его одежды, явно снятой с чужого плеча. Из коротких рукавов вылезали огромные волосатые руки. За все время своего пребывания в Сорренто он не произнес ни слова. Глядел исподлобья. Х. то и дело поглядывал на него с кокетливой нежностью. По всему было заметно, что они познакомились несколько дней тому назад.

На вилле «Сорито», где жили мы с Горьким, счастливая чета появилась в страстную пятницу, к пятичасовому чаю. Х., по обыкновению, щебетал, сучил ножками, рассказывал о недавних своих путешествиях, впечатлениях, встречах. Друг молча ходил по кабинету Горького. Максим, сын Горького, тихонько толкнул меня:

– Поглядывайте, как бы чего не спер.

Визит был непродолжителен. При прощании Горький пригласил обоих друзей к завтраку – послезавтра, в первый день католической Пасхи.

Гостей на «Сорито» бывало немного – а тут намечался целый прием. К завтраку, кроме Х., ждали проф. Старкова с семейством (он жил по соседству), накануне приехала еще одна

общая приятельница из Рима. Всего – человек семь гостей. Приготовления начались с утра. Обеденный стол был увеличен при помощи вставных досок. Расставлялись приборы, не хватало стульев, хозяйки были в волнении.

В ожидании завтрака я сидел у себя на балконе. День выдался пасмурный, душноватый. Надвигался сирокко. Вдруг к воротам подкатил запыленный, громоздкий автомобиль – такси из Неаполя. Я не мог разглядеть человека, который из него вышел: он стоял спиной ко мне и что-то говорил своему незримому спутнику, оставшемуся в машине. Потом он быстро вошел в ворота, а машина отъехала.

Из Неаполя в Сорренто ездят либо на пароходке, либо кружным путем – по железной дороге до Каstellамаре, а оттуда в трамвае. Появление неаполитанского такси свидетельствовало о том, что приезжий – человек новый в здешних местах. Кто же бы мог быть этот неожиданный гость?

Вскоре в саду под моим балконом появился Максим. Я окликнул его:

– Кто приехал?

– Консул, – ответил Максим.

– Какой консул?

– Наш.

– Какой наш?

– Советский.

– Да разве в Неаполе есть консул?

– Недавно назначили.

– Да зачем же он приехал?

– А вот хочет засвидетельствовать почтение Дуке и похристосоваться с вами.

Дука – домашнее прозвище Горького. По этому поводу позволю себе сделать небольшое отступление. В эпоху первой эмиграции, когда Горький жил не в Сорренто, а на Капри, его тогдашняя жена – М. Ф. Андреева старалась создать легенду вокруг него. Домашней прислуге, лодочникам, рыбакам, бродячим музыкантам, мелким торговцам и тому подобной публике она рассказала, что она – русская герцогиня, дукесса, которую сви-

репый царь изгнал из России за то, что она вышла замуж за простого рабочего – Максима Горького. Эта легенда до крайности чаровала романтическое воображение каприйской и неаполитанской улицы, тем более, что Андреева разбрасывала чаевые с чисто герцогской щедростью. Таким образом, местная популярность Горького не имела ничего общего с представлением о нем, как о писателе, буревестнике, певце пролетариата и т. д. В сущности, она была даже для него компрометантна, потому что им восхищались, как ловким парнем, который сумел устроиться при богачке, да еще герцогине, да еще красавице. Все это рассказывал мне Максим, который терпеть не мог свою мачеху. Думаю, что отсюда же возникло и прозвище Дука, то есть герцог. Возможно, впрочем, что оно имело иное происхождение.

Пробило, наконец, час. Гости собрались. За стол, однако же, не садились, и я тотчас заметил некое замешательство. Дверь в кабинет Горького была заперта. Его секретарша, баронесса М. И. Буберг, вышла оттуда с озабоченным лицом и спросила Максима:

– Может быть, позвать доктора?

– Да нет, обойдется, – сказал Максим.

Но лицо у него было мрачное. Думая, что внезапно заболел Горький, я пытался узнать, в чем дело, но мне в ответ что-то бурчали и проходили мимо. Наконец, позвали к столу. Горький вышел наконец, пропустив вперед консула. Это был парень лет тридцати, в дешевеньком костюме табачного цвета. Лицо у него было скуластое, нос – картошкой, выражение лица сосредоточенное, но не умное. Казалось, он был в состоянии обалдения. Мотнув головой, что означало общий поклон, он сел рядом с бар. Будберг. С другой стороны от нее посадили Х. Очутившись в обществе баронессы и иностранного консула, Х. тотчас принялся лепетать на великосветские темы, забрасывая консула вопросами: успел ли он уже познакомиться с маркизом таким-то? неправда ли, маркиза очаровательна? собирается ли консул играть в гольф или предпочитает теннис? правда ли, что английский посланник в Вене собирается покинуть свой пост – и

как это будет печально, ибо ведь это один из любезнейших людей в Европе, – и прочее, все в том же роде.

Консул, бывший рабочий, незадолго до войны эмигрировавший из России в Италию, а ныне назначенный на свой пост потому, что слегка умел калякать по-итальянски, не понимал вопросов, задаваемых по-французски. Баронесса Будберг пыталась быть переводчицей, но он все равно не мог поддержать столь изящной беседы. Х. все же не унимался, а баронессе ничего не оставалось, как передавать ему воображаемые ответы консула. Между тем, сам представитель дипломатического мира был занят едой. Вилку и нож он крепко держал в сильных своих кулаках, как весла: если бы он вытянул руки, то острия этих непривычных инструментов оказались бы обращены не внутрь, а наружу, в разные стороны. Оттяпав кусок мяса, он клал нож на стол, вилку перекадывал из левого кулака в правый, насаживал на него еду, отправлял ее в рот и жевал, могуче работая скулами. Потом опять брал нож и вилку, и трудная операция начиналась сызнова. В общем, он хмурился, почти ничего не говорил, сидел сторбившись и время от времени шупал себе бока. Если представить себе весь стол, как некий оркестр, то пришлось бы сказать, что баронесса Будберг была дирижером, консул – фоготом, рычавшим редкий аккомпанемент, а Х. – первой скрипкой, которая неумолчно выводила писклявую фиоритуру на бледном фоне всех остальных инструментов. Горькому вовсе не нашлось партии – он все время молчал с выражением досады или скуки.

Днем, часов в пять, я отправился на прогулку. Возвращаясь домой через Сорренто, на площади у кафе я увидел стоящий автомобиль – тот самый, что утром привез к нам консула. Сам консул сидел за столиком в обществе Максима и мордастой девицы с портфелем и в роговых очках. Оказалась она секретаршей консула, приехавшей с ним вместе, но не взятою к Горькому и просидевшей весь день в Сорренто. Тут же стояла Максимова мотоциклетка с прицепной коляской. Рассчитывая доехать домой с Максимом, я присоединился к обществу. Консул на этот раз держался бодрее, говорил, что теперь чувствует

себя лучше, а то было уже думал, не сломано ли ребро. Наконец, он сел с секретаршей в такси и уехал в Неаполь, а мы с Максимом остались еще посидеть. Я спросил у Максима, почему так хмур консул и что случилось с его ребром. Максим весь день старавшийся делать серьезное лицо, сразу развеселился:

– Да вздули его сегодня, вот он и раскис!

– Как вздули? Кто? Где?

– Солдаты вздули, в Кастелламаре.

– Какие солдаты?

Признаюсь, я уже вообразил себе ужасную расправу озверелых фашистов с представителем пролетарского государства. К изумлению моему, Максим ответил:

– Наши солдаты, русские.

Оказалось, что в Кастелламаре живет целая группа русских солдат. Еще во время войны они бежали из австрийского плена, пробрались в Италию, были там интернированы – да так и остались. Узнав об их существовании, консул решил разом убить двух зайцев: по дороге в Сорренто заехал к солдатам и стал их «пропагандировать». Вот тут-то они его и избили, и в гости к Горькому он едва доехал, покрытый синяками.

Если читатель припомнит, несколько лет тому назад в газетах писалось о бывших русских солдатах, учинивших бунт в Кастелламаре, в каком-то не то приюте, не то доме умалишенных, где они очутились. Вот это и есть те самые несчастные люди.

За вечерним чаем зашел разговор о консуле. Горький сказал, вздыхая:

– Черт их дери, наших умников. Назначают вот эдакого осла консулом!

Ни консула, ни Х. мне больше встретить не довелось. Знаю только, что год или два спустя Х. ездил в Москву, представился Луначарскому, поднес ему свою книжку с надписью, но Луначарский на этот раз выказал немалую проницательность: и самого Х., и его книгу, и все его советофильство он довольно язвительно высмеял в «Красной Нови». После этого Х. перестал большевизанить и вообще, кажется, бросил литературу.

1938 г.

## *О смерти Горького*

Действительно ли Максим Горький и его сын могли быть убиты участниками последнего московского процесса? Кому и зачем могла быть нужна их смерть? Каковы были отношения Горького со Сталиным и Ягодой? Кто такой Крючков?

С такими вопросами многие обращались ко мне в последние дни. К сожалению, ответить на них я могу только предположительно, потому что непосредственная связь с Горьким, его семьей и его окружением окончательно порвалась у меня еще летом 1925 года. Сведения, полученные впоследствии, шли уже из вторых и третьих рук. Однако мне кажется, что обстановка московских событий мне более или менее знакома, а потому я вправе высказать о них свое мнение: отнюдь, разумеется, не свидетельство.

Повторяю, мои высказывания могут быть только предположительны, главным образом, еще и потому, что я принужден отчасти пользоваться данными московского процесса, в котором правда и ложь могут быть разделены и выяснены разве лишь будущим историком – и то при условии, что до него сохранятся необходимые и неоспоримые документы.

Во всем этом деле самое фантастическое и самое затруднительное обстоятельство – то, что мы не можем доверять признаниям обвиняемых. Некоторые из них, можно сказать, стоят выше обвинений, которые они сами на себя возводят. Таковы проф. Плетнев и доктор Левин. Оба – старики, прожившие долгую и ничем не запятнанную жизнь. Второго из них, Льва Григорьевича Левина, я хорошо знаю. В газетах были о нем напечатаны сведения слишком неточные. По тому, что сообщалось о Левине, читатель мог заключить, что это – какой-то мелкий провинциальный врач, раздобытый большевиками для темных дел. В действительности Левин долгие годы практиковал в Москве. Его специальностью были детские и внутренние болезни. Он был домашним врачом своего коллеги – проф. Ф. Е. Рыбакова, заведовавшего психиатрической клиникой Московского университета. Кажется, именно через Рыбакова он

стал одним из популярнейших врачей в среде писателей и артистов. Я сам и многие мои родственники были его постоянными пациентами с 1911 г., но еще в 1897 г., еще совсем молодым врачом, он спас одного из моих братьев от очень серьезной болезни. К политике он не имел никакого отношения, и к больному Ленину был приглашен по причине своей врачебной репутации. К «лаборатории» ГПУ он, разумеется, не имел никакого отношения: на процессе выяснилось, что во главе лаборатории стоял Казаков, которого он уличал в шарлатанстве. И вот, когда он признается, что ускорил смерть Горького, — все существо мое отказывается верить ему, как и Плетневу. Но и он, и Плетнев объявляют, что действовали под страшным давлением Ягоды, грозившего расправиться с их семьями, — я уже не знаю, что думать.

Зачем Ягоде была смерть Горького?

Думаю, что могла быть нужна. В 1921–1928 гг. Горького смущало и тяготило полуопальное положение буреви́стника революции, принужденного жить за границей на положении чуть ли не эмигрантском. Ему хотелось быть там, где творится пролетарская революция. Сталин, расправившийся с его недругом Зиновьевым (имею в виду не казнь Зиновьева, а его предварительную опалу), дал Горькому возможность вернуться и занять то высокое положение арбитра по культурным вопросам, которого Горький не мог добиться даже при Ленине. Сама личность Сталина, конечно, ему в высшей степени импонировала: в глубине горьковской души всегда жило восхищение силою, властью, ее внешними атрибутами, которые презирал Ленин. (Надо было послушать, с каким восторгом рассказывал Горький о пребывании императора Александра III в Нижнем Новгороде). Несомненно, он льстил Сталину не только в официальных речах и писаниях. Вполне допускаю, что в некоторых вопросах, второстепенного и бытового характера, Сталин со своей стороны прислушивался к его мнению. Не раз мне казалось, что некоторые уступки на религиозном «фронте», знаменитая реабилитация елок, не менее знаменитый призыв к зажиточности, — все это происходило не без горьковского влияния.

Словом, Сталин и Горький могли быть довольны друг другом. Тем не менее, зная Горького, не приходится сомневаться, что далеко не все в советской России было ему по душе. Как прежде, при Ленине, так и теперь при Сталине, он официально восхищался «нашими достижениями» и проявлял оптимизм, но в частном порядке ворчал и критиковал. По доходившим до меня сведениям, он и от Сталина и Ягоды, как прежде от Ленина и Дзержинского, пытался кое-кого защищать, отстаивать. И опять, как перед его отъездом за границу, многие смотрели на него, как на заступника, как на человека, с которым можно хотя бы отвести душу. Следовательно, и сталинская оппозиция, как бывало – зиновьевская, могла ему в известной степени доверяться, и если не все, то многие ее тайны должны были быть ему ведомы. И если, скажем, Рыкову или Бухарину не приходило в голову, что Горький способен их выдать, то Ягода, плохо знающий Горького и мерящий людей на свой аршин, вполне мог мечтать об устранении его, как потенциального доносчика. Именно всем этим и приходится объяснить тот факт, что Ягода приставил к нему своего соглядатая – Крючкова. Подозревать Горького в обыкновенной «контрреволюции» не могло прийти в голову и самому Ягоде. И если Крючков все-таки был приставлен, то его наблюдения должны были идти по двум линиям: во-первых, – по линии слежки за посетителями, собеседниками и корреспондентами Горького, во-вторых, – по линии слежки за сношениями самого Горького со Сталиным.

Должен заметить, впрочем, что когда дело идет о Крючкове, выражение «приставлен» не совсем точно. Надо было сказать – «заагентурен», потому что тесная связь Горького с этим человеком началась задолго до того, как Ягода стал во главе ГПУ.

Петр Петрович Крючков (или Пе-Пе-Ка, как иногда называли его в доме Горького) некогда был помощником присяжного поверенного, но практикой не занимался. По словам Максима, сына Горького от первого брака, он служил в петербургском градоначальстве. Не знаю, когда и при каких обстоятельствах он познакомился с Марией Федоровной Андреевой, второй женой Горького. Во всяком случае, в 1920 году (а может быть, и

раньше) он уже состоял ее секретарем по управлению петербургскими театрами, жил на ее половине в квартире Горького и, не смущаясь разницею возрастов (Мария Федоровна значительно старше его), старался всем показать, что его ценят не только как секретаря. Он был недурен собой, хорошо одевался, имел пристрастие к шелковым чулкам, которые не всегда добывались легально. Когда в 1921 г. Горький под давлением Зиновьева принужден был уехать за границу, Мария Федоровна вскоре последовала за ним в целях надзора за его политическим поведением и тратою денег. Разумеется, она взяла с собой Крючкова, с которым и поселилась в Берлине, тогда как сам Горький с сыном и невесткой жил за городом. За границей Мария Федоровна ничего не делала, но Крючкову устроила отличное место: пользуясь своими связями (которые в ту пору были сильнее горьковских), она добилась того, что Крючков был поставлен во главе советского книготоргового и издательского предприятия «Международная книга». Пост был как нельзя более подходящий: Крючков почти автоматически становился издателем Горького и посредником в сношениях Алексея Максимовича с внутрироссийскими журналами и издательствами. Таким образом, Крючков сделался не секретарем Горького, и даже не «министром финансов», а больше того: главным источником и надзирателем его денежных средств, — что и требовалось.

Крючковской опекой Горький не тяготился, потому что на приход и уход денег всегда смотрел сквозь пальцы. Кроме того, он должен был быть благодарен Крючкову за то, что тот избавил его от Андреевой. Несколько иначе смотрел на дело Максим, перенесший на Крючкова свою нелюбовь к мачехе. О роли Крючкова при Марии Федоровне отзывался он в нецензурных выражениях и всякий раз, когда заходила речь о Крючкове, принимался мяукать, изображать кота и приговаривать: «Кис-кис-кис». Горький хмурился и обрывал его. Впрочем, была у Максима еще причина недолюбливать Крючкова: будучи крайне легкомыслен и склонен сорить деньгами, он сам претендовал на роль «министра финансов» при отце. Крючков был ему помехою и мешал транжирить.

Вернувшись в советскую Россию и нуждаясь в секретаре (его бывшая секретарша осталась за границей), Горький, естественно, обратился за помощью к Крючкову, тем более, что Крючков уже расстался с Андреевой и даже, по слухам, женился. Первое время, по-видимому, все шло прилично, но затем люди, приезжавшие из России, стали рассказывать, что Горький «в плену» у Крючкова, который контролирует каждый его шаг, по своему распоряжается его временем, присутствует при всех его разговорах с посетителями, даже с ближайшими друзьями, — и т. д. Очевидно, Крючков обнаглел и стал действовать прямо во вред Горькому потому, что уже был заагентурен Ягодой. Об этом прямо и говорили уже примерно лет шесть тому назад. Вполне возможно, что Горький сам догадывался, в чем дело. Но зная его характер, можно быть уверенным, что он старался об этом не думать, потому что больше всего на свете любил иллюзии. Меж тем, как это ни тяжело вымолвить, очередным героем его воображения в ту пору сделался сам Ягода. Конечно, ему было неприятно думать, что этот милый Ягода, строитель великого Беломорского канала, чудесный «перековыватель душ», превращавший воров и проституток в героев социалистического труда, — приставил сыщика к нему, к искреннему своему почитателю. И он старался этого не замечать.

Есть основания предполагать, что сближению Горького с Ягодой способствовал сам Максим. Некогда на страницах «Возрождения» И. Д. Сургучев дал прекрасный портрет Максима-ребенка. К несчастью, он остался ребенком на всю жизнь. В тридцать лет с лишним его больше всего занимали ковбои, сыщики, клоуны, гангстерские фильмы, коллекция марок. Еще в 1918–1919 гг., будучи от природы добрым мальчиком, единственно по склонности к пинкертонизму, он принимал некоторое участие в деятельности Чека. Я поздно узнал об этом, только уже в 1925 г., когда одно лицо, приезжавшее в Сорренто, передало Максиму предложение Дзержинского вернуться в Москву и вновь поступить на службу. Максим колебался: с одной стороны ему не хотелось возвращаться в Россию, с другой — ему там обещали подарить автомобиль. Горький был

против всей этой комбинации: понимал, что Максим – только веревочка, за которую хотят притянуть в Москву его самого. Кроме того, он боялся за сына. Говорил: «Когда у них там начнется склока, его прикончат вместе с другими, – а мне этого дурака жалко». Эти слова оказались пророческими.

Разоблачившееся прошлое Максима было одной из главных причин моего разрыва с Горьким. Дело не в том, однако. Важно, что по возвращении Горького в Москву, уже при Ягоде, Максим все-таки связался с ГПУ. Этим объясняется и то, что он, захватив жену, организовал знаменитую поездку отца на Соловки, а затем, в сопровождении самого Ягоды, – по Беломорскому каналу. Несомненно, Максим сделал Ягodu своим человеком в доме, и это обстоятельство имело роковые последствия для него самого.

Жена Максима, Надежда Алексеевна, по домашнему прозвищу Тимоша, была очень хороша собой. Ягода обратил на нее внимание. Не знаю, когда именно она уступила его домогательствам. В ту пору, когда я наблюдал ее каждодневно, ее поведение было совершенно безупречно. Можно думать, что и в Москве оно оставалось таким же, и, следовательно, Ягоде, чтобы добиться ее благосклонности, приходилось мечтать об устранении Максима. И в самом деле, о ее связи с начальником ГПУ я узнал уже только после того, как Максим скончался.

Содействовать убийству Максима Крючков имел и личные основания – помимо «служебных». Как уже сказано, еще в заграничную пору Максим сопротивлялся крючковскому хозяйничанью в делах Горького. В СССР, когда средства Горького значительно увеличились, это сопротивление должно было возрасти, жадность Крюčkова – тоже. Крючкову нетрудно было сообразить, что в случае смерти Максима он совершенно завладеет Горьким, воля которого будет сломлена горем (ибо Алексей Максимович в сыне буквально души не чаял, хотя и частенько звал его ослом, идиотом и т. д.). В случае же смерти и самого Горького перед Крючковым открывалась перспектива широчайшего и бесконтрольного vorочания делами беспомощных, частью малолетних наследников. Поэтому к показаниям

Крючкова об его соучастии в убийстве Максима можно отнести с полным доверием.

Другое дело – роль Ягоды, Крючкова и всех врачей в смерти самого Горького. Не следует забывать, что за сорок лет до смерти Горький был серьезно болен туберкулезом, возникшим на почве покушения на самоубийство, когда он прострелил себе легкое. Туберкулез был залечен, но постоянно давал о себе знать бронхитами, плевритами и т. д.

Шестидесятивосьмилетний возраст и огорчение по поводу смерти Максима, несомненно, сильно расшатали здоровье Горького в последнее время. Любая очередная простуда легко могла вызвать смертельный исход. По-видимому, так и случилось. Показания самого Крючкова и врачей о том, как они содействовали смерти Горького, очень смутны, лишены конкретности, особенно по сравнению с их рассказами о том, как были вызваны болезнь и смерть Максима. Мне кажется, это можно объяснить тем, что о смерти Максима они говорили правду, о смерти же Горького возводили на себя небылицу, продиктованную им в тюрьме. Иными словами, я думаю, что Горький умер естественной смертью: Ягода за ним следил, мог ему не доверять, но не имел веских оснований его ликвидировать. «Пришить» его смерть убийцам Максима, нужно думать, было решено выше, по соображениям политическим и демагогическим. Ведь с какой стороны ни взгляни, убийство Максима есть всего только обыкновенное уголовное преступление, совершенное Ягодой на романтической почве, а Крючковым – на денежной. Политической цели и политического значения оно иметь не могло, и, следовательно – не могло отяготить политический «пассив» Ягоды. Обвинение же в убийстве самого Горького, разумеется, сразу ставило дело на политическую почву, придавало ему тот смысл, ради которого был задуман и проведен весь этот процесс, представляющий собой отнюдь не сплошной вымысел, а сложный сплав вымысла с правдой.

*Январь 1938.*

## Содержание

НЕКРОПОЛЬ .....	3
Предисловие .....	3
Конец Ренаты .....	3
Брюсов .....	16
Андрей Белый .....	41
Муни.....	68
Гумилев и Блок.....	80
Гершензон .....	95
Сологуб.....	107
Есенин .....	123
Горький .....	158
БЕЛЫЙ КОРИДОР. <i>ВОСПОМИНАНИЯ</i> .....	190
О себе.....	190
Младенчество.....	193
Московский литературно-художественный кружок.....	214
Законодатель .....	227
Пролеткульт .....	236
Книжная палата .....	242
Белый коридор.....	250
I. У Луначарского в Белом коридоре .....	250
II. Званый вечер у Каменевых .....	256
III. У камелька в семье Каменевых .....	262
Здравница .....	272
О торговле .....	280
«Дом искусств» («Диск»).....	286

Во Пскове .....	298
Поездка в Порхов .....	305
Сологуб. <i>Из петербургских воспоминаний</i> .....	320
Гумилев и «Цех Поэтов» .....	327
Неудачники .....	335
Памяти Б. А. Садовского .....	349
София Парнок .....	354
Сергей Кречетов и «Гриф». <i>Памяти Сергея Кречетова</i> .....	356
Мариэтта Шагинян .....	360
Горький .....	367
Завтрак в Сорренто .....	396
О смерти Горького .....	402

Владислав Фелицианович Ходасевич

**Некрополь  
Белый коридор**

**12+**

Ответственный редактор *А. Иванова*  
Корректор *С. Мартынович*  
Верстальщик *М. Глаголева*

Издательство «Директ-Медиа»  
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1  
Тел./факс + 7 (495) 334-72-11  
E-mail: [manager@directmedia.ru](mailto:manager@directmedia.ru)  
[www.biblioclub.ru](http://www.biblioclub.ru)  
[www.directmedia.ru](http://www.directmedia.ru)

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»  
142172, г. Москва, г. Щербинка,  
ул. Космонавтов, д.16